

НЕВА



8•2025

Ценим прошлое.
Открываем новое



СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Дмитрий КАРШИН

Лишь эхо знакомых нот... *Стихи* • 3

Светлана ВОЛКОВА

Барракуда. *Повесть* • 6

Борис ЕВСЕЕВ

Большой Потёмкин. *Рассказ* • 31

Евгений ЭРАСТОВ

Стихи • 41

Леонид БЕЖИН

Дожливая аллея, или Десять донесений
Департаменту полиции о композиторе Скрябине,
строительстве храма в Индии
и мистерии на конец времени. *Роман. Окончание* • 46

НЕСТОЛИЧНАЯ РОССИЯ

Владимир ПЕРЦЕВ

Стихи. Пред. Е. Каминского • 128

Павел ПОНОМАРЁВ

Варежка. Ботинки. Бескормица. Цикорий
обыкновенный. *Рассказы. Пред. М. Гундарина* • 133

Ахат МУШИНСКИЙ

Мой друг Адам. *Повесть* • 140

ЛЮБИМЫЕ УГОЛКИ РОССИИ

Владимир КОРСАК

Четыре февральских дня 1909 года. *Пер. Р. Чернова.*
Пред. С. Козлова-Струтинского • 176

ПУБЛИЦИСТИКА

К 100-летию А. Н. Стругацкого

Вячеслав РЫБАКОВ

А и правда — камо грядеши? • 182

Андрей ПОПОВ

Где деньги, Карл?.. • 199

*К 84-й годовщине прорыва Балтфлота
из Таллина в Кронштадт*

Мария ИНГЕ-ВЕЧТОМОВА

«Из Таллина шли корабли к Ленинграду». • 211

Юрий Инге (1905—1941). Стихи • 217

КРИТИКА И ЭССЕИСТИКА

К 100-летию Р. П. Погодина

Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Волшебные донышки Радия Погодина • 223

ПЕТЕРБУРГСКИЙ КНИГОВИК

Рецензии. Александр Мелихов. Слава храбрецам! Елена Зиновьева. Книжный остров • 230

ПИЛИГРИМ

Архимандрит Августин (НИКИТИН)

Музыкальное наследие св. Франциска Ассизского.
Часть 2 • 241

*Издание журнала осуществляется
при финансовой поддержке Министерства цифрового
развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Перепечатка материалов без разрешения редакции «Невы»
запрещена. Электронную распечатку рукописей присылать
на почтовый адрес журнала
(191186, Санкт-Петербург, а/я 9).
Рукописи не возвращаются и не рецензируются.*

Главный редактор

Александр Мотелевич МЕЛИХОВ

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Игорь Сухих (шеф-редактор гуманитарных проектов). **Ольга Малышкина** (шеф-редактор молодежных проектов). **Наталья Ламонт** (редактор-координатор). **Дмитрий Зенченко** (контент-редактор журнала, редактор интернет-сайта).

Дизайн обложки **А. Панкевича**

Макет **С. Булачевой**

Корректор **Е. Рогозина**

Верстка **Д. Зенченко**

© Журнал «Нева», 2025

Дмитрий КАРШИН

ЛИШЬ ЭХО ЗНАКОМЫХ НОТ...

* * *

Наши птицы улетают на север.
Наше счастье — с ледяными глазами.
Я, наверно, не вернусь к тебе, берег,
Потеряюсь на вокзале в Рязани.

Приучусь жевать в кафешке хинкали,
Позабуду синевы занавески,
Где густыми, точно дым, голосами,
Пароходы говорят по-норвежски.

* * *

Зимой здесь особенно пусто.
Ни птицы, ни волчьего следа.
Ограды терновые прутья
Торчат из пожухлого снега.

Качается радиомачта,
Скрипят и вздыхают частоты.
Развеяны пылью бумажной
Над островом дни и заботы.

А в доме — тетради, да книги,
Да тень абажура на кухне...
Зимою особенно тихо
Шуршат наши старые туфли.

Дмитрий Каршин родился в 1968 году в Курске. Окончил Курский государственный педагогический институт по специальности «Русский язык и литература» в 1989 году, аспирантуру при кафедре русского языка в 1994 году. Публикации в журналах «Город», «Сибирские огни», «Нижний Новгород», альманахе «Земляки» (Нижний Новгород, 2022). Лауреат премии журнала «Сибирские огни» за 2022 год в номинации «Поэзия».

* * *

Отправь мне пустой конверт —	Просто осеннюю хмарь
И я приду помолчать.	Вытру дырявым пальто...
Не постучу в твою дверь,	Сяду в последний трамвай.
Не попрошусь на чай,	Не остановит никто.

* * *

Та сорока, что брошь унесла со стола,
Та, что в доме соседнем жила
Между сломанных стульев и порванных книг
И от пыли бумажной бела,

Та сорока, что в детстве глядела в окно,
Когда спишь и когда ты не спишь,
И с березовой ветки, о чем — все равно,
Стрекотала в рассветную тишь,

Как печально теперь эти песни скрипят,
Как дрожат на осеннем ветру...
Прилетала вчера посмотреть на тебя.
Как же ты постарела, мой друг.

* * *

До середины лета	В окне соседней дачи
В саду кричали совы,	Темно. Пусты дороги,
Луна казалась бледной,	Ночное эхо плачет
В ручье вода высокой,	Протяжно, по-коровьи,

И старая посуда
Черным-черна в буфете.
Когда тебя забуду,
В холмах проснется ветер.

* * *

Сквозь заросли диких слив
Петляет змеиный след,
И шепот осенних флейт
С заброшенным садом слит.

И мне не найти твой дом,
Лишь эхо знакомых нот,
Оставленных в доме том,
Сквозь дырку в груди поет,

Лишь птицы кричат вдали,
И не угадать о чем.
Во тьме, на краю земли,
За левым твоим плечом.

* * *

На Станкостроительном, возле пивного ларька,
Как белая пена, над нами текут облака,

Кончается лето, надрывно скрипит небосвод,
Ворона слетает и старую булку клюет

У самой дороги, где пыль, где кривые столбы
Растянут по свету про черствую булку судьбы,

Где время считает удары трамвайных колес...
Возьми еще банку, чтоб снова стоять не пришлось.

* * *

Серый и маленький город, как мышь,
Прячется под половицами крыш.

Ветер над крышами песни поет,
Облако катится, как пароход.

Странные звуки гуляют в норе,
Только восходит луна на дворе.

Будто вздыхает на кухне сова,
Будто в прихожей шуршат рукава,

Будто бы плачет, пока ты не спишь,
Под половицей летучая мышь.

* * *

Зачем печальный человек
В фуражке и плаще
Уходит по дороге, ведь
Дороги нет вообще,

Сломался старый карандаш,
Летит по полю снег,
Вот-вот исчезнет навсегда
Печальный человек,

Ни тротуаров, ни машин,
Луны над головой,
Один лишь чистый лист лежит,
Не тронутый тобой.

Растают серые глаза,
Сотрется темный плащ.
Ему помочь бы, да нельзя —
Сломался карандаш.

Светлана ВОЛКОВА

БАПРАКУДА

Повесть

Люди нуждаются в хорошей лжи, потому что вокруг слишком много плохой.

Курт Воннегут

Две женщины, тонкая и толстая, в одинаковых больших кружевных платках, накинутых поверх миниатюрных шляпок, вышли из пролетки и долго шептались, прежде чем постучать в ворота Царскосельского уездного тюремного ведомства. С высоты второго этажа угрюмого казенного здания они выглядели солонкой и перечницей из юбилейного порцелинового сервиза, и начальнику одного из управлений Игнатию Палычу Губину, наблюдавшему за ними из окна, сразу захотелось отобедать. Он глотнул из кувшина чуть забродивший квас, поморщился и крикнул помощнику, чтобы впустил.

Дамы вошли, и толстая сразу бросилась обнимать Игнатия Палыча, чего он не любил, да и не считал уместным: знакомы были лишь шапочно, по сестрорецкой санатории, и мадам Посенкина тогда держалась чопорно, охраняла свою невестившуюся дочь от любых ухажерских поползновений и позволяла завести разговор с барышней лишь тем, кто, по ее мнению, был достоин. Игнатий Палыч в когорту счастливцев не входил.

«Видно, понадобились мои связи, да крепко понадобились, — рассуждал про себя Игнатий Палыч, пока его секретарь, суетясь, помогал визитерам снять накидки. — Лизку с собой в такую даль притащила. Для моей сговорчивости, не иначе».

— Марья Романовна, да что ж поздно предупредили! Письмо о визите только утром получил, — Губин подал секретарю знак ставить самовар и пригласил Посенкиных усаживаться на диван.

Лиза плюхнулась первой, и Игнатий Палыч с досадой отметил, что она изрядно подурнела: хорошенькое личико потеряло отроческую пухлость, нос заострился, а во взгляде появилась какая-то противоречивая смесь птичьей пугливости и мелкозверьковой хищности. Еще годик, подумалось ему, и то манкое, что в ней пока еще было, осядет, как кофейная пена в турке.

Светлана Волкова — прозаик, переводчик, сценарист. Автор восьми книг. Печаталась в журналах «Дружба народов», «Аврора», «Нева», «Юность», «Октябрь», «Сура», «Этажи», «Время культуры. Петербург», «Крым», «Балтика», «Берега», «Идиот», альманахе «Полдень». Рассказы и повести также вошли в сборники АСТ и других издательств. Произведения переведены на английский, немецкий, итальянский, турецкий, китайский и корейский языки. Обладатель пяти премий «Русский Гофман» в номинации «Проза», лауреат и дипломант премий «Данко», Куприна, Гоголя, Твардовского, Короленко, Арсеньева и конкурса «Русский Stil». Золотой лауреат премии Корнея Чуковского за лучшее произведение для подростков (2018), лауреат премии им. Сергея Михалкова и др. Член Союза писателей России и Союза детских писателей. Живет и работает в Санкт-Петербурге.

— А мы целый год вас вспоминали, любезный Игнатий Палыч, а помните ли прогулки по заливу, а помните ли музыкантов в курзале, а помните ли фонтанчик с целебной водой... — щебетала Посенкина, и даже когда чай был выпит, да по второму-третьему разу, все никак не могла перейти к сути.

— Марья Романовна, — наконец прервал ее Губин, — я нескончаемо рад предаться нашим общим воспоминаниям, но я человек казенный, занятой. Не соблаговолите ли изложить дело, коим обязан счастьем видеть вас.

— Ох, вы правы, мудрый мой! — она стрельнула глазами на портрет императора над губинским письменным столом и достала из дамского саквояжика небольшой сверток, перевязанной конфетной лентой крест-накрест поверх холстинки.

По брикетной форме свертка Игнатий Палыч догадался: деньги. И, с досадой подумав, что недооценил дуру, тоже зыкнул на императора и зашевелил бровями и усами, всей своей мимикой остерегая Посенкину от следующего опрометчивого жеста.

Марья Романовна вздрогнула, и сверток молниеносно исчез — а куда, Губин мог только гадать. Ну не под юбку же?

— Игнатий Палыч, — визитерша брякнула чашкой о блюдец и промокнула платочком выступивший на лбу бисерный пот, — просьбу имею к вам. Не откажите вдове, благодетель! Да и просьба-то сущий пустяк, можно даже сказать, безделица...

Снова вошел секретарь с подносом ватрушек, но Губин махнул ему, и тот быстро исчез за дверью. Посенкина опасливо оглянулась по сторонам и перешла на басовитый заговорщицкий шепот:

— Не найдется ли у вас, а именно в ведомстве признания за увечными или больными преступниками... Я, простите покорнейше, не знаю, как оно точно у вас называется... Так вот, не сыщется ли у вас ничейного мужчины? Не из солдатни и мужичья, а по благородней. Лучше, конечно, дворянчика, но мещанин тоже сойдет. И чтоб преступление не тяжкое, я бы выкупила...

Большие напольные часы бесцеремонно прервали гостью, педантично отбив одиннадцать ударов, качнулись гирьки-шишечки, забила в истерике кукушка, точно подслушивала.

Всякие просьбы видел кабинет Игнатия Палыча, но чтоб такая... «Уж не для черной ли мессы хлопочет, ведьмино семя!» — подумал было Губин, но мысль тут же прогнал.

— И самое главное, — продолжила Посенкина, — чтоб болезный был. Сильно болезный. На пороге... — она театрально выпучила глаза и добавила в голос патетики: — Смертного одра, я бы сказала.

Игнатий Палыч хотел спросить, где у одра порог, но было не до шуток.

— Позвольте полюбопытствовать, для какой цели надобность?

— Хотелось бы оставить в секрете. Ничего противозаконного, — она мелко затрясла головой и снова взглянула на императора в раме, — клянусь вам! Я советовалась с адвокатом, за малые преступления можно и под залог взять. И в «Ведомостях» писали, что в тюрьмах много таких, которых родственники не взяли на поруки из-за отсутствия средств. И я же добро сделаю вам, избавлю от хлопот и лишнего рта, ведь на казенные ж средства содержите...

— Видите ли, любезная Марья Романовна, — улыбнулся Губин, — в «Ведомостях» оно, конечно, правду написали. Но как человек на государственной службе я ни на какие авантюры не иду...

Посенкина сложила руки шалашиком и прижала к бисквитной груди.

— ...Если не понимаю суть авантюры, — пошевелил бровью Губин, но подмигнуть не получилось.

«Куда ж курица все-таки спрятала сверток?»

— Ну могут же быть у женщины секреты... — кокетливо затянула Посенкина, но Губин резко прервал ее:

— В этом кабинете не могут! Прошу покорнейше, Марья Романовна, простить, но либо вы излагаете мне все без утайки, либо на помощь мою можете не рассчитывать, даже при нашей с вами, — он пожевал губами, стараясь подобрать нужное слово, — нежнейшей и преданнейшей дружбе. Со своей стороны могу дать вам слово честного человека, что все останется между нами.

Посенкина выдержала паузу, переглянулась с дочерью и наклонилась бюстом к столешнице. Начищенный золоченый самовар вернул увиденное в искаженной геометрии.

— Надобно срочно Лизоньку замуж выдать. За сироту, без родственников, болезного, но не заразного, разумеется, и чтобы помер скоренько и оставил ее молодой вдовой.

Она пасмурно глянула на Игнатия Палыча и поджала губы.

— Ну уж, сударыня, удивили так удивили! — крикнул тот, с недоумением переводя взгляд с маменьки на дочь и пытаясь определить, не виден ли у той под тугим платьем живот.

— Да вы не то думаете! — возмутилась Посенкина, прочитав его мысли.

— Тогда будьте так любезны, изъясните! Я полагаю, у Елизаветы Сергеевны нет недостатка выбора да и надобности спешить с замужеством.

— Полагаете? — раздраженно дернула плечами Посенкина, и ее самоварное отражение заплясало новыми гротесковыми формами. — Ладно уж. Скажу. К провидице мы ходим. Мадам Эсмеральда. Давно ходим. Все ясно видит, и все сбылось, что говорила: и смерть мужа моего в Японскую, и пожар в Скачках, и рождение первенца у племянницы моей — а той лекари бесплодие ставили, что только не перепробовала! Так вот, нагадала, что Лизоньке придется овдоветь в первом браке, а со вторым получить и богатого супруга, и счастье, и переезд из Петербурга в Европу. Такого мужа, говорит, редко сыщешь, но женится он на ней только вдовой.

Посенкина перекрестилась.

— А возраст у Лизоньки двадцать два годочка. Часики тикают. Детородное времечко быстро улетает, а ведь четверо деток провидица ей обещала. Но во втором браке, само собой. Торопиться нам надо, да и партия уже присмотрена. Но, — Посенкина выразительно повела глазами, — сами понимаете, Игнатий Палыч, не хотелось бы, чтобы ТАКОЙ человек и вдруг безвременно почил...

Она снова перекрестилась.

Губин смотрел на обеих дам, как на нарисованных насекомых, и не мог взять в толк, как с ними говорить. Наконец он встал из-за стола, прошелся по комнате и, вызвав секретаря, распорядился определить Посенкиных на ночлег в гостевой дом, заявив им, что должен хорошенько обдумать необычную просьбу.

Ночью сон не шел. Игнатий Палыч ворочался и старался найти правильное решение.

Послать дамочек к чертям блохастым или все же дать себя уговорить? Он вспоминал сверток и не мог не думать о его размерах, даже ощущал холщовую ткань под пальцами и упругость купюр в тугой пачке.

К рассвету решение удовлетворить просьбу укрепилось, и Губину полегчало. Да и невесть какое одолжение: присмотреть из тихих, кто в лазарете, в отделении безнадежных, — а что и говорить, в царскосельской тюрьме такие были в определенном количестве — ну и глянуть в личные дела: кто по мелочи осужден, без родных и за кого можно быстро ходатайствовать об освобождении под залог. Лишняя смертная

статистика тюрьме не нужна, а то, что дело благое в этом будет, сомнений нет: хоть проживет избранный бедолага последние свои деньки-недельки по-человечески, поспит на мягкой подушке, поест вдоволь. Не прикует же Посенкина зятя в сыром подвале кандалами, лишив еды и воды, чтобы ускорить дочкино вдовство! Христианка все-таки, хоть и к ведьме за гаданием ходит. Еще и послужную грамоту можно получить, а если повезет, и премию от тюремного начальства!

По должности зная почти всех поименно заключенных и вспоминая свой недавний визит вместе с уездной инспекцией в тюремную больничку, Игнатий Палыч все перебирал и перебирал имена в голове, и живые еще люди в полудреме казались ему пожелтевшими карточками архивного каталога — замусоленные, сложенные в длинные узкие деревянные ящички, пахнувшие отсыревшей плесневелой бумагой. Он слюнявил пальцы и листал их, стараясь различить размытые чернильные фамилии и имена. Так, балансируя между сном и бодрствованием, вздрагивал Губин от мелких ночных заоконных звуков, и к рассвету его наконец озарило.

Кошкин!

* * *

Лиза заслонила ладонью губы и что-то шепнула матери. Посенкина хмыкнула, дунув себе в декольте, кивнула и одарила Игнатия Палыча протяжным, как крик муэдзина, жарким взглядом.

— Русский хоть? Нам важно.

— Еврея не предложу. Да и ничейных евреев, включая выкрестов, у нас нет.

— А не шибко ли он уродлив?

— Да вам, любезная моя, не все ли равно? — Губин собирал разложенные перед дамами листы личного дела в пачку.

— Так целоваться ж ей с ним при всех.

«Потерпит», — хотел сказать Губин, но вслух произнес:

— Обыкновенный он. Не урод. Росту в нем пять футов девять дюймов. Гренадер... Почти.

Игнатий Палыч протянул Посенкиным лист с метриками Кошкина. В левом верхнем углу была приклеена фотография хмурого небритого человека, явно недовольного тем, что его фотографируют.

— Страшный какой... — протянула Лиза.

— На наших фотокарточках все страшные, сударыня. Специфика у нас такая.

Марья Романовна поднесла лорнет к карточке и долго разглядывала ее. Губин тем временем продолжал:

— Кошкин Иван Алексеевич, рожден восемнадцатого октября тысяча восемьсот восемьдесят первого года, мещанского сословия, по профессии актер. Осужден за пьяную драку, в которой нанес тяжелые физические травмы пятерым собутыльникам. Сидеть осталось четыре месяца.

Посенкина переглянулась с дочерью.

— Убийца?

— Боже упаси! Покалечил малость, ну так, по буйству и молодости, с кем не бывает.

— А болен чем?

— Да ерунда! То есть, — осекся Игнатий Палыч, — сильно, сильно болезный. Смертельно. Букет разных хворей у него, от любой загнуться может. Но не сразу. Вам же не сразу надо? До свадьбы дожить же должен. Но вы не тяните, до Рождества, смею

заметить, очень маловероятно, что дотянет. Но примечательно, ходячий. И не заразный, не чахоточный.

Он взглянул на карточку и подавил неуместный смешок.

— А простите мое любопытство, Марья Романовна, целоваться-то с ним зачем? Можно ж только на бумагах брак оформить.

— Нет-нет, нам гадание свадьбы честную определило. Чтоб как положено. С венчанием. Прости господи! Но понятное дело, без торжеств. Иначе ж мы бы так обженились, без выкупа из тюрьмы, нам лишние хлопоты и траты ни к чему. Но карта так легла, король на пиковую десятку, как против такого пойдешь?

Она вздохнула и снова взглянула на карточку.

— Отмыть-то отмоем. Костюм ему купим. А жить есть где у него?

Губин чертыхнулся про себя, но виду не подал.

— Этого нам не ведомо. Сам из Тверской губернии. Холост. Женат не был. Дежневная пеня под залог за него не выплачена, стало быть, нет родных никого. И не навещает никто.

— Вот и хорошо. Не хотелось бы родных. Хотя наш юрист оформит брачный договор, чтоб претензий имущественных не было после смерти, но, знаете ли, нервы трепать никому не хочется...

Губин взглянул на Посенкину, встретился с ней глазами и подивился, сколько было в них пресной мучнистой пустоты. А ведь год назад, на отдыхе, она казалась ему нескудным собеседником и небезынтересной женщиной с волнующим нутро низким тембром голоса и дивными полными фарфоровыми руками. Теперь же он видел перед собой ушлую бабенку, купчиху и все никак не мог понять, зачем сейчас связался с ней. Ну разве что, да, деньги. Сейчас нужны особенно, ведь надо покрыть огромный карточный долг сына и определить балбеса на службу, а без подношений, даже с его связями, не все возможно. И старенькая мать болеет, а средств отправить ее к теплому морю, на лечение, нет. Очень, очень нужны деньги. И сам Бог Посенкину к нему привел.

Но больше кошелька его мучили назойливые уколы совести перед Кошкиным, у которого он без малого год назад отобрал все и перед которым надо бы по-христиански повиниться, пока и правда тот не отдал Богу душу.

* * *

Губин шел через огромный двор к тюремному лазарету и думал о том, как многое в жизни решают связи. Куда без них в России, они-то и есть крепкий скелет общества, его нерв, безусловная любовь, слепая и языческая. Взять, к примеру, Посенкину. Ведь, казалось бы, куда проще обычного калеку на дочери женить. Найти доходягу в обыкновенной городской петербургской больнице, договориться с доктором — а ей на это характера хватит, сомнений на этот счет уж точно быть не может. Так нет же, притащилась в Царское Село, в тюрьму! А все почему? Потому что здесь он, ее знакомец, пусть не первого ряда, но все же не чужой. Игнатия Палыча часто удивляло это стремление иметь дела непременно по рекомендациям, даже если рекомендации эти сомнительны. Но все равно «свой». С ним лично имел дело кто-то, кого ты знаешь. Иногда в понятие «этот кто-то» входила длинная цепочка знакомств, непостижимая простой логике, по которой следовало искать выходы на нужный контакт. Супруга губинская, Арина Макаровна, ездила к зубному лекарю за тридцать верст, хотя зубо-врачебный кабинет, и весьма неплохой, находится в соседнем доме и известно было,

что уважаемые люди к дантисту наведовались, а она ни в какую: поеду, говорит, к доктору такому-то, плевать, что далече, но он сестре мужа золовки двоюродного дяди наперсницы и черта в ступе седьмая вода на киселе крестного, да еще и сделал извлечение зуба жене соседа по даче весьма неплохо.

Как же мы зависим от этих звеньев немислимой цепи, как нам хочется быть причастными к определенному избранному кругу, глупое, глупое русское человеество!

Такое вот определение — «человеество» Губин придумал сам и произносил его исключительно вместе с понятием «русское», потому как, будучи сам до мозга костей русским — с русскими предками, русской фамилией, русской внешностью и с русскими мозгами, — сам русских не любил. И какого-либо логичного объяснения у этой нелюбви не было, да и не задумывался он настолько глубоко, лень было, что, впрочем, было тоже немного «по-русски».

«Что, мадам Посенкина, — с сарказмом думал Игнатий Палыч, — русского недопокойничка захотела? Будет тебе русский недопокойничек!»

С этой мыслью Губин толкнул тяжелую, как вздохи всех здешних призраков, дверь лазаретного флигеля. Дежурный унтер-офицер вытянулся перед Игнатием Палычем перпендикуляром и глупо заулыбался. «Боятся меня, черти», — подумал Губин, и на душе сделалось хорошо.

Поднявшись по стоптаным ступеням до второго этажа, он прошел четыре густо пахнущих хлоркой коридора и шесть запертых дверей, которые отпер Бориска, вечный страж этого невеселого дома и сам невеселый, скособоченный, то ли от вечно неуклюжего поклона перед начальством, то ли от того, что ангел сел ему на плечо и так и сидит, не слезает.

Весь этаж был «тяжелый» и состоял из полутора десятка палат-комнат, в которые переводились из основного корпуса больницы безнадежные пациенты — кто на несколько дней, а кому повезет, и на месяц-два. Лишь процентов пятнадцать из них возвращались к привычной жизни (то есть тем же обратным путем: через обычные палаты обратно в камеры), остальных же выносили ногами вперед. И по сути, все те щеколды, которые отворял перед Игнатием Палычем Бориска, были лишними: пациенты, включая те пятнадцать процентов счастливицков, очень редко могли самостоятельно передвигаться. Исключением было человек десять. В их числе Губин очень надеялся застать Кошкина.

Игнатий Палыч постоял с минуту, вглядываясь в лица «ходячих», которых в эту самую минуту выпустили побродить по коридору, и они неслышными тенями текли вдоль стен, держась руками за воздух и друг за друга. Рядом, всегда неслышный и незамеченный, вырос, как из тумана, доктор Костюкович, и Губин вздрогнул, в который раз удивляясь прозрачности этого существа, походившего покорностью, тихим белым голосом и бледной кожей разом на всех своих «последних» пациентов.

— Что ж не ко мне сразу, Игнатий Палыч? — после приветствия сказал доктор. — Испанка ходит. Не заразились бы.

— Ерунда, — прогремел Губин.

Они отошли чуть подальше от больных.

— А скажите-ка, Василий Василич, — Губин внимательно посмотрел на Костюковича, — как там Кошкин?

— Кошкин? — прозрачный доктор в удивлении поднял мышастые брови. — Жив. Пока, — и, шепотом откашлявшись, тихо добавил: — Делаем все возможное...

Губин жестом остановил его:

— Мне не нужны детали. Сколько протянет?

Игнатий Палыч накануне подсчитал, что с момента «продажи» Кошкина на оформление всех бумаг должно уйти дней десять, в худшем случае две недели, если быстро заручиться подписью начальника тюрьмы, и послать досье в Петербург скорым курьером, да оплатить подарок секретарю ведомства, чтобы рассмотрели без отлагательств. Но чиновничий медузин организм существовал своей непредсказуемой жизнью, и угадать дату положительного исхода дела было не под силу даже посенкинской мадам Эсмеральде.

Костюкович не ответил на вопрос, лишь зашуршал что-то извиняющимся тоном, будто бы сам был виноват в кошкинской жестокой судьбе, и увлек Губина в свой кабинет. Там, отперев шкаф, закрытый на огромный — почти амбарный — замок, доктор нырнул в ящик-короб и, пошуршав там, вынул потрепанное медицинское дело с линиялой надписью:

Кошкин Иван Алексеевич, осуж. №14-27, РНСПО 616 —

и странной припиской карандашом «Барракуда».

— Анализы весьма плохие. Даже не весьма... Надо бы повторно...

— Не тяните же ради Христа!

— Да вот анализы, Игнатий Палыч, — проигнорировав раздражение Губина, рассуждал Костюкович, — я удивляюсь, как он вообще еще жив. При такой клинической картине летальный исход просто обязан был случиться еще неделю назад.

— Но он ведь жив? Ходячий же, я в отчетах видел.

— Затрудняюсь... Делаем все возможное!

— Что вы делаете? — прогремел Губин. — Чертова у вас неразбериха! Должен был помереть давно? Почему не помер?

Костюкович стоял перед ним крахмально-бледный, похожий на мучного червя.

Губин еще пошумел, как того требовал его внутренний профессиональный полкан, и наконец, смягчившись, произнес:

— Вы уж, Василий Васильевич, будьте ласковы, не дайте ему помереть хотя бы недельки две-три. Считайте, личная моя просьба. Вколите там что-нибудь, что вы обычно в таких случаях колете... Если нет каких лекарств для Кошкина, мне сразу доложите, я позабочусь, специально выпишу из Петербурга.

Костюкович принялся рассказывать про недостаток поставок препаратов для всей больницы, зачем-то оправдываясь, что много раз делал устно и письменно заявления, но Игнатий Палыч резко встал, давая понять, что подобный разговор его совсем не интересует. И даже кулаком по столу стукнул. Взлохмаченная медицинская карта Кошкина шевельнулась и грохнулась на пол, удивленно раскрыв щербатую пасть.

Вошел без стука подлекарь с ящиком медицинских пузырей, увидел Губина и остолбенел.

— Что, любезный, испугался так, будто неучтенный морфий доктору принес? — саркастически хмыкнул Игнатий Палыч, наверняка зная, что не ошибся.

Костюкович чуть приподнял брови, и подлекарь исчез.

— А почему «Барракуда»? — обернувшись у двери, спросил Губин.

Костюкович пожал плечами, будто извиняясь, и произнес:

— Так в первый день, когда он ко мне попал, прививку хотели ему поставить, а он не давался. И силы откуда-то взялись. На шкаф залез, бебекал сверху, скоморох. Ну, санитарам пришлось объяснить, что здесь у нас слово доктора — закон... А он после прививки разобиделся на всех, день лежал, отвернувшись к стенке, не ел ничего, а потом вдруг встал и принялся шататься взад-вперед. И взгляд такой колющий,

больные перепугались, да и сейчас вот страшатся его крепче санитаров и охраны. На одного давеча так взглянул, что тот и почил сразу. И главное, молчит, зараза. Смотрит, скалится и молчит. Одно слово, барракуда.

Губин хмуро кивнул, жестом показал, что его не следует провожать, и вышел в коридор.

В «кошкинской» палате в три ряда стояли две дюжины узких железных коек, на которых почти в одинаковых позах лежали почти одинаковые люди. В нос ударил химический лекарственный запах с примесью вареной капусты: только что был обед, и сестры милосердия не успели еще покормить всех больных — сидели у кроватей легкими серыми запятыми в своих крахмальных апостольниках на головах, мраморной белоснежностью контрастирующих с пепельно-желтыми лицами на мятых подушках.

Губин преодолел брезгливость и вошел в палату. Вспорхнула сестра, узнавшая его, он шепотом спросил, где Кошкин, и ему указали на койку у стены.

Игнатий Палыч подошел, стараясь не чиркать подметками по полу и не будоражить любопытство больных. Впрочем, никому до него и не было дела: люди обитали в своем предоблачном мире, для кого-то уже блаженном, для кого-то еще адово тяжелым и невыносимо реальном, но никто, к удивлению Губина, не стонал, не просил воды или судна, и те, кто не спал или не пребывал в забытии, лишь терпеливо ждали, когда подплывет к ним сестра, такая же тихая и предоблачная.

Кошкин лежал на кровати, укрывшись тонким одеялом по кадык, глядел в потолок и никак не отреагировал на возникшую перед ним фигуру Игнатия Палыча. Губин тяжело опустился на стул, услужливо поднесенный дежурным подлекарем, и подоткнул под матрац свесившийся край простыни.

— Здравствуй, Ваня. Ты ведь узнаешь меня?

Кошкин скосил на него глаза, зевнул и отвернулся к стене, поджав к уху тощее плечо, торчащее из суконной больничной рубахи.

Игнатий Палыч отметил, что тот совсем не выглядел умирающим. Отощал — да, щеки впалые, но не землистые. Глаза не мутные, слабости в движениях вроде нет.

— Иван, мне поговорить с тобой надобно. Повернись-ка, сударь мой.

Кошкин не отреагировал.

Подскочил подлекарь:

— Тебе говорят, Кошкин, повернись, начальник пришел.

Губин раздраженно махнул на подлекаря, и тот испарился. Барракуда нехотя повернулся и, поправив худосочную подушку, уставился на Игнатия Палыча.

— Вижу осмысленный взгляд. Здравствуй, Иван Алексеич!

Кошкин молчал, скривив губу.

— Ты, вообще, как чувствуешь себя?

— А-а, Игнашка-шакал! Чо пришел? Не о здоровье ж моем печься?

Губин дергано оглянулся, не слышат ли их. Но подлекарь с санитарями ушли, а соседям по койкам не было до них никакого дела.

— Разговор к тебе есть.

Кошкин хмыкнул.

— Ну?

— Хочу поспособствовать, чтобы ты вышел отсюда, и в ближайшее время. Что было, Ваня, то было, искупил ты. Да и тюрьма не место для хворых. О душе пора заботиться.

Барракуда потянулся, вытащил из-под матраца край простыни и смачно высморкался.

Игнатий Палыч протянул ему свой платок.

— Благодарствуйте, барин, не привычны мы к батисту, не для быдла ваши штучки...

— Перестань юродствовать, Иван Алексеич. Послушай меня, — Губин наклонился к кошкинскому уху. — Выйдешь скоро отсюда, обещаю.

И начал было рассказывать про посенкинскую авантюру, но Кошкин вдруг заорал на всю палату:

— Не имеете права! Я умирающий! Оставьте меня в покое! Я буду жаловаться!

Губин зашипел ему в ухо:

— Не ори, болван. Для тебя же стараюсь. Хочешь подохнуть здесь или в теплой домашней постели? А то и, Бог даст, вылечишься.

Кошкин высунул из-под одеяла заскорузлую пятку и почесал.

— Ты, Игнашка, воду мутишь. Раз я тебе сдался, то говори начистоту, что за плутню задумал!

Игнатий Палыч заново начал рассказ, но на том же месте Кошкин прервал его и загоготал:

— Итить твою, начальник! Мне и здесь хорошо, а не в мадамкином будуаре. Харчи дают и магнезию колют.

— Вот не думал, Ваня, что тебя уговаривать придется. Мозгами пораскинь, я ведь могу взять любого из больницы, но хочу тебе дать шанс пожить остаток дней по-человечески.

— Любого? — загоготал Барракуда. — Этого? — он шмыгнул носом в сторону соседа, лежащего под капельницей и в полузабытьи. — Или этого? — он повернул голову в другую сторону, на худющего коричневатого старика, постукивающего костлявым кулачком по собственной груди. — Я тебе так скажу. Что проку-то жениться? Мне четыре месячишка осталось, а в брачные узы влезешь — вовек в кабале маяться.

— Да какой век-то, Кошкин! — не выдержал Игнатий Палыч. — Ты хоть понимаешь, что с тобой? И почему ты вот именно в этой палате?

— Обычное дело, дурья твоя башка. В прежнем отделении чистенько и публика поинтересней. Видимо, для кого-то из своих коечка пригодились, лишних-то нет. А здесь одни доходяги. Ни словом перекинуться, ни папироской разжиться.

Губин посмотрел на него как на умалишенного.

— Иван, я с тобой рассусоливать не собираюсь. Я дело твое медицинское только что видел. Дни твои гнилые, помрешь ты скоро. Потому и в этой палате лежишь.

Кошкин сделал гримасу, покрутил челюстью и плюнул в потолок. Слюна не долетела и, сделав в воздухе кульбит, опустилась на плечо Игнатия Палыча.

Губин взял край кошкинского одеяла и брезгливо смахнул плевок.

— Ну так все ж померем. Кто знает, Игнашка, может, ты раньше меня!

Барракуда захохотал, но подавился собственным сиплым кашлем. Игнатий Палыч встал и, влив в голос медные басы, что делал всегда, когда распинал подчиненных, отрезал:

— Завтра утром придут за тобой. Помогут вымыться, коли сам немошен. Одежду дадут. В мой кабинет проводят. Будь с дамами вежлив, дурак. Они хотя бы похороны твои по-человечески справят. Ты продержись до свадьбы, а там — хочешь живи, хочешь нет. И только попробуй помереть раньше, гнить тебе тогда в общей могиле, это я обещаю!

* * *

К истории Кошкина, за которую тому дали срок, пусть и небольшой — всего год, Игнатий Палыч имел прямое отношение. Прошло уже столько времени с момента суда,

но те события крутились в голове Губина, не давали покоя, и такая маета растекалась по всем закоулкам души, что не заесть ее ничем и водкой не притопить.

Иван Кошкин, актер, бунтарь и мошенник, сведший в могилу двух режиссеров своей погорелой водевильной труппы, был бедовым младшим братом Николая Кошкина, «паровозного» инженера, друга Игнатия Палыча по старшим классам тверской гимназии. Рослые и горячие братья Кошкины не раз попадали в околотки всех городов, куда заносила их судьба, и Губин подключал все свои связи, чтобы вызволить их и не дать делам ход.

Так было до момента, пока Николай не впутался в некрасивое приключение с дочерью одного влиятельного человека, которому Игнатий Палыч был обязан теперешней своей должностью. Помочь другу Губин при всем желании не мог: уж больно крепок был родительский гнев попечителя. К тому же Николай попал еще и в историю с антимонархическим душком, несколько раз посещал какие-то социально-утопические сходки, но Губин знал: то было не более чем любопытство и идейной подоплекой с его стороны вовсе не пахло. Тем не менее влиятельное лицо намеревалось арестовать Кошкина-старшего и докрутить его дело до серьезной политической статьи. Игнатий Палыч даже подозревал, что из Николая наскоро сваяют крамольного жожака. Тогда он и предложил симитировать трактирную драку, да не в столице, а в пригороде, подальше от петербургских полицейских носов. Ну заберут Кошкина «свои» надежные люди, кое-чем обязанные Губину, ну отсидится Николай месячишко, пока скандал с распутной дочкой не уляжется, а потом укатит в тверскую деревню, и все о нем позабудут.

План был хорош и многократно срабатывал уже с другими в подобной ситуации, да только случилось непредвиденное: вместо Николая в том злополучном трактире объявился его братец Иван. А братья походили друг на друга, как две подковы, хоть Ванька и был на десять лет младше Николая. И по злой судьбе в тот день он приехал в заметном английском тренчкоте братца, в его же шляпе и с двумя размалеванными певичками, с которыми как раз Кошкина-старшего минувшим летом и видели. Да еще к тому же пьяный, как кочегар. «Свои люди» и перепутали, поддели словом и тумакom, а Кошкин-младший, не ведая об уговоре, не стал терпеть, схватил, что попало со стола — а «попало» нож и бутылка, — и принялся крошить всех подряд, кто пробовал к нему подступиться. Трактирный люд, тоже, разумеется, не ведавший о подставе, включился в драку с большим удовольствием. Так и случилось, что Ванька покалечил пять человек прежде, чем его скрутили и доставили в околоток, протрезвевшего, но плюющего, как верблюд.

Николай же исчез, и Игнатий Палыч потом уже, через свои связи разузнал, что след того затерялся в Ревеле, да и Бог ему судья, правильно сделал, что бежал, только вот невольно братца подставил.

Вспоминая эту историю, Губин всегда морщился, чувствуя желчный привкус под языком, и ежели кто попадался в тот момент ему под руку, спускал на беднягу весь свой гнев. Кошкин же о подставной драке так и не узнал, как и не узнал о том, что адвокат тайно оплатил ему Игнатий Палыч из своего кошелька.

* * *

Всю ночь Кошкин ворочался в постели, будто чувствовал, что за ним наблюдают две пары глаз. Одна пара принадлежала дежурному подлекарю, который получил на-

чальственное задание привести к утру бедолагу в божеский вид. Это означало: дать на ночь легкое снотворное, чтобы выспался, поставить, если потребуется, с утра клистир, дабы не обгадился в нужный момент, помыть-побрить-подстричь, одеть в чистое и передать на руки унтер-офицеру, когда тот придет за Кошкиным.

Вторая пара глаз была доктора Костюковича. Тот, озадаченный внезапным губинским вниманием к рядовому заключенному, гнилому насквозь, сразу почуял, что дело пахнет деньгами, но никак не мог разгадать ребус: почему именно Кошкин? Забытый всеми, включая Бога, без родственников и друзей, умирающий от целого букета энциклопедических хворей, с подъеденной смертью печенью и жидкими помоями вместо крови и лимфы, — кому этот ходячий скелет мог понадобиться? Раз за разом пытался Костюкович сопоставить в голове результаты его анализов и все равно приходил к одному и тому же выводу: Кошкин по всей вселенской логике должен был бы давно кормить червей в могильной яме и уж никак не расхаживать по палате на своих ногах и не есть с аппетитом все, что дают, да еще подъедать из пайка соседей, кто по немощи сам не доедал. И Костюкович подумал, что, помимо Губина, Барракуда еще зачем-то нужен Богу, потому что такую жажду жизни при всей абсурдности кошкинской ситуации невозможно было объяснить никак. Только зачем?

Иван Кошкин шевелился на скрипучей лазаретной кровати, бритым затылком ощущая, что за ним наблюдают, и, высунув из-под одеяла костлявую пятерню, сложил кукиш и помахал им над головой: авось при тусклом ночнике увидят.

«Вот Барракуда!» — тихо выдохнул Костюкович.

Жестом подозвав дежурного подлекаря, он приказал тому разбудить Кошкина в пять утра и выжать из него все положенные клинические анализы.

Утро следующего дня выдалось сырым и предвещало Игнатию Палычу нытьё когтей и маету за грудиной. Он приказал хорошенько натопить в кабинете и заварить чай со смородиновым листом.

Посенкины, к его неудовольствию, заявили раньше времени, и до появления Барракуды Губину пришлось развлекать их пустыми разговорами, чего он не любил. На сей раз, помимо маман, прежде молчаливая Лиза оказалось говорливой и замучила Игнатию Палыча всевозможными вопросами о «женихе». Губин пытался отшучиваться, мол, сами увидите, но понимал: от Кошкина следовало ожидать чего угодно. Нахал может повернуть все так, что сделка не состоится: либо отчебучить что-нибудь эдакое, либо вовсе помереть раньше срока. Назло.

В дверь постучали, и вошел конвойный в сопровождении Кошкина. Именно так: не Кошкин в сопровождении, а конвойный. Четкая поступь вожака, ершистый взгляд, вечная ухмылка на остром лице — будто и не осужденный, которого привели, а это именно он, Барракуда, назначил здесь, в губинском кабинете, всем встречу, и только посмейте, межеумки, не явиться к указанному часу.

— Здравствуй, Иван Алексеевич! Проходи, — Губин махнул конвойному, и тот испарился. — Позвольте, милые дамы, представить вам достойнейшего кандидата для вашего... хм... дела.

— Для нашего дела, — поправила Посенкина-старшая и, поднеся лорнетку к ветчинному носу, бесцеремонно уставилась на Кошкина.

Барракуда стоял, широко расставив ноги, и елозил глазами по портрету императора. Повисла длинная тягучая пауза, нарушаемая лишь монотонным тиканьем ходиков на стене, слишком домашних для рабочего кабинета. Посенкина, не переводя с него оценивающего взгляда, подалась чуть вбок и что-то шепнула дочери.

- Может, вам зубы показать? — хмыкнул Кошкин.
- Зачем зубы? — отняла лорнет от лица Посенкина.
- Ну вы ж, мадам, меня, как жеребчика, торгуете.

Он почесал пятерней макушку и, не спрашивая разрешения, плюхнулся в стоящее напротив дам кресло.

— Позволь, Иван Алексеич, я объясню еще раз, — Губин тоже сел в соседнее кресло и, тщательно подбирая нужные слова, произнес: — Госпожа Марья Романовна внесет за тебя необходимую денежную пеню под залог, и ты сможешь покинуть эти, догадываюсь, ненавистные для тебя стены. За это ты женишься на Елизавете Сергеевне. Сразу после освобождения.

— И? — закинул ногу на ногу Барракуда.

— Что и?

— Женюсь. А дальше?

Губин переглянулся с Посенкиной.

— По-моему, тебе сейчас крупно повезло, Иван Алексеич. Свобода в обмен на официальную женитьбу. СВОБОДА! Разве ты не мечтал о ней?

— Да один хрен, начальник. Мне сидеть — точнее, лежать — недолго здесь. И все свои, все знакомо. А женитьба — она на всю жизнь кабала. Да еще неизвестно, сойдемся ли.

Он зыркнул на Лизу, и та покрылась рваным румянцем.

— На всю жизнь? — протянула Посенкина. — Да какие ж у вас, позвольте спросить, прожекты на ВСЮ-то жизнь?

— Какие ни есть, все мои, мадам!

— Иван Алексеич, — Губин встал и нервно прошелся по кабинету. — Ты уразумей: сколько бы тебе ни осталось, ты проведешь эти дни в тепле и заботе.

— А ну как не сойдемся? — гнул свою линию Кошкин. — Я вот хохотушек люблю, а барышня, гляжу, смурная сидит. И может, нам словом не о чем перекинуться, или, наоборот, ругаться начнем...

— Да фиктивный же брак! — не выдержала Посенкина. — Что ж ты, любезный, думаешь, я дочь свою за незнамо кого, да еще осужденного, отдам!

— А что? — Барракуда развалился в кресле и сально оглядел Лизу. — Я жених неплохой. Хотя и с тюремным прошлым, но брус, не жиган расписной¹. Деньгов, правда, нет, но это дело наживное. А по мужской части я кроль, из дамского ряда никто не жаловался, наоборот, благодарили, в ладоши хлопали, требовали на бис.

— Прекрати, Кошкин, — рявкнул Губин. — Имей почтение! Иначе отправишься обратно. И не в лазарет, я вон гляжу, ты шибко здоровый тут выкобениваться перед почтенными дамами, в камеру обратно пойдешь.

— Ой, нет, начальник, помилуйте, болен я, помира-а-а-ю-ю-ю.

Тут он согнулся пополам и ткнулся головой в Лизины юбки. Та дернулась, с ужасом посмотрев на мать, а Кошкин обхватил ее колени и заныл:

— Моченьки нету, жить охота, а сатрапы не да-а-а-ю-ю-ют!

Игнатий Палыч вскочил, схватил Барракуду за шиворот рубахи и рывком отодрал от Лизы. Холстина аппетитно хрустнула, и воротник остался в губинской руке. Кошкин упал на пол, задергался, извиваясь и поджимая колени к животу, издал пару жутких рыков, схватился рукой за оконную штору и, сорвав ее «с мясом» от карниза, вдруг выпрямился и затих. Лиза взвизгнула, Марья Романовна сидела в кресле пунцовая, наблюдая, как из приоткрытых кошкинских губ течет на кадык обильная слюна.

¹ Брус — на тюремном жаргоне «случайно осужденный», жиган — уголовник.

— Скоморох! — процедил Губин. — А пену кровавую из слюны делать не научился? Барракуда убедительно дернул конечностями и оскалился.

— Не обращайтесь внимания, это ж актер! — Игнатий Палыч вытер пот со лба оторванным воротником и швырнул его в Кошкина.

Лиза снова опустилась в кресло и схватила мать за руку. Посмотрев на ошеломленные лица дам, Игнатий Палыч подумал, что Барракуду придется продать им, как продают в лавке кусок несвежей телятины: тухлецу прикрывают маринадом, подкрашивают марганцовкой и клюквенным соком.

— Вставай, негодяй! Твое лицедейство никто здесь не оценит.

Барракуда поднялся и, шаркая, подошел к Лизе.

— Ну что, мамзель, не страшно? — он наклонился, взял ее руку и звонко чмокнул в ладонь. — Вот так оно и случится в один погожий денек. Хоп! И муженек ваш того... обделался и в ящик...

— Надеюсь, я не буду этому свидетелем, — нашлась Лиза, и мать ее одобрительно кивнула.

— Как знать, барышня, как знать...

Кошкин ухмыльнулся и хотел было снова плюхнуться в кресло, но Губин вызвал секретаря с конвойным и велел вывести визитера вон из кабинета, с глаз долой.

Когда Кошкина увели, он повернулся к Посенкиным.

— Как видите, человек наш с нюансом...

Мать и дочь сидели молча, потом Лиза поджала губы:

— Маман, вы уверены, что он нам подойдет?

Посенкина помолчала, поелозила в кресле, будто пресс-папье по писчему листу, и басом выдохнула:

— Сойдет. Нам его не в супе варить, главное, чтобы помер скорехонько после свадьбы.

Она зыркнула на Игнатия Палыча, но тот лишь пожал плечами:

— Это уж, матушка Марья Романовна, в воле Господа. Моя пособливость заканчивается на его досрочном освобождении и передачи вам на руки.

* * *

В процедурной комнате висели химическая тишина, невыносимая белая тоска и букет лазаретных запахов, но там можно было поговорить без лишних глаз и ушей. А таскать Барракуду в свой кабинет на глазах у санитаров, конвойных и дежурных унтеров — лишь привлекать ненужное внимание. Губин сидел на кушетке в ожидании Кошкина и размышлял о том, сколько волокиты предстоит с этим досрочным освобождением. Он уже сам не рад был, что ввязался, но круглая денежная сумма, обещанная Посенкиной, все же изрядно бодрила.

Секретарю Губин сообщил, что приехали кошкинские родственники и надо подготовить нужные бумаги для подачи в ведомственное управление. После Барракудино-го спектакля перед дамами Посенкина захотела оформить отдельный договор «купли-продажи», по которому часть суммы выплачивалась Игнатию Палычу сразу, а часть после похорон Кошкина. Но Губин никаких бумаг не захотел, даже расписки, и вынужден был провести отдельную беседу с Марьей Романовной на предмет строгой конфиденциальности предстоящего предприятия, и все деньги затребовал сразу, иначе... О, этих «иначе» у него было припасено предостаточно. На «человечество», как он по-

нял за все годы службы в царскосельской тюрьме, слово «иначе» имеет самое сильное действие. Можно и не договаривать: «Иначе...» — и замолчать, напустив холод в равнодушные глаза. Собеседник уж сам додумает, домоделирует и сам же испугается. Вот и Посенкина согласилась на все условия, не капризничая, и денежную пеню за выкуп внесла сразу, чтобы времени не терять. Однако ж выразила сомнения, что слишком бодр женишок, но Губин заверил, что это исключительно от магнезии и поддерживающих лекарств.

Игнатий Палыч почувствовал легкое прикосновение и вздрогнул: на его плечо легла белая скелетная кисть, погладила и дала оплеуху. Губин резко обернулся.

Барракуда стоял с рукой от муляжного скелета и хохотал открытым наглым ртом.

— Испужался, Игнашка?

— Кошкин, балбес, вот убить тебя мало, а благоденствую негодяю.

— Потому что совесть свою гнилую задобрить хочешь, жабье семя!

Губин пропустил колкость мимо ушей и, отобрав у Барракуды скелетную кисть, объяснил ему суть брачного договора, который тому предстояло подписать.

Кошкин слушал внимательно, потом прошелся по комнате взад-вперед, заложив по-арестантски руки за спину, и наконец изрек:

— Не-е-е. Не хочу жениться!

— Да ты сдурел?

Барракуда улегся на кушетку, пнув коленкой Губина, и тот поспешно встал, будто обжегся.

— Не-е-е. У нее, у Лизки, колени тощие, я когда башкой в них ткнулся, сразу понял: палки там у нее под юбчашками. А колени для женского пола очень, скажу тебе, важны. Мы ж артисты, ценители, мы не можем так с кем попало да с тощими мослами. Ну чего ты, Душегубин, уставился на меня, желваки вон, как поршни, по рылу ходят. Пока ты щелкаешь голенищами перед начальством, а я тут подыхаю, как придавленная мышь, дамочки-то на воле дурнеют.

Игнатию Палычу захотелось наорать на Кошкина. Какая ж скотина, думал он и еле сдерживался, чтобы не рявкнуть громко: в коридоре могли услышать.

— Слушай, ценитель!.. Что ты идиот, ты и сам знаешь. За тебя готова выкупная сумма, и сегодня же ты подпишешь все, что нужно!

Он резко развернулся и пошел к двери, потом оглянулся и процедил:

— В карцере сгною.

Барракуда рассмеялся — рвано и хрипло, сложившись на кушетке пополам. Губин вышел, и дверь процедурной харкнула ему вслед громким резким хлопком.

Наутро Кошкин долго рассматривал бумаги и, прочитав до конца, откомментировал коротко:

— Египетская титька.

В бумагах значилось, что он-де обязывался вступить с Посенкиной-младшей в брак в течение двух последующих за датой подписания недель, далее проживать с супругой в отдельных помещениях, на имущество не претендовать и из Петербурга не отлучаться. За это ему, подписанту, даровались досрочное освобождение под заложную пеню и необходимый медицинский уход.

— Давай же, вот здесь надо поставить подпись.

— И? — прогнусавил Кошкин.

— И пойдешь на волю, дурья твоя башка.

Губин вложил перо в руку Барракуды и приставил к нужному месту на листе.

Кошкин замер на секунду, а потом завопил:

— Не-е-ет! Отобрать хочешь все, Душегубин!

— Что все-то?

— Квартиру мою на Невском, гнездышко родительское, лошадей моих с конюшнями, все-все!

Губина от возмущения затрясло:

— Какую квартиру на Невском, Ванька! Какое родительское гнездышко? В Твери твой сарай, да сгнил уж давно! Конюшни у него!

— Сто душ челяди, сволочь! Всех отбираешь!

— Подписывай, болван! — Игнатий Палыч не сдержался и ткнул его пальцем в плечо.

Барракуда согнулся от тычка, как от удара, скатился на пол и завопил:

— Убивают! Где же справедливость? Незаштошеньки убивают! Император узнает, повесит тебя, подлая рожа Игнашка!

Губин молчал. Барракуда еще покатался немного по полу, потом выдохся и с трудом переполз в кресло. Игнатий Палыч снова сунул ему перо и парой фраз напомнил, что такое карцер. Барракуда зыркнул гневно и размашисто подписал на листе:

ПУШКИН

И, изображая припадок, задержался в кресле.

Позже, в кабинете, Игнатий Палыч не решился рассказать Посенкиным, как Кошкин валял дурака, и документ с подписью Пушкина перед встречей разорвал. Марью Романовну же заверил, что все будет подписано позже: рука у Ивана Алексеича, мол, дрожала, перо выпадало.

Посенкина недоверчиво взглянула на Губина, но проглотила. Перед ней на столе лежали уже оформленные залоговые бумаги и расписка за то, что сегодня ей передают Барракуду. На отдельном листе были аккуратно выписаны латинские названия кошкинских недугов, самым невинным из которых был цирроз печени такой запущенной стадии, что даже, по уму, бесполезно было что-то делать, лишь срочно бежать за священником.

— Как его содержать-то? — спросила Посенкина, как будто Кошкин был мопсом. — Чем он питается?

— Доктор Костюкович выписал диету, — Игнатий Палыч протянул ей еще один листок. Лиза заглянула в него и брезгливо отвернулась.

— Ладно. Забираем женишка.

Губин разлил по бокалам шампанское как удачное завершение сделки и выразительно посмотрел на Посенкину. Та открыла ридикюль и вытащила жестяную коробочку с рекламой броккаровского парфюмерного набора. Поставив ее на стол, она зыркнула на портрет императора, выдохнула и взялась за бокал. Игнатий Палыч измерил взглядом коробочку и, к удивлению своему, подметил, что стенки ее невысокие, маловаты для той пачки купюр, о которой изначально шел разговор.

— Здесь треть, — подтвердила его догадки Посенкина.

— Но мы же договаривались... — начал было Губин, но она жестом прервала его.

— Я подумала, будет справедливо. Посенкины — семья честная, мы слово держим. Вторую часть суммы получите в день свадьбы, остаток — как он помрет.

— Но!.. — Игнатий Палыч почувствовал прилив крови к голове. — Тогда, матушка, никакой сделки!

— Посенкины — семья честная, — снова повторила «покупательница». — Надеюсь, вы понимаете, уважаемый наш друг, ваш протеже — рискованный товар. Нет у меня к господину Кошкину вашему никакого доверия, возьмет и отчебучит что-нибудь каверзное, сбежит, например, до свадьбы, а гарантий вы, уважаемый друг, дать никаких не можете.

— Да куда сбежит?! Он при смерти! Побойтесь Бога!

— Да я-то боюсь, а вот вы, Игнатий Палыч?

Марья Романовна встала и со щелчком закрыла ридикюль. Вошел секретарь, поинтересовался, не нужно ли подавать чай, но Посенкина, как если бы была хозяйкой кабинета, отослала его справиться о почтовых до Петербурга.

Пререкался с ней Губин не стал. Лишь стоял, ругая себя, что позволяет — вот в эту самую минуту позволяет — брать над собой верх, он тряпка, тряпка, тряпка, права его жена. Надо бы отправить дамочек восвояси, пригрозив предать огласке авантюру... Да только что им огласка, она уж точно больше страшна для него, если о сделке кто-нибудь узнает. И вот он, как он мог допустить так с собой обращаться? Он, начальник, которого боится чуть ли ни весь служивый персонал и перед которым трепещут даже равные ему по рангу. Он, Губин, решающий многие судьбы людей в этом самом кабинете, за этим столом под портретом императора, он, сильный, влиятельный, власть имущий, соглашается на треть! Даже не соглашается, его и не спрашивают, а просто ставят в известность!

Игнатий Палыч, стиснув зубы до боли в челюсти, схватил броккаровскую коробку и даже сделал мелкое движение в сторону Посенкиной, но что-то сковало мышцы руки, будто связали невидимой бечевой до онемения кисти и на каучуковой резинке оттянули назад. В мозгу вновь возникла тошнотворная мысль о карточном долге сына, о его кредиторах, и взбешенный Губин, описав коробочкой в воздухе дугу, стукнул ее краем о письменный стол, открыл ключом ящик и сунул ее туда — вместе с рукой, живущей какой-то своей жизнью и не отпускающей проклятую жестянку.

* * *

Под моросящий дождь и лихой промозглый ветер подъехала крытая повозка, забрызганная дорожной грязью целиком, включая ямщика. Посенкины сидели, кутаясь в намокшие шубы, и напряженно наблюдали за воротами тюрьмы. Время шло, никто не появлялся, и ямщик был послан постучать кулачищем в дверь.

Спустя какое-то время возник хмурый господин, заявивший, что предупрежден «об отправке», но требуется немного подождать. В кабинет к Губину их никто не приглашал. Еще через некоторое время неспешно появился сам Игнатий Палыч и на раздраженный вопрос Посенкиной, не собрался ли он их здесь заморозить, ответил игнорирующим молчанием. Мелкая месть ушлой купчихе за недоплаченные суммы, недостойная благородного человека, как считал сам Губин, все-таки немного, но грела его обиженную душу. А больше и отомстить-то паршивкам нечем. А деньги очень, очень нужны.

— Бумаги выходные готовили, Марья Романовна, — наконец соизволил объясниться Игнатий Палыч, как будто все не было готово накануне. — Волокита, сами понимаете.

Лиза поджала губы и недовольно ткнулась носом в плечо матери.

— Сколько еще ждать?

— Сейчас выпустят, — ответил Губин, сам немного удивляясь, что Барракуду не привели в тюремный вестибюль, о чем было заранее оговорено с доктором Костюковичем.

Нахмурив брови и намереваясь как следует отругать всех причастных, Игнатий Палыч широким шагом направился в лазарет и уже в коридоре отделения интуитивно почувствовал неладное.

Василий Василич встретил его мрачный и коротко откомментировал:

— Час назад был, похоже, кризис.

— Что значит «похоже»? — взревел Губин.

— Сначала думали, симулирует, потому как застали его за тем, что ел еду соседей, с аппетитом уминал, что насторожило. А потом лег на койку и стонал. Перенесли его в процедурную, с ним сейчас дежурный врач и сестра.

Игнатий Палыч, помидорно-красный, влетел в процедурную. Барракуда лежал, поджав колени, и мычал.

— Сделайте же что-нибудь! — Губин обернулся к вошедшему за ним Костюковичу.

— Вкололи все, что могли, даже из запасов, Игнатий Палыч, больше медикаментов его организм не выдержит.

Губин присел на койку.

— Ваня! Ты слышишь меня? Кошкин!

— По-ми-ра-ю!

— Эй, Иван! Ты давай-ка не балуй! — Губин осторожно потрогал Барракуду за плечо. — Укройте его, живо!

Сестра вспорхнула и быстро вернулась с одеялом, уже третьим. Губин сам накрыл Кошкина.

— Ванька, надо ехать. Слышишь!

Барракуда тихо выругался и застонал так, что у Игнатия Палыча заиндевело внутри.

— Ты можешь идти?

Кошкин открыл один глаз:

— А-а-а! Душегубин! Пришел насладиться моей агонией?

И так затрясся, что крепкая койка застонала вместе с ним.

— Что??? — шепотом спросил Губин Костюковича.

Тот нервно пожал плечами.

— Не знаем мы, Игнатий Палыч, — так же шепотом ответил доктор. — От всего вколотого должен был хотя бы уснуть, но не засыпает.

Губин смотрел, как вздрагивают, подпрыгивая, три одеяла на Барракуде.

— Это агония?

Доктор молчал.

Губин вскочил и схватил его за лацканы халата:

— Костюкович! Вы же врач! Какое, к чертовой матери, «возможно»! Мне он живой нужен! Повозка ждет. В Петербург забирают. Он доедет вообще?

— Я бы не рисковал, — Василий Василич аккуратно высвободился из лапищ Губина. — Растрясти может.

— К лешему растрясти! — шипел Игнатий Палыч. — Он доживет до завтра? Мне надо правду знать.

— Не уверен, — снова проблеял Костюкович, но взглянув в ежистые губинские глаза, выдохнул: — Я бы советовал тюремного священника позвать, исповедовать. Немедля.

Губин снова взглянул на трясущийся холмик из одеял и нервно заходил по процедурной, меря ее шагами по всему периметру. Жалость к неудачнику Кошкину, жалость христианская, жалость к себе и чувство собственной вины перед Иваном, хоть вины и косвенной, боролись в эту минуту в Игнатии Палыче с острым страхом недополучить две трети обещанной суммы. Да что там! Вынутая из жестяной коробочки

треть обещанного уже была отослана кредиторам, вся до копейки, а немудрено, что ушлая горгулья Посенкина потребует свои деньги назад, если Барракуда вздумает сейчас, на этой койке, отдать концы.

— Так я пошлю за батюшкой? — подал голос Василий Василич, стоящий от Губина поодаль, на всякий случай.

Игнатий Палыч рванул воротничок у горла и залпом выпил всю воду из кувшина, стоящего на столике у Барракудиной койки.

— А где он сейчас?

— Служба кончилась. Вероятно, домой пошел.

Дом отца Леонтия, куда Игнатий Палыч иногда хаживал на чай, находился в версте от тюрьмы.

— Так я пошлю?..

— Нет. Сами к нему поедем. Носилки! — скомандовал Губин, к удивлению Костюковича и двух сестер, хлопчущих возле Барракуды.

Когда тюремные ворота отворились, Посенкины, к ужасу своему, увидели процессию из Губина, секретаря, почтительно несшего узелок с нехитрыми пожитками бывшего арестанта и папку с бумагами, доктора, накинувшего поверх халата какую-то бабью шаль, и двух дюжих санитаров с носилками, на которых, сложив по-покойнически руки, белый, как молочная пенка, но с кривой ухмылкой ехал Барракуда.

— До Петербурга не доедет, — коротко отрезал Губин.

Санитары поставили носилки прямо на камни мостовой, ловко подняли Кошкина и, как тряпичную куклу, усадили в повозку. Секретарь сунул ему в руки вещевой мешок.

— А как же... — начала было Посенкина, но Игнатий Палыч прервал ее:

— Кончается он. К батюшке поедем. Обвенчает вас срочно, — он кивнул на сидевшую испуганную Лизу.

Посенкины переглянулись и синхронно кивнули.

Игнатий Палыч забрался в повозку и крикнул кучеру адрес. Да велел мчать, не жалея лошадей.

Дорога была хоть и недолгой, но немилосердно тряской. Барракуда уже не стонал, а при очередном подскоке повозки громко икал, потом взглянул осмысленно на Посенкиных, закатил глаза, съехал головой на плечо Губина и, сдвинув язык к краю рта, захихикал, пуская слюну.

— Вот бес! — процедила Марья Романовна. — Он точно помирает?

Губин взглянул на Барракуду.

«Не может с... кот подложить мне свинью и помереть».

Он вспомнил про остаток обещанных денег и подумал: «Или не помереть».

Отец Леонтий сам отворил дверь и был очень удивлен незванным гостям. Его сухонькое птичье лицо выражало одновременно и страх перед начальством, и искреннее непонимание ситуации, и тяжкое усилие выглядеть достойно, как подобает человеку сана.

Он переводил взгляд близоруких глаз с Игнатия Палыча на двух дамочек, затем на дюжего ямщика с перевешенным через плечо, словно хомут, Кошкиным и снова на Игнатия Палыча.

— Надобно срочно, срочно повенчать! И грехи отпустить, — отрезал Губин.

Отец Леонтий посторонился, впуская в дом процессию, кликнул матушку, и та появилась, до смерти перепуганная, с испачканным в муке носом и куском теста в руке.

Барракуду уложили на хозяйскую кровать, накрыли стеганым одеялом, и матушка ойкнула: а жив ли раб божий, потому как признаков жизни в нем не наблюдалось.

Батюшка наспех напялил епитрахиль, поверх надел огромный крест, взял в руки требник и, прокашлявшись, спросил:

— Как же таинства проводить, ежели усоп?

Он подошел к Кошкину и жестом опытного лекаря приподнял веко его правого глаза. Ничего не поняв, оттянул левое веко, пожевал губами, соображая, и зачем-то полез Кошкину в рот. И в тот же миг заорал на весь дом: Барракуда сильно укусил его за палец.

Отец Леонтий отскочил, прижав руку к груди и, опрокинув табурет, едва удержал равновесие.

— Куда грязными лапищами мне в пасть! — взревел Кошкин и сплюнул на одеяло.

— Жив раб наш божий, — попытожил Игнатий Палыч.

Отец Леонтий перекрестился, глядя куда-то наискось, и, повернувшись к Губину, прошептал:

— Так что вы хотели? Исповедовать?

— Отпеть. И тризну справить, — рявкнул Барракуда и заголосоил: — Ох, моченьки моей нет! всю жизнь маялся, без угла своего и теплой женушки! Злые черти в тюрьму засадили, а тюремщик Игнашка чуть не сгноил. Ой, кончаюсь я, помогите, прикончите, чтоб не мучился! Ох, чувствую, не дожить мне до вечера! Не приласкать невестушку. А? Лизавета? Не быть тебе мужем ласканной, ой помираю!

— Скорее давай, отец Леонтий! — шепнул батюшке Губин.

Отец Леонтий с опаской подошел к Барракуде и принялся читать молитву. Губин бестактно вмешался:

— Венчать, венчать сперва!

— Нет уж! Венчание только в храме. Алтарь нужен. На дому не венчают.

— Очень просим... — начала было Посенкина, но батюшка резко прервал ее: — Без алтаря никак. Богопротивно это! И не мешайте мне исповедовать. А то сызнава начну.

Пока длилось нехитрое таинство, Губин ходил взад-вперед по комнате, не находя себе места, и только когда батюшка отпустил Барракуде все грехи, нетерпеливо произнес:

— В церковь! Сию же минуту!

Ямщик, дожидавшийся в сенях, вновь взвалил Барракуду на плечо и погрузил в повозку. Отец Леонтий сел, зажатый с обоих боков Посенкиными, Губин же придерживал на сиденье Кошкина и молил Бога, чтобы все скорее закончилось. «Все» — хотя бы венчание. Хотя бы.

— Душегубин, гнилые потроха... — стонал Барракуда. — Растрясете нутро мое...

Он сделал вид, что его сейчас вырвет, побебекал, пустил слюну на воротник Игнатия Палыча и затих.

Посенкины весь путь ехали молча, неотрывно глядя на Кошкина, что казалось, даже не моргали.

Когда подъехали к воротам тюрьмы, к ним вышел Костюкович, будто даже и не удивленный скорым их возвращением и ожидавший тут же, у ворот.

— Василь Василич, — вылезая из повозки, сказал Губин, — глянь, жив ли.

Костюкович пощупал пульс и шею Барракуды.

— Жив. Только спит.

— Спит???

— Так инъекции же. Я говорил вам.

Санитары прибежали с носилками, переложили на них Барракуду и, следуя указаниям Губина, потащили его в тюремный храм. Игнатий Палыч подхватил под руку батюшку и увлек его следом.

В маленькой церкви было холодно и темно, и ветер завывал из всех щелей. Пахло ладаном, свечами и чем-то мышиным. Прозрачный Костюкович, не удивлявшийся уже ничему и предпочитавший лишних вопросов не задавать, послушал стетоскопом Барракудино сердце, молча кивнул, но сделал глазами выразительную дугу.

Барракуду потянули за подмышки, подняли с носилок и усадили на лавку, перевев спину сундуком. Батюшка, уже в облачении, взял его руку, слепил, как пельмень, из пальцев кулек и угнездил в него зажженную свечку. Кошкин приоткрыл один глаз. Свечка не держалась в слабом кулаке, падала, рискуя спалить одежду, все охали, пока Барракуда не сделал из кулака кукиш и не зажал ее между большим и указательным пальцами.

— Помилуй, Госп... — подала голос Посенкина, но отец Леонтий так зыркнул на нее, что она замолчала на полуслове. Губин смотрел на образа и отчаянно желал, чтобы все поскорее окончилось.

Батюшка сунул Лизе вторую свечу и монотонно затянул овечьим тенорком молитву. Во время нее Барракуда съехал с сундука на лавку, принял лежачую позу и положил обе руки со свечкой на живот.

— Как покойник! — ойкнула Лиза, озираясь на мать.

Кошкина снова усадили, и Губин с Костюковичем ухватили его крепко за ворот.

— Где я? — промямлил Барракуда.

— Мы венчаемся с вами, — шепотом сказала Лиза, встав рядом и поправив на голове шаль.

— Приведите его в бодрствование, — повелел отец Леонтий, и Игнатий Палыч хлопал Кошкина по щекам.

На это Барракуда ткнул ему свечой в ладонь, и Губин отскочил, обжегшись. Кошкин хрипло засмеялся и кашлянул так, что свечка в кулаке погасла. Ему зажгли ее снова.

— Давайте, батюшка, побыстрей, — отозвалась Посенкина.

Отец Леонтий возражать не стал. Упростив, и значительно, таинство обручения, прочитав наскоро полагающееся из трубника, он наклонился к Кошкину и громко, как глухого, спросил:

— Имеешь ли ты, Иоанн, намерение доброе и непринужденное и крепкую мысль взять себе в жены Елизавету, которую здесь пред собою видишь?

— А я не вижу Елизавету, — подал голос Барракуда. — А крепкую мысль имею.

Посенкина подтолкнула Лизу ближе к жениху. Кошкин скосил глаза, оглядел ее с ног до головы, поморщился и выдохнул ожидаемое всеми «Ага». Просить его произнести «Да» никто, включая батюшку, не стал. Посенкина поправила жениху кукиш со свечкой и встала сзади с приготовленным венком. Отец Леонтий обратился к Лизе и, получив ее молниеносное согласие, продолжил положенный речитатив, изрядно путая порядок таинства.

— Венчается раб божий Иоанн рабе божьей Елизавете... — услышал Игнатий Палыч и впервые за этот день почувствовал облегчение.

Значит, вторую часть суммы он получит сегодня. Губин мысленно похвалил себя за правильность решения везти Барракуду сразу к священнику и всячески старался отогнать греховную мысль, что вот бы как ладно все сложилось, если бы и третья, последняя денежная доля так же была отдана ему вместе со второй.

«Да что я, точно собака подлая, смерти Ваньке желаю, — никак не мог избавиться от черных дум Губин, пока отец Леонтий заунывно зачитывал новобрачным наставления на верность в супружестве. — Пусть поживет на воле, сколько ему там отпущено».

Но вспомнив слова Костюковича и взглянув в лицо Кошкина, худящее, зловеще Кощеево от свечных теней, с мелким удовлетворением подумал: вполне может стать-ся, что деньги Посенкина отдаст все целиком уже к вечеру.

— Кольца приготовьте, — хлюпнул носом отец Леонтий, повернувшись к Игнатию Палычу.

Посенкина отреагировала первая, сняла с руки обручальное кольцо и протянула батюшке. Все повернулись к Губину. Чертыхаясь про себя, Игнатий Палыч снял с руки кольцо.

Из ворот тюрьмы вышли той же процессией: Губин, Костюкович, Посенкины, отец Леонтий и санитары с носилками. Возлежащий на них Кошкин невпопад, но с душой тянул куплет кабацкой песни:

Нам с лица не воду пить,
И с корявой можно жить,
Да чтоб мясо на костях,
Чтобы силушка в руках!
Ай да Марья! Марья — клад!
Сватай Марью, Марью, сват!..

Ямщик, дремавший на козлах, вздрогнул и сонно спросил:

— Тепереча-то куда?

Барракуда, махнув залихватски рукой и качнув носилки, скомандовал:

— В кабак! Отмечать!

— Смотрите-ка, ожил, муженек! — хмыкнула Посенкина и кивнула ямщику: — В Петербург давай.

— Не рекомендовал бы, сударыня. Слабый он, не доедет, — кашлянул Костюкович, с подозрением глядя на новобрачного.

Никто не возразил, но и не отреагировал. Все наблюдали со скучающими лицами, как Барракуду снова впихнули в повозку.

— Марья Романовна, — ележно произнес Губин, — надо бы и правда отметить со-здание новой семьи.

И так выразительно посмотрел на Посенкину, что у той не осталось шанса намек не понять. Она ехидно зыркнула на него, помучила долгой паузой и кивнула.

Повозка дернулась, всплакнув скрипучими рессорами, и медленно покатила на квартиру к Игнатию Палычу. Оставшиеся на мостовой батюшка и доктор Костюкович молча глядели вслед отъезжающим, и оба разом захотели перекрестить их. Но сделал это лишь отец Леонтий.

— Впервые я на такой тихой свадьбе гостюю, — сказала Арина Макаровна, супруга Губина, дуя на рюмочку водки, как на блюде с чаем. — И стыдно-то, Игнатий, не предупредил, к столу подать можем лишь будничное.

— Сами не знали, — мрачно ответил Игнатий Палыч, наливая себе вторую стопку.

Сидели в гостиной, говорили вполголоса, чтобы не разбудить Кошкина, устроенного в маленькой гостевой комнате, дверь в которую оставили приоткрытой. На столе

в горшочках лежали серые грузди, рыжики, нарезанные кружочками, квашеная капуста с глазками рубиновой клюквы, соленые кривые огурчики и утренние пироги с рубленным мясом. Посланная наскоро в лавку губинская кухарка вернулась с корзиной всякой снеди: окороком, бужениной и головой сычужного сыра. Завернутый младенчиком в бумажный куль огромный судак одним размером черного плиссированного хвоста, торчащего из свертка, предвещал в скором времени неплохое продолжение застолья.

Лиза сидела сумрачная, под стать Игнатию Палычу, и лишь Марья Романовна была весела и словоохотлива. Вспоминала свои девичьи годы, свадьбу, хлопоты с частыми переездами и в ненужных подробностях Лизонькино детство.

— Ну что, выпьем, стало быть, за любовь! — подняла рюмку Арина Макаровна. — Хоть бы молодым удалось пожить счастливо!

Никто тост не поддержал, но выпить не отказался. Посенкина перестала щебетать и в последующие минуты поглядывала на мадам Губину как на персонального врага. Игнатий Палыч, успевший получить вторую часть причитающегося гонорара, был в мыслях далеко: вся сумма до копейки уже распределилась в его голове по кредитрам и прочим надобностям, и он вяло поддерживал беседу дам, лишь вставлял к месту и не к месту какие-нибудь междометья.

Уже заметно стемнело, и Арина Макаровна распорядилась постелить Посенкиным в спальне дочери, гостившей у родни в Москве. И пока женщины допивали десятую чашку чая, Игнатий Палыч, сославшись на надобность выкурить трубку, встал из-за стола и вышел из гостиной. В коридоре он остановился и прислушался: из гостевой комнаты, где спал напичканный лекарствами Барракуда, не доносилось ни звука. Сердце Губина учащенно забилося. Он подошел к открытой двери и снова прислушался: тишина. Ни хриплого дыхания, ни булькающего кошkinsкого храпа. Заглядывать в комнату никакого желания не было. Губин тихо перекрестился, постоял в тупом оцепенении и решил и в самом деле выкурить табак, а потом уже соображать, что делать. Паскудный мозг сразу подбросил греховную мысль: быть сегодня третьей, последней, посенкинской выплате. А сердце все же сильно засадило от жалости к непутевому Ваньке Кошкину, шалопаю и раздолбаю, но, по сути, ничего по-крупному плохого в жизни никому не сделавшему — типичному образцовому представителю русского «человечества», что хоть в Палату мер и весов определяй его эталоном.

«Таких вот Кошкиных, — думалось Игнатию Палычу, — по всей России-матушке ведро с горкой на каждый губернский двор. И нет ли в этом особого божьего умысла: бунтари и шуты, пьяницы-балагуры без царя в голове, драчуны и острословы за- всегда были крепким гужем в упряжи, и саночки без них российские не едут, и ничего без них в истории не происходит. Они-то и хранят Россию, они-то и когда-нибудь ее погубят...»

Мысли своей Губин додумать не успел, потому что уловил доносящийся из кухни басовитый смех и в унисон ему — визгливое подхихикивание кухарки.

«Хахаля своего в мой дом привела, курица?» — подумал Игнатий Палыч, вошел в кухню и обомлел: Барракуда в кальсонах сидел на столе, болтая босыми ногами, откусывал от копченого окорока, держа его пятерней за берцовую кость, и отпивал из большой кружки, судя по стекающим по подбородку вишневым подтеком, вино из губинских запасов. Разрумяненная кухарка счищала рыбы потроха с чешуей из миски в жбан с отходами и кокетливо охала на какую-то сальную кошkinsкую шутку.

— О! Папочка пришел! Выпей с нами, родной! — Барракуда взмахнул руками, избражая объятие, и капли вина брызнули на лицо Игнатия Палыча.

— Ты... — изумленный Губин хотел было сказать: «Ты жив!», но вместо этого выпалил: — Ты пьян?!

Испуганная кухарка схватила жбан и исчезла с ним, словно в воздухе размылась.

— Да! — икнул Барракуда. — Я пьян! А что? Вы там жрете, меня к столу не зовете, жаркое вон даже не оставили. А Кошкин — подыхай? Тюремная твоя морда, Игнашка Душегубин!

Игнатий Палыч от изумления даже выговорить ничего не мог. Заметив его конфуз, Барракуда громко загоготал:

— Что? Небось похоронил меня уже?

Он швырнул окорок в миску и, сложив жирными пальцами правой руки кукиш, выставил руку вперед и повертел грязным кулаком.

— На-кася выкуси!

И снова пьяно загоготал.

— Кольцо! — наконец выдохнул Игнатий Палыч! — Кольцо мое давай.

Барракуда поднес кулак к собственному носу и, обнюхав его, как собака, медленно разлепил пальцы. Кольца не было.

— Куда дел? — взревел Губин.

Барракуда поставил кружку на стол и, сделав кислую удивленную мину, развел руками.

«В комнате», — мелькнула у Губина мысль. Он развернулся к двери и увидел в проеме стоящих в полном ошеломлении с открытыми ртами Посенкиных. Сзади них с любопытством высовывала нос Арина Макаровна.

— О! Благоверная моя! — Кошкин по-молодецки прыгнул со стола, подошел вразвалку, почесывая гульфик, к Лизе и, возложив лапищу ей на ягодицу, взасос, как шершень, присосался к белой шее.

Лиза взвизгнула и отпрыгнула вбок. Барракуда успел схватить ее за руку.

— Э! Нет! Жена моя ты теперь. Венчаны. Али забыла?

Лиза испуганно посмотрела на мать.

— Так вы, сударь, ожили? — пришла в себя Посенкина.

— А вы, стало быть, иное планировали? — выдохнул ей в лицо смесью всевозможных запахов Кошкин. — Вы со мной зазря манежитесь. Я вам не михрютка какой.

Он повернулся к мадам Губиной:

— Хозяйка, есть тут кровать у вас пошире, у нас брачная ноченька сегодня?

Ничего не понимающая Арина Макаровна кивнула и, подобно кухарке, мгновенно растворилась в воздухе.

— Давайте же выпьем, новые мои родственнички, за нашу крепкую, новенькую такую семью! — Барракуда схватил бутылку со стола, залпом и с утробным рыканьем сделал огромный глоток и театрально, как в водевиле, свалился замертво.

«Замертво» — слово цепкое, в ситуации с Кошкиным даже ироничное. На робкий Лизин вопрос, не помер ли он, Игнатий Палыч не нашелся, что сказать. Но пьяный богатырский Барракудин храп все сам пояснил.

Утром собирались второпях. Посенкины были неразговорчивы, и излишняя говорливость Арины Макаровны лишь раздражала. Кольцо в комнате так и не нашли, хоть обыскали все щели. Барракуду разбудить не удалось, пьяный его сон был крепок и не поддавался никаким вмешательствам извне. Даже когда Лиза вылила ему на лицо воду из графина, а Посенкина от души потрясла его, два раза уронив с кушетки, никакого действия все это на Кошкина не возымело. Он спал здоровым безмятежным сном праведника, всхрапывая и причмокивая.

Так его и погрузили в повозку. Губин, страдая от невыносимой головной боли и ощущая в черепе мозговой сухостой, попрощался с Посенкиными нейтрально вежливо, желая как можно скорее избавиться и от гостей, и от всей истории, лишь убедительно попросил Марью Романовну сразу отбить ему телеграмму, как только... как только ожидаемое всеми событие случится. Но что-то внутри его метафорично подсказывало: ох как не скоро придет эта самая посенкинская телеграмма.

* * *

Через месяц все же телеграмма пришла.

В ней в одной фразе было сказано все целиком, а текст, вдавленный серыми штрихами в желтоватую телеграфную ленту, был скуп, но поистине великолепен:

Господин Губин зпт убедительно просим забрать его назад тчк.

Игнатий Палыч перечитал несколько раз и засмеялся негромкими глотками смеха, не вдыхая, а всасывая его сквозь зубы по кусочкам.

На телеграмму он не ответил.

* * *

В последующий год о Барракуде ему поведали петербургские знакомые. По весне они видели его на Думской гуляющим таким франтом, в триковых брюках в клетку и бархатном жилете цвета электрик — пусть старомодно, но броско, — и на спор с мальчишками-газетчиками плюющего в подвешенный к фонарю бумажный куль. Игнатий Палыч не удивился этой новости, но поймал себя на том, что втайне ей обрадовался — и обрадовался искренне. Бог с ними, с недополученными деньгами. Дерзкий Кошкин, такой «натуральный продукт» человечества, шалопай и раздолбай, мерзавец, но мерзавец бесовски обаятельный, переиграл козырную карту недалекой купчихи, выжил назло всем ее неистовым мольбам и, судя по всему, остался в большем прикупе.

Еще через полгода Губин получил письмо на двенадцати страницах. В них Посенкина подробно описывала выкрутасы Кошкина, особенно жаловалась на то, что в отсутствие брачного договора, который не успели заключить из-за спешки, шельма теперь пользуется всеми благами супруга. Он потребовал лучшего лечения, и пришлось отправить его в Кисловодск, иначе грозил предать огласке пикантную историю его выкупа всеми возможными способами. Особо кичился знакомством с Аверченко и при любой попытке договориться о чем-либо страшал фельетонами в «Сатириконе» с указанием конкретных фамилий. Посенкина была не робкого десятка, но для торговых дел, которые вела с солидными людьми, все же о репутации беспокоилась. Несколько раз Кошкин устраивал спектакль с отходом в мир иной, и все крутились вокруг него, доктора впрыскивали лекарства, а священники наскоро причащали. Потом же удивительнейшим образом он воскресал и пускался во все тяжкие по новой. Деньги ему пришлось давать, потому что однажды не дали — и он пошел разгуливать по улице нагишом, и вскоре городской притащил его в околоток, где Кошкин хныкал и жаловался, что его жена и злая теща выставили в чем мать родила на улицу, и где ж такое видано, чтобы русского порядочного семьянина так унижали. Дру-

гой же раз он предстал перед знакомыми Посенкиных в костюме енота и вынудил их дать ему большую сумму денег в долг, в качестве аргументов предъявив гнусную историю о том, что якобы он смертельно болен, и его хотят продать для опытов по разработке секретного биологического оружия, и он только что сбежал из лаборатории, где ему грозила вивисекция наряду с мышами и собаками.

Проживает он на даче Посенкиных — в хорошем зимнем доме в Тярлеве и не нуждается ни в чем. Более того, чтобы Кошкин не появлялся на петербургской квартире, Посенкина вынуждена посылать к нему раз в неделю кухарку с запасами продуктов и наемную прислугу для уборки — на этом он, гаденыш, настоял.

Через несколько месяцев после свадьбы ему предложили мирный развод, от которого он отказался. Адвокат Посенкиных предполагает долгую бракоразводную тяжбу и неприятную сумму отступных, но надобно идти до конца, потому что житья от него нет.

Но более всего Марью Романовну тревожило, что Лизонька тайно ездит к нему в Тярлево и повлиять на нее никаких сил нет.

Игнатий Палыч ответил на письмо холодно и коротко. Мол, сочувствует и искренне надеется, что личной вины его в сложившейся ситуации никто не усматривает.

* * *

И вместо эпилога.

Вести о Барракуде вскоре стали для Губина предметом чуть ли не первой необходимости. Он наблюдал за Кошкиным издали, через знакомых и приятелей, и едва не сходил с ума, когда информация запаздывала. Развод дался Посенкиным тяжело и болезненно, но все же в итоге свершился, потому что любовь Кошкина к деньгам и самому себе не имела соперников.

На фронт Кошкин, как и следовало ожидать, призван не был — по подтвержденной медицинскими справками немощи, да и в тылу особо годен не оказался.

Два раза от него в Царское Село приезжали невнятного вида посыльные с просьбой к Игнатию Палычу одолжить денег в долг. И он одалживал, зная наверняка, что долг Барракуда не вернет.

Кошкин тоже вспоминал Игнатия Палыча. И каждый раз, вспоминая, кривил губу и бормотал вслух: «Ах, Игнашка Душегубин! Где-то тебя носит, старый черт?»

Но попыток встретиться лично со своим тюремщиком Барракуда не предпринимал. А завершив бракоразводный процесс и получив от Посенкиных жирную сумму, он нанял квартиру с ватерклозетом на Мойке, завел лихача, запретил бывшей жене Лизавете подходить к нему ближе чем на пушечный выстрел и о свадьбе более не вспоминал.

Борис ЕВСЕЕВ

БОЛЬШОЙ ПОТЁМКИН

Рассказ

— Жив, парняга?

— Та живу пока, товаришу майор.

— Идем со мной, потолкуем. А то, ишь, в погреб от меня спрятался. Я тебя, Енчик, уже битый час ищу.

— Та не спрятался я. С дронаводом вашим тут заболтался.

— Ты гляди мне, лишнего не болтай.

— А то я не знаю. Вишь? Даже язык себе прикусил.

Енчик далеко выставил пупырчатый, в ранках язык, поводил им из стороны в сторону, потом попытался дотянуться языком до кончика собственного носа и от досады, что не сумел, даже подпрыгнул на месте.

Майор Дудка — в полосатых штанах, в кепке жеваной, в дутой куртке — засмеялся, погрозил Енчику пальцем.

Енчик еще раз показал майору язык и сразу кинулся наутек, негромко на бегу покрикивая: «Хороша дудка, а не гудит! Хороша девка, а не пляшет...» Потом остановился, развернулся, подбежал к майору, обнял за ногу, уткнулся носом в Дудкин живот.

— Если сахару фруктового не припас — так и знай! Никуда не пойду.

— Как же я тебя, моего золотого, без фруктозы оставлю? И бульбулятор, и сахар, и сироп вишневый на столе. Ждут тебя не дождутся. Еще разок куда надо смотаешься, а там отправим тебя в Старую Збурьевку, а хочешь — в Токаревку. Целую торбу фруктового сахара тебе туда переправлю. Лады? Ну идем, идем, пока птички железные не засекли нас.

Енчик снова отскочил на три шага, спросил полусшепотом:

— Куды теперь?

— Поймай тишину, Енчик, — вмиг построжал и понизил голос Дудка, — на Корабельный мыс сходишь. С Большого на Малый Потемкинский тебя, как в прошлый раз, переправят, а дальше сам. Айда в укрытие, там расскажу...

* * *

11 ноября 2022 года российские войска остров Большой Потемкин покинули. Остров без боя перешел под контроль ВСУ. Но уже 15 декабря Вооруженные силы России заняли остров снова. Как Енчик один, в землянке, без запасов еды, рядом с мертвой, а потом все-таки захороненной чужими людьми матерью, пережил эти тридцать пять дней, ни майору Дудке, ни бывшему археологу, а ныне старлею Иванцову-Покрышкину рассказать он толком не смог.

Борис Евсеев — прозаик, поэт, лауреат и финалист многих литературных премий. Живет в Москве.

После затопления острова водой, хлынувшей из распанаханной Каховской ГЭС Енчик вниз по течению добрался на плоту до Старой Збурьевки. Войска — и русские и украинские — тоже с острова ушли. Ну а когда каховская вода схлынула и Большой Потемкин стал «серой» зоной, Енчик снова вернулся глянуть: чего там с могилой матери? Чтобы потом, как только российские войска займут все острова, перебраться с Большого Потемкина на Малый. На Малом Потемкинском он родился, на Малом и вырос. Правда, в школу начал ходить херсонскую, открытую еще в советские времена на острове Карантинном.

Енчику уже стукнуло двенадцать, а Большой Потемкин все продолжал оставаться «серым». С южной оконечности и до Пудовой протоки на острове господствовали россияне. В северной части острова то появлялись, то снова исчезали разрозненные группы «украдов» — как в сердцах звал вэсэушников Енчик.

Вынужденно ходивший в штатском командир разведывательно-десантной роты майор Дудка приглядел парнишку сразу. Хотя Енчику и стукнуло двенадцать — о чем он сразу по форме майору и доложил, — выглядел он лет на семь, от силы на восемь. Одно слово — малорослик! Но хоть ростом и с первоклашку, а проворный, смелый. Правда, при этом лицо круглое, миловидное, даже, пожалуй, девчоночье. Еще и в веснушках, причем не только на носу, а и по щекам. Вот только в глазах совсем не девчоночья, охотничья хитринка. Добавляли Енчику простоты с наивностью и волосы: пушистые, каштановые, лежащие волной. Жаль, ноги коротковаты. Но и на таких ногах Енчик бегал — не догонишь. А остановившись, выделял руками всякие фокусы: показывал оторванный большой палец, при светодиодной лампе в солдатском укрытии заяц по стене у него прыгал и даже медведь косолапый шевелился. Прodelывая все это, Енчик чуть склонял голову набок и безыскусно улыбался. Мол, вот он я какой: глупехонький да лупоглазый...

Напускная, тонко изображаемая наивность, даже придурковатость Енчика майора поразила и обрадовала: «Ай умница, ай молоток, какую маску измыслил — рожденный разведчик!» Майор долго не решался, даже слегка мучился, а потом однажды в очередной раз подозвал к себе Енчика, придирчиво осмотрел сверху донизу, осторожно положил ему руку на темечко и стал, как куклу, поворачивать малорослика вокруг своей оси.

Енчик понимающе лыбился.

— Тебя бы в пальтишке девчоночьем — да на речку Кошевую. Глянуть, что там и как, с человеком нашим перемолвиться. Ась? Не слышу ответа!

— Ну ты, глухая тетеря, даешь! Я те трансвестит какой, што ли?

— Да ты не обижайся. До зарезу нужно. Лады, лады... Можешь и пацаном сходить.

— Пацаном схожу. Токо не седни. Дела у меня седни.

— А и не надо сегодня. Послезавтра как раз и наведаешься. Ты ж местный, тебя если и признают, подумают — домой вернулся. Скажешь: русские тебя депортировать с Большого Потемкина хотят, вот и пришел присмотреть себе погреб на Корабельном мысу.

Было это месяц назад. С тех пор Енчик переправлялся на чужую территорию три раза. Из них один раз — в Херсон.

Но сейчас Енчику не до походов было. Еще два дня назад заметил: крест на материнной могиле, которую вырыли на небольшом пригорке рядом с погребом, где они вдвоем пальбу пережидали, покосился. Мать это место любила. Сырой погреб ласково землянкой звала. В ночь перед тем, как помереть, чему-то улыбнувшись, проворкотала: «И поет мне в землянке гармонь...» Потом сразу замолчала. Наверно, отца вспомнила. Отец-то баянистом был. Здоровским! А поехал в Херсон за покупками

и пропал. Мать, чтоб Енчика утешить, говорила: сбежал от них отец. Но от людей Енчик слышал: убили отца при облаве. Вроде случайно, а может, и выкрикнул чего. Не любил отец бандеристых...

Приплыв на остров после того, как схлынула вода, Енчик обрадовался: могилу матери потоки каховские не смыли, стояла цела-целехонька, только крест покосился. Крест он тогда поправил. А тот опять покосился. Вот и нужно теперь крест поправить как следует: вбить рядом клинышки, утоптать землю, низ креста обложить обломками кирпичей.

Позаимствовав чью-то саперную лопатку, к могиле Енчик и двинул. Почти у самого пригорка — или как звали его тутешние: у самого пагорба — снова и в который уже раз встретился Енчику старлей-археолог. Он что-то внутри глубокой воронки высматривал, потом распрямился, приветливо махнул рукой, попросил:

— Дай на минуту лопатку, Енчик.

Копнул раз, другой, третий — ничего! Отдал лопатку, присел на бревно.

— Посиди тут со мной чуток, пока тихо. Я здесь рядышком двундель вчера нашел. Монету двухкопеечную времен Александра Первого так зовут. Хочешь, подарю тебе?

— Не. Мне без толку. Не собираю монет я. Говори, шо надо, а то идти мне пора.

— Давно у тебя про птиц хотел спросить: правда, они к тебе, когда позовешь, слетаются?

— Та брешут люди. Хотя и верно: любят меня птицы. Я их и не зову совсем. Сами прилетают.

— А солдатики наши говорят, когда ты тут один от бандер прятался, птицы тебе еду в клювах носили.

— Три раза только и принесли. Один раз ворона в клюве сухарь притаранила. Это брехня, шо вороны злые. Может, они злыми и становятся, когда злочие коты или люди им попадают. А нормальных людей и котов ленивых они не трогают. Потом два раза клёст прилетал. Помолился я. Он и прилетел. Один раз шмат мяса вареного принес. Выкинул я то мясо. Как увидел жир по краю, так и стошнило. Зато другой раз полпряника притаранил. Клюв у клёста знаешь какой? Будь спок! Криво согнутый, чего хошь захватит. Пряник прямо в ладоху мне скинул, крикнул: «Кеп-кеп-кеп» — и улетел.

— Я вчера у тебя в руках обломок ручки кувшинной видел. Ты хоть знаешь, что это за обломок?

— Не-а.

— Ручка от амфоры это. На ней клеймо с надписью должно быть.

— Буквы и правда там есть. Иностранные.

— А нашел где?

— Так рядом с погребом, где прятался.

— Ты, Енчик, пойми: тут места исторические. И погреб твой не просто погреб, а часть старинного городища: метров на сто в длину, метров на пятьдесят в ширину оно простирается. Я тут лет десять назад был, собирал для музея черепки от горшков и разные другие «рарики». А рядом со всем этим костей — немерено. Думаю, здесь и сейчас «домонгол» или «уделы» найти можно.

— «Уделы» — это чего?

— Монеты удельных княжеств, тысячу лет назад существовавших.

— А кости откуль? Кладбище или шо?

— Не кладбище. Тут, по преданию, запорожцы от турок скрывались. И вполне себе удачно скрывались, хоть и много их было. А только всех их спящими перерезали.

— Как так?

— А так. Выдал их кошевой атаман. Думал за это фирман на жительство и поместье турки ему пожалуют, а они его тоже зарезали. Правда, среди тех, кого резали, один живой остался. Он про все и рассказал. Конечно, плакался потом: почему с товарищами не зарезали? Думал отсюда — и прямо в рай. Зарезали-то их в пасхальную ночь.

Енчик оглянулся на погреб, потом встал и, не прощаясь, двинул к могиле. Археолог вскочил, удержал за плечо:

— Ты теперь куда, Еннион?

— Не Еннион, не Еннион! Не дразнись так! Евгенийчик, Енчик я...

— Так ты куда собираешься, Енчик?

— Крест поправить надо.

— Это я понял. Ну а в общем и целом — куда двинешь?

— Не знаю. Может, в Старую Збурьевку, куда с матерью пробирались. Может, в Коханы к деду. Или в Токаревку к дядьке Василию... Там в школу пойду, может. Как думаешь, в четвертый класс меня примут? Или опять в третьем сидеть заставят? Если заставят — снова к майору Дудке свалю. Он мне говорил...

Тут Енчик замолчал, насупил.

Археолог стал рассказывать про раскопки, но Енчик его не слушал. Один только раз переспросил:

— Как оно так вышло, что турки без боя запорожцев перерезали?

— Так и вышло. Кошевой туркам указал, где постов нет. Ну его первым и зарезали. Нигде предателей не жалуют. Тут, конечно, смятение среди запорожцев началось. А дальше — пошло, поехало... Как говорил профессор Немир: «Прямо-таки новая хиосская резня на Большом Потемкине случилась». Правда, остров тогда не Потемкинским, а Галухином звался.

— Наших бы предателёв — как того кошевого. А то шо-то много их развелось.

— Ты-то откуда про предателей знаешь?

— Знаю. Сорока на хвосте принесла. Из-за предателей на месте топчемся. Топчемся и топчемся. И конца-краю этому топтанью нема. Зачем Херсон сдали? Они теперь его взорвут. Я сам слышал, когда возле базара, прикинувшись мертвым, лежал.

— Помалкивал бы ты, Енчик... Лучше про птиц еще расскажи. Любят они тебя, стало быть?

— Любят не любят, а уважают. И от смерти отвлечь хотят.

— Как это отвлечь?

— А так. Я около смерти давно хожу. Привык. Не замечаю ее. Или смеюсь над ней. Это старики и сильно грешные мужики ее боятся. А мне смерть — чего? Я ее в гробу видал.

— Так-таки и видал...

— Видал, видал. Я у нее в лапах побывал. Только кто-то из лап еёных меня выдернул. Кто — до сих пор не пойму. Меня, когда около мертвой мамки на земле валялся, сразу и жизнь, и смерть покинули. Рядом со мной они стояли и надо мной вроде насмехались. А я меж смерти и жизни, как та колода, лежал. Тут слышу вроде щебет птичий, а слова почти человечьи, токо позванивающие, как ложки мамкины на столе. Ложки те и призвякнули: «Ты, Енчик, жизнь и смерть пересилил. Мертвым станешь, а жить все одно будешь».

— Как это — мертвым станешь и жив будешь?

— Кабы знал — не говорил бы с тобой. Жизнь и смерть навсегда с себя, как травинки, стряхнул, на луковку золотую церковную по канату взобрался б и под самым высоким крестом небесным уселся поудобней...

Енчик отвернулся, закурил, потом загасил окурок о подошву, рассмеялся.

— Я это курево пакостное и на дух не выношу. Токо для виду закуриваю, шоб знали: хоть и три вершка от горшка, — а вырасту. Хоть и пробует война надо мной командирствовать, а я ее каждый раз куда подальше посылаю. Сижу себе, покуриваю...

— А все ж таки: тебя в какие места больше тянет?

— Старший командир — не тебе чета, целый подполковник — сказал: «Хватит тебе, Енчик, тут на Большом Потемкинском отираться. Иди учись, потом вернешься». Может, его послушаю, может, нет. Закисну я в школе. Училки будут жалеть, по головке гладить: бе-е-едный, бе-е-едный Енчик, как же ты теперь один будешь? И ведь не гаркнешь на них, не пошлешь по матери. Потому как жалко их, плаксивых. А мне щас токо жалости не хватало... Короче, где замирение — там отстой. А на войне, если смерти не боишься, справно, весело!

— Ты что, Енчик, мелешь? Ей-богу, пороть тебя некому! Тут кругом груды погибших, — а ты про веселье.

— Ты ж археолог. Ну и понимай про свои черепки. А я про схлест веселья и смерти думать буду, пока до конца это дело не просеку. Ну вот спрошу я тебя: откуль веселье смертное берется?... А, да чего с тобой толковать. Мало ты пороху нюхал. И вообще, не приставай! Чего ты меня пытаешь? Я майору Дудке пожалуюсь, он тебе — глаз на противогаз и будет телевизор!.. Ладно, не обижайся. Проехали. Ты лучше скажи: резня эта самая, она на каком острове была? Больше тот остров нашего Потемкина?

— В тыщу раз больше. И называется — остров Хиос.

— А чего так зовется?

— Название острова от имени «Χίος» происходит. Так бог Нептун сына своего называл. В тот день, когда сын родился, много снега на остров выпало. Слово греческое «хиови» в переводе на русский «снег» и означает.

— И у нас седни снег еще затемно на острова летел. Аж вся видимость на пять минут пропала. Весна, а снег на островах. Чудно... А только наш Потемкинский все одно ихнего круче. И назвали остров не в честь какого-то сынка нептунячьего, а в честь военного. Вырасту — сам как Большой Потемкин стану! Майор Дудка сказал: есть лекарство, которое рост увеличивает. На нашу букву, на букву Z начинается. А как дальше — забыл. Попью того лекарства — как Григорий Потемкин стану все кругом наблюдать!

— Так у него ж одного глаза не было.

— Ага! Не было! Был у него глаз. Просто на войне ему немцы этот глаз штыком выкололи... А он им все равно видел.

— Какие немцы? В школу, в школу тебе, Енчик, пора!

Старлей-археолог поднялся.

— Ну ладно, служба у меня.

— Погодь. Одну штукенцию тебе вынесу.

Енчик спустился в погреб, вынес изогнутую кувшинную ручку.

— Ты не гляди, что обломана. Не я ее обломал. И надпись, как ты и говорил, есть. Правда, мелкая. Шо-то у меня зрение садиться стало, — проворчал Енчик и тут же рассмеялся: — Вру, вру! Врать я в последнее время много стал. А как иначе? На войне вранье сильно пригождается. Я и привык враньем забавляться. Во вранье я — как в облаке дыма. Ну, когда костер с дровами сырыми. И сладко мне в дыму том, ох, сладко...

— Тебя из школы, наверно, за вранье и вытурили.

— Не. За правду поперли. Пана Коновальца, ну, оуновца главного, про которого в школе без конца сюсюкали, меринном назвал я. Мне потом училка сказала: хорошо,

что меринком назвал, а не как-то по-другому. А то порешили б сразу. Молодая училка была, высокая, красивая. Жалела меня. Даже не обижалась, когда я ее Абсциссой Федоровной называл. Она в старших классах математику и геометрию вела, а у нас арифметику. Там, в старших классах, ее Абсциссой и прозвали. Вообще-то, она Алиса Федоровна. Жалеть-то она меня жалела, а все одно донесла. Ну меня из школы и поперли. Она мне, правда, напоследок шепнула: «Кабы не донесла, тебя, дурака, уже и на свете не было б! А так директор только из школы попер, а не сообщил куда следует...» Ну, все. Пошел я.

— Потом опять к майору Дудке?

— Не твое дело.

— Доведет он тебя до цугундера.

— Знаю я, шо это за цугундер такой. А только не доведет. Не впервой, выкручусь!

* * *

Ровно в четыре тридцать, еще в рассветной мгле, майор Дудка проводил Енчика до Пудовой протоки и сразу исчез. Над протокой висел мерзлый туман. Ледоход давно прошел, но весна все не начиналась. Март стоял холодный. На вырубки, пустоши и вербы Большого Потемкина нехотя падал снег. «И правильно, что нехотя: все одно завтра растает!»

Енчик выдвинул из-за кустов загодя припрятанную серфинговую доску, чтобы не намочить живот, обмотал ее прихваченной с собой сложенной вчетверо простыней, лег плашмя и в семьдесят четыре гребка руками — гребки посчитал — Пудову протоку пересек. До Корабельного мыса добрался веселый, обсохший.

Только вот прямо перед речкой Кошевой, на Корабельном мысу, все пошло наперекосяк. Первым делом увидел он Абсциссу Федоровну: в укроформе, в длинном, нежно раскрывшемся пальто. Она его тоже увидела, но сделала вид, что знать не знает. Тут, как назло, второгодник Штефанчук, скупой львовянин. Сам бздюхливый, нескладный, а вцепился, как репей.

— Ты, кажуть, до москалив пэрэбиг?

Еле отбилсЯ Енчик от львовянина. Пересидел в заброшенном подвале, а когда народ двинул обедать, встретился с человеком, которого изобразил на бумаге майор Дудка. Изобразил хорошо, выпукло, недаром чертежником раньше работал. Только связной этот, видно, сильно постарел с тех пор, как майор его видел: гнутым стариком оказался. Старик-то старик, а глаза ясные, веселые. Цифры и все другое отшпарил, как пулемет. Енчик цифры запомнил, а на старика удивился: «Ему помирать, а он веселится! Чудно... Или его тоже смерть не берет?»

Пока Енчик про старика, давно затерявшегося меж полуразбитых эллингов и причалов, размышлял — его как раз и зацапали.

— А ну ходь сюды, пацан!

— Та мне мамку кормить надо. Можно я пойду, дяденька?

— Мамку, кажэш? Так вона ж помэрла, твоя мамка. До нэи захотив?

Дальше разговоров не говорили: подхватили Енчика под руки и через речку Кошевую на моторке в Херсон переправили. А там — на Лютеранскую улицу, в подвал, всем известный, подвал пыточный. В подвале особо не били, компоту со сливами дали попить. Правда, потом пальцы на руке прищемили как следует. Енчик не кричал, а радовался: хорошо — левую руку прищемили! Хотя слезы и катились из глаз одна за другой.

Пока выспрашивали, кто и зачем послал, Енчик все гадал: кто его сдал.

— Пан офицер, а пан офицер. Скажите, будь ласка, кто меня сдал? Абсцисса Федоровна?

— Знаем мы твою Абсциссу, — засмеялся офицер, — тоже у нас на карандаше, — перешел он на русский, — а только не она сдала. У нас контрразведка — будь здоров! И россиян у нас много. Они все ваши повадки знают. Так что не плачь, пацан! Поможешь нам — и мы тебе вырасти поможем. Растянем тебя на спецрастяжке для увеличения роста. Тогда ты эту Абсциссу Федоровну в два счета обработаешь!..

— Ну и шо з ным робыць? — одергивая штатский пиджачок, едва не лопавшийся на могучих плечах, спросил через день у офицера тот, который щемил руку, — Мовчить, як камьяна баба.

— «Шо, шо!» — Офицер опять рассмеялся. — Мы ж люди одной веры, значит, наш общий Бог ему и должен помочь. Если не шпигун наш Евгеша — обязательно поможет. Так что оправишь ты его, пан Йожеф, в Старую Збурьевку. У тебя ж там, Евгеша, родичи? Так или нет?

Офицер потрогал себя за мочку уха, потом подошел к невесте как оказавшемуся в подвале зеркалу, бережно приложил руку к жестким, нерассыпающимся кудряшкам.

Пока офицер перед зеркалом своей новенькой формой любовался, Енчик сам у себя поинтересовался про Старую Збурьевку: «Как же они туда отправят? Может, поменяют на кого?»

Бросив любоваться, офицер повернулся к Енчику:

— Знаю, знаю, лайдак, про что ты подумал. Только Збурьевская исправительная колония номер семь... — он снова, как укуранный, захохотал, — она теперь, как говорится, вне нашей юрисдикции. А отправим мы тебя, — здесь офицер вроде запечалился, а потом опять развеселился и даже, как резвый барашек, помотал из стороны в сторону головой, — а отправим мы тебя по воде! Но только не на кораблике, а... а в домовине! Дуй, пан Йожеф, в ритуальный комплекс номер два. Домовинку там закажи и крест невеличкий пусть из двух трубок сварят. Для дыхания. Скажешь, я приказал. Оно б, конечно, надо и моторчик к домовине приделать. Ай, ладно! И так сойдет. У тебя какой рост, Евгеша? Молчишь? Так я и сам знаю. Рост у тебя — сто тридцать три сэмэ...

— Сто тридцать восемь!

— Ну сто тридцать восемь... Ты ще здесь, пан Йожеф? А ну дуй веселей! Чтоб завтра мне справная домовинка была готова.

— Труну йому, чи шо, заказаты?

— Труну, домовину, гроб с музыкой! Вали отсюда быстрее, дай мне с подследственным на прощание по душам побалакать! Понять хочу: жульман он или шпик?.. Ты рост его запомнил?

— Ну.

— Так и вали. Только шматок сала купи. И четверть паляницы. С собой на дорожку ему дадим!

* * *

Плещется вода. Позванивает воздухом полый крест. Голова — вбок. Голова — задрана. Подбородок — кверху. Подбородок — книзу. Пальцы — растопыркой. Пальцы — в кулак собраны. В домовине не так чтоб и темно. А все потому, что — глаза у Енчика горят! Не кошачьи, а светятся. Из-за горящих глаз кой-чего в домовине рассмотреть и можно.

Ноги. Руки. Сало. Паляница.

Сало в рот не лезет. А паляницу разок-другой куснул-таки. Начал молитву. Молитва вверх упорхнула. Мысль — кольнула, мысль — онемела... Вдруг, как отцова электробритва, задребезжал коптер. Дребезжание то прерывалось, то усиливалось: ближе, ближе. «Догоняет, с...!» Но коптер вдруг стал отдаляться: судя по звуку, заложил петлю, потом совсем пропал.

Енчик плыл вниз по Днепру и дрожал. Не от холода, нет! Пронзала его и даже вроде прибавляла плывущей домовине скорости рвущая пополам радость встречи! Представлялось: завтра или послезавтра, когда ноги совсем окоченеют, а глаза погаснут, станут стеклянными, встретится он с отцом и с мамкой, без которых ему вдруг что-то стрёмно жить стало.

Виделось ясно: садятся они втроем за прозрачный небесный стол. Отец выпивает чарку, за ней другую. Мать подносит отцу соленый огурчик, а он, Енчик, опережая отца, — хоп! — и на лету кончик огурца откусывает. Ну, батяня отвешивает ему, конечно, звонкий подзатыльник, потом машет рукой, смеется, снимает огурец с вилки и отдает весь, целиком, ему, Енчику. Огурец хрустит, рассол на подбородок каплет, Енчик рассол ладошкой подхватывает, в рот отправляет: веселится!

Тут небеса слегка встряхивает взрывной волной, отец, пугаясь, что горилка расплещется, с ходу пьет третью чарку и начинает петь. При этом ангел, висящий чуть сбоку от стола, на мерехтящих стрекозых крылышках, сперва хмурится, а затем безо всяких слов, одной лишь своей хмуростью требует песню прекратить. Правда, потом, заслушавшись и незаметно глотая слезу за слезой — чтоб никто его печали не видел, — протяжно вздыхает.

Бежит речка по песочечку,
Бережочек моет,
Молодой жульман, ды молодой жульман
Начальничка просит...

Здесь небеса встряхивает сильнее. А может, просто рядом с домовиной беспилотный катер ракетой грохнули.

«Русский катер или украдовский?» — прикидывает про себя Енчик. Но сразу же возвращается на небеса, за прозрачный стол, к отцу, к матери... Ангел при этом недовольно морщит нос, и Енчик с радостью замечает: на носу и на щеках у ангела такие же, как и у него, у Енчика, конопухи!

Внезапно тряска небесная кончается, отец берет стоящий под столом, легонький, как пушинка, и тоже прозрачный баян, мать от радости хлопает в ладоши, сам Енчик выпивает подряд три стакана газводы «Тархун», а отец продолжает петь дальше:

Ой, начальник ты, начальникек,
Отпусти до дому!
Видно, скурвилась, видно, ссучилась
Милая зазноба!

Здесь ангел конопущечный не выдерживает, фыркает и проливает прямо на стол небесный всю оставшуюся горилку. Мол, хватит пить, гражданин Усков!.. А мать, та наоборот, песню поддерживает, батяню в щетину чмокает, потому как чувствует: отцу и трех чарок хватило, и он, радуясь прозрачному столу и просторному небу, сейчас запоет дальше.

И батяня поет:

Гроб везут, колеса тук-тук-тук,
Конь головку клонит,
Молодая ды та девчоночка
Жульмана хоронит...

Ангел конопушечный улетел. Стол, как льдинка, прозрачный, истаял. Мысли потиху-помалу свернулись в трубочку, потом пропали. Только и увиделось напоследок: огромный военный, в десять раз выше человеческого роста, в старинном зеленом мундире, в меховом треухе с пришитой навкося к треуху матерчатой красносиней звездой и в болотных сапогах, доходящих до самых пахов, щелчком выбивает из камышей застрявшую в них новенькую домовину с полым крестом, тюкает по ней, забавляясь, средним пальцем, потом подхватывает домовинку мизинцем и переставляет на стремнину. А в мерзлых камышах ерепенится и скрежещет зубами его, Енчикова смерть, костистая, как рыба ерш...

Смерть скрежетала, а старинный военный, тот, наоборот, посмеивался и над ней, и над Енчиком. При этом один глаз его — не затянутый повязкой, жутковатый, насквозь пустой — грозно темнел. Зато другой, до невозможности голубой, сперва хитро щурился, а затем ярким прожектором высвечивал все, что над вечерней рекой творилось. Установив как следует труну на стремнине, военный сполоснул руки, поправил собственные светло-русые, выбившиеся из-под треуха волосы и, обернувшись назад, зычно выдохнул:

— П-ф-ф-ф! П-ф-ф-ф! Ты только представь, матушка, до чего дошло! Духу воинского совсем не стало. Одни циферки по воздуху летают! Ну, распердяй безмозглые, ну, вояки статские... Схожу-ка я, матушка, в казармы, нагоню сюды, на острова, солдатского духу! Да кляпов побольше для ртов говорливых припасу! А то губами шлепают, а дела нема... Большой Потемкин, Большой Потемкин... Как бы они, дуrolомы, меня ни называли, а больше моего покуда не сделали. Я тут доски для каждого корабля на своих плечах таскал. Чуму из людского нутра изгонял чесноком. А они... Отойду-ка я, матушка, хотя б кислой капустки поем, туды-растуды их всех в дышло! — ругнулся напоследок военный и, в один шаг переступив Пудову протоку, пошел себе не спеша на север.

Вынули Енчика из гроба еще живого. Правда, не в Старой Збурьевке. После шестидневного путешествия по водам прибило его к Голой Пристани. Там в больнице два пальца, загнивших от просочившейся воды, оттяпали: на одной — мизинец, на другой — большой. «И не больно совсем!» Затем обкололи, оттерли, гнилую воду из организма — как, хмурясь, сказал доктор — выкачали. И побежал после больницы Енчик, чуть шкандыбая, по краешку своей жизни дальше. Но сперва, конечно, к родичам в Старую Збурьевку завернул.

Там на бабкиной печи-лежанке валяясь, все, что с ним было, припоминал и, на невидимом баяне себе аккомпанируя, про свою жизнь напевал тихонько. Правда, пелось ему не про Корабельный мыс, не про подвал на улице Лютеранский, не про барашкового офицера, не про Абсциссу нежную, даже не про материну могилу. Вспомни-

нался ему в словах песенных снег на островах, мерзлый туман над Пудовой протокой и старинный военный, обводивший местность одиноко горящим, пронзающим глазом...

* * *

Журливый археолог Иванцов-Покрышкин испросил отпуск и прошерстил сперва всю Старую Збурьевку, а потом и Голую Пристань. Отплывая с Большого Потемкина, он чуть не подрался с майором Дудкой. Но глуховатый майор на археолога не обиделся. Сказал чуть громче, чем надо: по его сведениям, Енчик жив, просто затихарился на время. А насчет того, что посылал Енчика на чужую территорию, объяснил:

— Так он же и без нас диверсии готовил. Здесь, конечно, место «серое», нейтральное. Но если б не мы — убили б его с такой подготовкой к ядрени-фени. Не может он жить, не воюя со смертью. Все время старается смерть по-своему победить. А иногда ему просто поиграть со смертью хочется. Только не знает, дурачок: на войне бес-смертных нету! Потому как на войне все уже мертвые: кто телом умер, кто душой.

— Сам ты, Дудка, мертвый... Ладно, не серчай, что в скулу заехал. Живи. Вернись — выпьем. Или за здоровье Енчика, или помянем его.

Не найдя следов Енчика ни в Токаревке, ни в Коханах, археолог-старлей опять поехал в Старую Збурьевку. Снова пошел к бабке Енчика, сказал, что хочет усыновить мальчика, чтобы вместе с ним на смерть плевать с высокой башни. А еще — чтоб оторвать Енчика от опасных игр со смертью.

— Так рази ж его оторвешь? Когда из труны, ну, по-вашему, из домовины его вынули, он даже на ноги встать не мог. Я знаю, в больницу к нему ездила. А потом как ужаленный вскочил и, хоть пальцы ему сгнившие пообрезали, опять в какие-то места подался. А куда — не сказал.

Старлей-археолог встал и, забыв попрощаться, вышел.

Смертельная неясность томила его. Если веселившийся рядом со смертью Енчик погиб — это одно. Если он опять из всех передрыг выскочил, значит, горит в нем светлячок бессмертия. «А во мне самом? Горит светляк этот? Нет?..»

От опасной неизвестности старлей закрыл глаза. Тут враз ему и показалось: шлепает Енчик по Днепру босыми ступнями! То по пояс заглубляется, а то вообще над водой, как по невидимому канату, к нему, старлею, подступает ближе, ближе! На плече птица клёст, в руках обрез прадедовский, за пояс пилоточка армейская заткнута и волосы, каштановые, мягкие на темечке, шевелятся...

Случайный снаряд, выпущенный со стороны Херсона по Старой Збурьевке, мелко рубленной, стальной своей начинкой превратил мысли археолога в решето. Но и отплывая из жизни, слышал он голос Енчика, оседлавшего их любимое бревнышко на Большом Потемкинском острове и опять поплеывающего то на ладохи, то на саму смерть:

— Ты чего это удумал, старлей? Вставай! Давай, так и быть, свой двундель! А потом двинем с тобой к бабке Насте: покормит она вкусно...

Евгений ЭРАСТОВ

* * *

То, как ящерка, время бежит,
То ползет по-улиточьи тихо.
Что за куст у забора дрожит?
Облепила забор облепиха.

Удивительно все же просты,
Незатейливы девичьи вкусы —
Серебристые эти листы,
Желтых ягод браслеты и бусы.

А когда золотая заря
На верхушке куста полыхает,
Проступает Музей янтаря —
Так, что сам Кёнигсберг отдыхает.

Нас учила посконная жизнь,
Всех, вкусивших хоть капельку лиха —
От начальства подальше держись —
Проживешь, как твоя облепиха.

Ей-то что! Ведь жила при князьях,
На советский не злась муравейник.
Был пырей да цикорий в друзьях,
А в подписчиках — серый репейник.

Как нам хрупкая жизнь дорога!
Даже если по пояс снега
Или спать не дает лихорадка.
Потому-то и в дождь, и в жару
Все дрожит на бесхозном ветру
Серебристая нежная прядка.

Евгений Ростиславович Эрастов родился в 1963 году. Окончил Горьковский медицинский институт и Литературный институт им. А. М. Горького. Доктор медицинских наук. Публиковался в журналах «Волга», «Москва», «Дружба народов», «Звезда», «Наш современник», «Новый мир», «Сибирские огни», «Подъем», «Юность» и др. Автор шести поэтических и четырех прозаических книг. Живет в Нижнем Новгороде.

* * *

В чуткий час, когда замолкнут птицы,
Но в саду по-прежнему тепло,
В окна бьются бабочки-ночницы,
Бьются головами о стекло.

Как ты непонятно, мирозданье!
Кто нам может точный дать ответ,
Почему мучнистые создання
Все летят, летят на яркий свет?

Может, электрического тока
Притяжение тайное жестоко?
Или света гибельны лучи?
Может быть, им слишком одиноко
В русской опредмеченной ночи?

Может, их просторные рубахи
Не вмещают жуткой тишины?
Мучают безудержные страхи
Под магнитным оловом луны?

Однодневки жалкие не знают,
Что к холодной осени растают,
Не узнав про русские снега.
Что ж они так головы теряют?
Или просто жизнь не дорога?

Пляшут их веселые сестрицы —
Бражники, капустницы, репницы —
В византийский полдень на лугу.
Все не могут жизнью насладиться.
Ну а я постигнуть не могу —

Почему в июне и в июле,
Бросив комариные рои,
Словно зажигательные пули,
Бьются в стекла смертницы мои.

* * *

Вот если бы вторую жизнь прожить
Вот здесь, за этим сонным полустанком!
Репницей мягкокрылой прокружить
По разноцветным войлочным полянкам!

Ужом желтоворотым в закуток
Скорей вползти, чтобы брюшком — в болото,
И кислорода свежего глоток
Вдруг ощутить, как вздох перед полетом.

Вторая жизнь была бы хороша,
Когда бы в ней ни боли и ни дрожи,
Когда б всегда светла была душа,
Когда б она, сверкая и шурша,
На первую была бы не похожа.

А если вновь велят ходить в строю
Под кваканье нечищеного горна,
Писать в стихах, что ты живешь в раю,
Чтоб получить за это горсть попкорна?

И, как пластинка, тупо повторять,
Что дважды два, конечно, будет пять,
Годами лицезреть врата Аида,
Перед скотом навтыяжку стоять
И надевать намордник от ковида?

Опять среди тотального вранья
Прожить всю жизнь, мечтая о наркозе?
Нет, не хочу!.. Но вспомню муравья,
Ползущего по сломанной березе...

* * *

Осенний день пугал дождливой мглой,
И небосвод от горя накренился.
Навстречу мне таджик с бензопилой
И с четырьмя канистрами тащился.

И вспомнил я Некрасова. Ему
Запомнился б не лес, не ежевика,
Стихи бы посвящались одному —
Печальной доле бедного таджика.

Гремел за рощей обветшалый гром,
И ветер гладил хилые вершины.
Я только дачник, вылезший с ведром
Из наспех припаркованной машины.

«Ты, дяденька, скажи — работа нет?» —
Спросил таджик. Не знаю сам, мой свет,
Какую предложить тебе работу.

Вся жизнь моя — подобье чепухи.
Блуждание по лесу да стихи
Про шум травы, скрипение ольхи
Да облаков закатных позолоту.

Здесь точит баба косу — бжиг да бжиг,
Здесь пьяный неотесанный мужик
О собственном мечтает самолете,
И для деревни нашей твой таджик
Стал органичной утки на болоте.

Мы — разные. Кто совесть за вино
Продаст, кто украинское зерно
Засыпать хочет в полые карманы.
Но смотрят звезды вечные на нас,
А в это время в сумеречный час
По полю бродят Ваньки да Равшаны.

И я уже нисколько не боюсь,
Что в сумеречной дымке растворюсь —
Жизнь не была обманом и ошибкой.
Ведь я давно на «ты» с осенней мглой,
А рядом лес, родимый перегной
Да этот вот таджик с бензопилой
С фальшивой виноватою улыбкой...

* * *

Нет, вечной не надо — устанешь смотреть
На Божьего мира дары и щедроты,
На белые лилии — те, что на треть
Заполнили нынче родное болото.

От плюшевых мишек родного угла
До веток слепой слабогрудой китайки,
Скажу без утайки — ты яркой была,
Была вдохновенной — скажу без утайки.

Мы видели сполохи первой грозы,
Москву мы видали, видали Париж мы,
Мы видели крылья стальной стрекозы,
Застывшей на желтых лепешечках пижмы.

И вишню видали, что зреет в тиши,
Видали на круче терновник колючий,
Слышали, как тихо шуршат камыши,
Совсем не страшась пустоты неминуей.

Теперь мы уже на другом вираже
И заспанной мухи не в силах обидеть,
Но все же так грустно, что скоро уже
Терновник разросшийся нам не увидеть.

А там — пустота, нескончаемый мрак,
Пора разложенья, гниенья эпоха.
...А может быть, все это вовсе не так?
Быть может, и вечная — тоже неплохо?

* * *

Не бежит, как раньше, дрожь по коже,
И уже понять не в силах я —
Неужели больше не тревожит
Подростковый страх небытия?

Снова вижу голубой цикорий
И большие пышные стога,
И картина русских плоскогорий
Мне, как в детстве, снова дорога.

Дороги кувшинка на болоте,
Лягушонка выпученный глаз,
Небо в предзакатной позолоте.
...Почему же на привычной ноте
Ты свой стих не кончишь в этот раз?

Потому что время исчезает
И летит в беззубый кавардак,
Потому что время уползает
Из стеклянной колбочки во мрак.

И безумный лет слепых песчинок
Не прервать умелою рукой.
...Вот и кончен с жизнью поединок.
Пустота. Забвение. Покой.

Леонид БЕЖИН

ДОЖДЛИВАЯ АЛЛЕЯ,

или Десять донесений Департаменту полиции
о композиторе Скрябине, строительстве храма
в Индии и мистерии на конец времени

Роман*

Параграф третий

У АЛТАРЯ ВСТАНЕТ ДЖИДДУ (МОЙ РАЗГОВОР С АННИ БЕЗАНТ)

Мадам Безант со свойственными ей интуитивными прозрениями и способностью улавливать витающие в воздухе флюиды не могла не почувствовать, что я о чем-то догадываюсь, и решила со мной поговорить.

Поговорить, во-первых, для того, чтобы до конца выяснить степень моей осведомленности, потому что одно дело всякие там догадки, а другое — наличие козырей в руках, которые могут побить любую карту. Иными словами, знание конкретных фактов, свидетельствующих о правильности самых смелых догадок. А таких фактов немало. И их нельзя затушевать, стереть и уничтожить, как преступнику не удается замести следы преступления.

Впрочем, сравнение крайне неудачное, поскольку... ну, какая же она преступница! Анни Безант — несчастная жертва своих же материнских инстинктов и стремлений, своей же доброты, любви к ближнему и — не в последнюю очередь — чувства справедливости. Да, этого у нее не отнимешь. Она всегда — с самого детства, проведенного в Клэпхэме (живописный район юго-западного Лондона, дома с террасами викторианского и георгианского стиля), — выступает за справедливость. Защищает слабых и обиженных. Но окружающие подчас могут этого не понять и перетолковать (перетолковать, как тетеревы) по-своему.

И тогда ей, самой слабой и незащищенной из всех, не уберечься от всякой напраслины, ложных обвинений и тому подобного. Поэтому нужно в зародыше пресечь любую ложную молву и не позволить ей распространиться. Для этого же прежде всего

Леонид Евгеньевич Бежин родился в 1949 году в Москве. Окончил Институт стран Азии и Африки при МГУ. Защитил диссертацию по классической китайской поэзии. Ректор Института журналистики и литературного творчества. Автор романов «Сад Иосифа», «Мох», «Деревня Хэ», «Костюм Адама», «Тайное общество любителей плохой погоды», а также книг о Данииле Андрееве, старце Федоре Кузьмиче, Серафиме Саровском и др. Был ведущим телепередачи «Книжный двор» и радиопередачи «Восток и Запад». Вел ряд журнальных проектов. Лауреат премии имени М. А. Шолохова (1990), Бунинской премии (2015). Член Союза писателей России.

* Окончание. Начало: Нева. 2025. № 5—7.

нужна разведка. Имеющий собственный план действий должен иметь как можно более точное представление о планах противника, иначе планы столкнутся, как встречные поезда, и передние вагоны расшибутся — сплющатся — всмятку.

Это сравнение кажется мне более-менее удачным, поскольку уже куплены билеты на поезд, чтобы ехать туда... на север, к водам священного Ганга, где будет возводиться Храм. Дорога трудная и опасная. Предстоят пересадки, долгие ожидания на вокзалах, ночевки в провинциальных гостиницах. И дай бог, чтобы в дороге не случилось никаких столкновений.

Поэтому накануне отъезда и состоялся меж нами внешне непринужденный, но при этом весьма знаменательный разговор (мадам Безант была бы не прочь превратить его в сговор).

— Что это вы пишете? — спросила хозяйка Адьяра, неслышно войдя в мою комнату (перед этим она постучалась, но намеренно тихо — так, чтобы я не услышал).

Я сидел за столом перед открытой тетрадью. Она встала у меня за спиной и положила мне на плечи руки тем недоверчивым и опасливым жестом, который позволяет их быстро отнять.

— Так, всякую всячину... — я невольно заслонил тетрадь ладонью, — описываю вид из окна.

— В детстве у нас был прекрасный вид из нашего викторианского окна, и я любила описывать его или рисовать акварельными красками.

— Полагаю, что в Адьяре виды не хуже.

— В таком случае опишите наш сад, ведущую к реке аллею тропических пальм и маленьких обезьянок, прыгающих по веткам. По ночам они так смешно ловят в воде отражение луны.

— Уже описал.

— По-русски?

— Русским я владею лучше, чем другими языками. Однако вы на что-то намекаете этими обезьянками? — Я обернулся к ней, и она быстро отняла руки от моих плеч.

— Лишь на тщетность тех или иных наших усилий. И вообще на тщету земного существования.

— Второе слишком обще, зато первое весьма конкретно и поучительно. Я это учту, чтобы не тратить зря мои усилия, а придать им большую целенаправленность.

— Однако вы загадочный человек, — произнесла она так, как произносят фразы, заготовленные заранее.

Я встал, как и полагалось при разговоре с дамой, но затем предложил ей кресло и сам снова сел, словно подобный обмен любезностями располагал к удобным позам.

— Люблю такие разговоры. Что же во мне загадочного?

— Вы ни во что не вмешиваетесь, больше других молчите, однако зорко следите за всем. Все движется благодаря вам, словно заведенная вами игрушка. От вашего внимания не ускользает ни одна подробность, ни одна мелочь.

— Например?

— Например, вы заметили, что я покровительствую Джидду Кришнамурти. — Анни Безант с неким опозданием, но все-таки принужденно опустила в предложенное ей кресло.

— Право, это нетрудно заметить, поскольку вы этого и не скрываете.

— Разве? В таком случае это оплошность с моей стороны. Но зато я скрываю другое, что, однако, тоже для вас не тайна.

— Значит, плохо скрываете.

— Очень мило. Вы поймали меня на слове. Женщин нельзя ловить на слове. — Анни Безант отодвинула свое кресло подальше от моего, словно так она меньше чувствовала себя пойманной.

Я тоже слегка отодвинул свое кресло.

— Как поймал, так могу и отпустить.

— Да, будьте любезны. Отпустите. Дайте мне свободу. — Она достала из расшитого цветами рукава сложенный маленький веер, развернула его и стала им обмахиваться, как будто отсутствие свободы сказывалось на том, что ей не хватало воздуха.

— Я стесняю вашу свободу?

— В какой-то мере, мой друг. Не примите это за упрек, но невольно приходится вас опасаться, хотя мне этого совсем не хочется.

Мне показалось, что пора от скользких намеков переходить к прямому разговору.

— Чем же я для вас опасен?

— Откровенно? — Она придвинула ко мне свое кресло. — Вы догадываетесь о планах, связанных с моим воспитанником Джидду, а это не позволено никому.

— Не позволено просто догадываться?

— Если бы все было так просто, я бы смирилась, поверьте. В конце концов, каждый проницательный человек имеет право. Но вы не просто догадываетесь. Вы пытаетесь воспрепятствовать моим планам. Я это заметила по некоторым деталям вашего поведения. Вы отказываетесь посвящать Джидду в ваши дела. Скрыбин под разными предлогами утаивает от него музыку к Мистерии, хотя Джидду жаждет ее услышать. Вы даже проект Храма ему не показали, как и мне, между прочим.

— Воспрепятствовать вашим планам? Возможно, но только в той мере, в какой они связаны со Скрыбиным и его Мистерией...

— Они не могут быть не связаны, поскольку Мистерия — наше общее дело, во многом схожее с общим делом философа Федорова, воскресением мертвых. Я не такая уж глупая и кое-что у него читала. Ведь вы не случайно оказались в Адьяре. Вас ведут сюда высшие силы. А Адьяр — это Индия. Ведь и самому Скрыбину не чужда мысль, что Мистерия — это не только Запад, но и в еще большей мере Восток.

— Сейчас вы скажете, что Восток — это Махатмы, а Махатмы — это Кришнамурти.

— Скажу и при этом добавлю, что Скрыбин, конечно же, человек новой расы, но все же он не Махатма.

— Как знать, как знать...

— Махатмы не сочиняют музыку, не рассуждают об экстазах и безумии и не вещают, что последний день Мистерии человечество встретит вакхическим танцем.

— Ну, почему же? А танец Шивы, разрушающий мир? А танцы дервишей?

— Не будем сейчас об этом. Раз у нас пошел прямой разговор, то я и скажу вам прямо и без обиняков: ус-ту-пи-те! Уступите право возглавить Мистерию Кришнамурти. Пусть за Скрыбиным останется, так сказать, музыкальная часть, а во всем прочем он умалится перед Кришнамурти, как Предтеча умалился перед Христом. Пусть у алтаря встанет Джидду как верховный жрец, мистагог и теург. — Анни Безант высказала слишком много и в то же время так мало, что готова была усомниться и разочароваться в сказанном. Поэтому она удрученно добавила: — Сразу мне не отвечайте. Подумайте. И мы еще вернемся к этому разговору. Я ведь не все вам сказала...

— Боюсь, вы — разумеется, из самых добрых чувств и намерений — все же предлагаете мне некий сговор. — Я выбрал самую мягкую форму отказа и еще более смягчил его улыбкой.

— А вы не бойтесь. Как это ни покажется кому-то смешным, умалиться — значит возвыситься, — сказала мадам Безант и при этом даже не улыбнулась.

Параграф четвертый ПРОСЛАВЛЕННЫЙ МАЛХ

«Итак, следующим утром, ближе к жаркому полудню, когда все раскаляется добела под южным солнцем и само это солнце кажется матово-белым, поскольку затянута пеленой облаков, тонких и прозрачных, как папиросная бумага...» Эту фразу я начал записывать, не дожидаясь, когда она полностью сложится в уме. У меня такое правило: начинать, не дожидаясь, потому что пока записываешь первую половину, вторая половина сложится сама собой.

Но на этот раз не сложилась. Фраза застопорилась, потому что я хотел продолжить так (вернее, сквозь магический кристалл различал такое продолжение): «Следующим утром наша причудливая, разношерстная компания, наш маленький народец или, если угодно, пестрый сброд самой разнообразной публики отправился с юга на север Индии, чтобы возводить второй Тадж-Махал — Храм будущей Мистерии».

Хотел и тотчас остановил себя: нет, не годится. Поворачивай дышло! Ведь мы — соль земли, первенцы, пионеры, наделенные особой миссией, призванные к осуществлению дерзновенного замысла, но при этом (тут я был вынужден сделать шагок назад)... мы — маленький народец, разношерстная компания, пестрый сброд экзотичной публики, состоящий из семи человек с их несходными пристрастиями, причудливыми замыслами и бредовыми фантазиями: Скрябин, Наталья Секерина, Генри Вуд, Анни Безант, Джидду Кришнамурти, Киплинг и я — всего семеро.

Хотя можно было бы прибавить к нам Татьяну Федоровну Шлецер, которая возжелала всех опередить и поэтому снарядилась в дорогу чуть раньше (утром ее уже не было в гостинице). Таким образом, нас уже восемь. Но среди нас незримо присутствует и девятый — вездесущий граф Арбенин: как же без него!

Граф то явится садовником с поливным шлангом в руке, то обрядится почтальоном, то не побрезгует обернуться рикшей и подкатит к крыльцу двухколесную повозку с предложением прокатиться. Словом, един во множестве лиц, хотя... может быть, все это мои бредовые фантазии. От жары чего только не померещится!

А если учесть, что за нами увязались еще три теософствующие дамы из числа посетительниц Адьяра, то получится, что в целом нас двенадцать. Премиленькое число!

При этом каждый верен своим пристрастиям, преследует свои замыслы, носится со своими фантазиями, норовит опередить другого. Попросту говоря, каждый тянет скатерть на себя.

Киплинг озабочен поисками тайного оружия, которое могло бы умножить военную мощь Англии, и старается выведать, где (в каком подземелье) оно хранится. Анни Безант занята тем, что всячески прочит — проталкивает — на место Скрябина своего любимца Кришнамурти и готовит почву для того, чтобы он возглавил Мистерию. Генри Вуд упоен тем, что мнит себя гением и первым архитектором вселенной. Татьяна Федоровна ревнует к Наталье Секериной, болеет за собственных детей и мечтает принести себя в жертву великой мечте. Граф Арбенин следит за всеми, и прежде всего за Скрябиным, и выжидает некий решающий момент. Я регулярно, с пунктуальностью английского клерка хожу на почту и отсылаю свои донесения в Петербург. Теософствующие дамы наводят на всех свои лорнеты и произносят: «Ах!»

И это соль земли, первенцы, пионеры, апостолы нового века? Нет, — восклицаю я, — от такой соли вся земля вскисла бы и заплесневела! И все-таки... все-таки мы апостолы (их ведь тоже было двенадцать). Апостолы — хотя бы потому, что Петр,

вступившись за Иисуса в Гефсиманском саду, отсек ухо рабу первосвященника Малху, а затем трижды предал Учителя до того, как прокричал петух.

Я тут не случайно вспомнил петуха. Когда Скрыбин восторженно и увлеченно рассказывал Римскому-Корсакову о своей «симфонии ароматов», о том, что «диссонанс» запахов разрешается в благоухание так же, как это происходит со звуками, того распирало от желания состричь, поддеть, царапнуть, и он спросил: «А запах жареного гуся у вас в „симфонии ароматов“ будет?»

Любил он жареного гуся, обложенного яблоками, с хрустящей корочкой, политый вытопившимся жиром и соком. Что тут поделаешь — любил!

Однако Скрыбина это не смутило. Он сразу нашелся и ответил: «А чем он хуже крика петуха в вашей опере?»

Ответил, напомнив насмешнику Римскому, что у него в «Золотом петушке» дерет горло царский советчик — петух.

Собственно, Римский своим непониманием Скрыбина тоже не раз предавал его — вот тут и задуматься бы о том, что петушьи крики словно бы призваны возвещать предательство, а апостол Петр, отсекая мечом злосчастное ухо, прославил жалкого, ничтожного, никому не известного Малха на все века.

Параграф пятый

КАРИНА СТРОИТЕЛЬСТВА ХРАМА — ПРЕКРАСНАЯ И УЖАСНАЯ

Когда место для строительства Храма уже было расчищено и обнесено высокой изгородью из стволов бамбука, когда срубили длинными топорами ненужные деревья, выкорчевали пни с волокнистыми молочно-белыми корнями, похожими на щупальца осьминогов, забили в землю колышки и протянули веревку, размечавшую площадку под фундамент, из карьеров поблизости деревни Раджастхан стали завозить мрамор.

Это была прекрасная картина: белый мрамор, сиявший под солнцем своими сколами и распилами! Это была ужасная картина! И она казалась бы еще ужаснее, если бы не была столь привычной для этих мест, где в карьерах издавна, как муравьи, копошились полуголые рабы, изнывали от жажды, стонали от увечий, но при этом упорно добывали мрамор для царских дворцов и храмов.

Глыбы белого мрамора тащили на упряжках буйволов. И те едва справлялись, хрипели, с губ стекала пена, наливались кровью глаза, и им не хватало сил даже отогнать хвостом кружащихся оводов — не хватало, поскольку в Раджастхане мрамор особенно тяжелый, самые толстые веревки лопаются, днища повозок часто проламываются, и буйволы обессиленно ложатся на землю.

Та же картина была и у нас. Нанятые нами погонщики безжалостно хлестали буйволов бичами, и те, вздымая морды от отчаяния, мычали в небо, словно умоляя его о помощи. Рабочие с помощью специальных приспособлений — кранов и блоков — сгружали глыбы. Инженеры с чертежами на пальмовых листьях (бумагу они не признавали) важно расхаживали вокруг, собирались кружком, о чем-то совещались, что-то уточняли, поправляли, давали указания и поминутно бегали к нам, убеждая, что надо повысить смету, поднять расценки, внести новые статьи расходов.

Скрыбин по своей наивности всему этому верил, беспомощно и умоляюще смотрел на меня, ожидая, что я тотчас выложу деньги. И мне приходилось озабоченно хмуриться, похлопывать себя по карманам, даже выворачивать их и притворно сетовать, что отложенные для уплаты деньги бесследно провалились в одну из прорех.

И надо всем этим горделиво и надменно царил, словно орел, распластавший в воздухе крылья, демиург — Генри Вуд. Он восседал на особой вышке, под пальмовым навесом, и с высоты своего величия наблюдал за строительством. Вернее, за жалкой возней и копошением внизу.

Генри никого к себе наверх не допускал, всех останавливал раздобытым где-то бутафорским револьвером. Разве что к нему на вышку изредка поднималась по шаткой лесенке Наталья Секерина — приносила пиалу с зеленым чаем, коробку гавайских сигар или китайский шелковый веер.

На Генри Вуда все взирали с подобострастием как на героя «Махабхараты» («Махабхарата» нам еще аукнется), посланца небес, искусного возницу, управлявшего колесницей самого (Самого!) божественного Кришны. Кришна же... о, Кришна! Хари Кришна!.. Великий Кришна был способен одним мановением руки — или даже кончика мизинца поднять — взметнуть в вышину не то что глыбу мрамора, а целую скалу!

И все-таки строительство двигалось медленно, а тут еще обрушились водопадом тропические ливни, воды поднявшегося священного Ганга стали заливать берега, и стройка замерла. Все рабочие попрятались по укрытиям — курить чарас, смешанный с табаком, и резаться в карты. Тогда-то и вспомнили «Махабхарату», священную поэму Древней Индии, — книгу размером с целую библиотеку.

Впрочем, о ней помнили всегда. К ней обращались в самых важных случаях, и печальных и торжественных.

И вот Джидду Кришнамурти, собрав нас в возведенном на бамбуковых сваях утлом домике рядом со стройкой, где мы поселились, произнес:

— Нужно вызвать чтецов из деревни, чтобы они постоянно, день и ночь, читали божественную «Махабхарату».

— И что это даст? — скептически осведомился Генри.

— Во-первых, чарас, который все курят, потеряет силу...

— Тогда все будут напиваться, — возразил тот же Генри, сам любивший на ночь осушить стаканчик крепкого виски.

— Не будут. Виски — это и так очень дорого, а перекупщики и спекулянты еще больше взвинтили цену. Для рабочих виски недоступен, тем более шотландский.

— А самогон из сахарного тростника и орешков кешью?

— Тоже дороговато... К тому же — ужасный запах и противный вкус. Им часто травятся.

— Ну, а во-вторых? — спросил я, напомнив, что за единицей должна следовать двойка.

— Во-вторых, двинется наконец строительство Храма. Все оживет. Заработает.

— Под таким-то дождем... — усомнился Киплинг.

— Кришна создаст над нами незримый навес. Я ручаюсь.

— Как вы можете ручаться, ведь вы же не Кришна! — воскликнул Скрябин, с которых пор не упускавший случая умалить достоинства соперника, и тотчас поправился: — Впрочем, я ошибаюсь.

— В чем ты ошибаешься, дорогой? — участливо спросила Наталья Валерьяновна.

— В том, что Джидду не Кришна. Имя Кришнамурти, как я выяснил, означает: Об-раз Кришны. Но кто возьмет на себя поиск чтецов? И сколько им придется платить? — спросил Скрябин, показывая, что ему не чужда практическая сторона дела.

— Я возьму все хлопоты и затраты на себя. Я знаю, как с ними разговаривать, — сказал Киплинг на правах знатока здешних нравов.

— Нет, позвольте мне, — ответил на это Кришнамурти. — Я должен сам, раз уж это моя идея.

— Разрешите мне вас сопровождать, — вызвался я, угадав опасения мадам Безант, что в деревне ее любимца могут подстергать опасности.

— Буду вам признателен.

— Я буду вам признательна, — многообещающе произнесла Анни Безант — произнесла так, словно и мое согласие распространялось намного дальше намерения сопровождать Кришнамурти.

Параграф шестой ПОЦЕЛУЙ КРИШНЫ

Мы с Кришнамурти, накрывшись большими, черными панцирями английских зонтов, отправились до ближайшей деревни — босиком (сапоги все равно заливали, и в них не было толку), по непролазной грязи. Зонты не спасли нас от ливня, и по дороге (впрочем, это чавкающее глинистое месиво трудно назвать дорогой) мы вымокли до нитки. Постучавшись в самый первый дом, мы улыбочиво поклонились, что означало просьбу снизить к нашему бедственному положению, дать нам немного обсохнуть и погреться у очага.

Хозяева, добрые люди, пропустили нас в дом, вытирая за нами ручейки воды, струящиеся по наполовину земляному, наполовину устланному бамбуком полу. Несколько минут мы молча блаженствовали у огня. Нас угостили крепким деревенским пивом — поднесли по стаканчику.

На вопрос хозяев, кто мы и откуда, нам было легко ответить, махнув рукой в сторону Храма: «Там... там... это мы строим». Те сразу все поняли, одобрительно закивали, повторяя: «О, Храм, будущий Храм!», и подбросили в огонь хворосту. После этого принесли еще один жбан, вышибли крышку и добавили нам пива.

Тогда мы в свою очередь спросили, есть ли здесь чтецы «Махабхараты», а если есть, где именно их можно найти. При этом мы пообещали, что хорошо заплатим. Даже достали мешочек с монетами (иначе бы нам не поверили) и для большей убедительности побренчали ими над ухом хозяев, чем вовсе не оскорбили их слух, а, напротив, вызвали оживление и веселость, на какую были способны пожилые люди, отягощенные заботами о хлебе насущном.

Они зачарованно вслушивались в зазывный звон, словно в пение райских птиц.

Убедившись в наличии денег, хозяева нам ответили, что чтецы «Махабхараты» здесь есть, и при этом почему-то посмотрели себе под ноги, словно им не нужно было заставлять нас снова мокнуть и отсылать куда-то далеко, на другой конец деревни. Мы с Джидду переглянулись, обрадованные тем, как нам повезло.

А хозяева вывели из-за ситцевой занавески мальчика лет девяти, худого, очень смуглого для этих широт, с удлинненными мочками ушей (как у Будды), проколотых, но без вдетых сережек, и большими бирюзовыми глазами, — мальчика из числа тех, кого называют странными и необычными.

Если у обычных детей выражение лица часто меняется, то у этого мальчика почти не менялось, и он не отводил взгляда от предмета, если хотя бы раз посмотрел на него.

— Вот он читает наизусть «Махабхарату», — сказала мать, суеверно (детей в Индии любят и чтут почти как богов) прикасаясь ладонью к голове мальчика. — Его даже приглашают на праздники. Скоро наступит месяц Шраван, и нашего сына снова пригласят на Праздник змей. Правда, ему не заплатят, поскольку он еще мал, но зато накормят и угостят сладостями. Да наш Савитар и не любит деньги...

Из вежливости мы выразили удивление по этому поводу, но все-таки, не ставя под сомнение достоинства мальчика, позволили себе заметить:

— Нам бы кого-нибудь повзрослее... лучше даже из стариков.

— Старики привередливы: им надо много платить. Да они лишь шамкают беззубым ртом и что-то бормочут — не разобрать, а наш Савитар читает очень хорошо, складно — слышно каждое слово. Кроме того, он изображает в лицах героев «Махабхараты» и еще предсказывает будущее своим слушателям — тем, кто пожелает. Его считают реинкарнацией святого Рамакришны.

— Будущее? — Было заманчиво воспользоваться таким случаем, и мы спросили (спрашивал, конечно, Кришнамурти, переводя мне свои вопросы на английский): — Пусть он скажет, суждено ли нам достроить Храм?

Мать участливо наклонилась к мальчику.

— Скажи нашим гостям, будет ли достроен их Храм?

Тот произнес, пристально глядя мне в лицо, словно я больше других нуждался в его ответе, и не меняя выражения лица:

— Да, будет, если один из приделов вы освятите в честь великого Кришны.

— О, Кришна! Хари Кришна! — подхватила набожная мать.

— Савитар, ты знаешь, что такое Мистерия?..

— Да, знаю.

— Тогда скажи...

— Мистерия — это поцелуй Кришны.

Когда Кришнамурти перевел мне этот ответ, я изобразил на лице несколько принужденное согласие.

— Ты, конечно, прав, но не совсем. Мистерия — это все же нечто другое.

— Нет, Мистерия — это поцелуй Кришны, — убежденно повторил мальчик, не принимая никаких возражений. — Ничего другого о ней сейчас сказать нельзя. Ее судьба еще не решена.

— Спросите о Скрыбине, о Скрыбине... — зашептал я на ухо Джидду. — Что с ним будет как творцом Мистерии?

— А Скрыбин? — тотчас отозвался на мою просьбу Кришнамурти. — Тебе известно, кто это? Что будет с ним?

— Это музыкант, но не из числа тех, которых приглашают на свадьбы и деревенские праздники. Скрыбин — особый музыкант. Он будет прославлен.

— Но он и так знаменит.

— Скрыбин знаменит в этом мире, но он будет прославлен в мире ином. Прославлен как мученик. И его музыка покорит небеса.

— Но почему мученик?

— Потому что он самовольно вернулся, не получив на это высшей санкции от богов.

— А разве это возможно?

— Возможно иногда, в самых редких случаях, но за это приходится платить. И он заплатит.

— Спросите, спросите, его убьют? Но кто? — вновь зашептал я Кришнамурти на ухо, но мальчик ответил, прежде чем Джидду перевел мой вопрос:

— Это еще неизвестно. Кто-нибудь из самых близких ему людей. Может быть, даже вы.

Савитара стало заметно лихорадить, его смуглое лицо покрылось бисером пота, в удлинённых мочках ушей, проколотых для серег, выступили капельки крови, и родители поспешили увести его за бамбуковую занавеску.

Для нас же был накрыт стол и — в дополнение к пиву — выставлены самые лучшие угощения.

Параграф седьмой

ВЫБРОШЕН В ИЗГОИ

Мы не стали визнавать и допытываться, где живут старики (почтенные старцы!), читающие «Махабхарату», и как их уговорить, что им посулить, чтобы они приняли наше приглашение. Мы посчитали это излишним и даже невежливым после оказанного нам приема.

Хозяева так старались нам угодить, так участливо заглядывали нам в глаза, кланялись и благодарили (хотя, казалось бы, это мы должны были благодарить их за радушие), что мы сочли бы за кощунство обмануть их ожидания. Кроме того, ответы мальчика не оставили у нас никаких сомнений, что он обладает необыкновенными способностями в разных областях и своим чтением «Махабхараты» удовлетворит самый взыскательный вкус.

Словом, Скрябин будет доволен нашим выбором, а вместе с ним и все остальные — весь наш маленький народец. Так я и Кришнамурти решили промеж собой, после чего договорились обо всем с родителями мальчика и даже оставили им задаток — тот самый мешочек с монетами, звон которого их зачаровывал, словно пение райских птиц.

Савитар должен был приступить к чтению через три дня. А мы тем временем приготовили для необыкновенного мальчика комнату — с полукруглым окном, выходящим на Храм. Комнату мы чисто вымели, украсили гирляндами цветов, обкурили душистыми ароматами. Вид из нее был поистине прекрасен: беломраморное здание Храма, еще лишенное купола, угадывалось, маячило, зыбко прорисовывалось за струящейся пеленой дождя и строительными лесами, словно нездешний мираж.

Нам грезилось, что под чтение мальчика рассеется низкая хмарь облаков, проглянет наконец голубое небо и герои «Махабхараты» сойдут с небес на эти леса и, засучив рукава, примут незримое участие в работах.

Через три дня, ранним утром, родители привели мальчика. Мы познакомили его со всеми — в том числе и со Скрябиным. Александр Николаевич, склонившись, почтительно пожал ему руку и — для назидания всех — спросил:

— А правда ли, что если верующий прочтет хотя бы один стих «Махабхараты», ему простятся все грехи?

Савитар на это ответил:

— Истинная правда, господин. Вы сами об этом знаете.

— Тоже своего рода индульгенция, — вмешался Генри Вуд, — даже денег платить не надо! Старина Лютер был бы счастлив!

— Деньги — это не зло, — произнес Савитар так, словно большим злом считал другое — хотя бы то, что от собеседника, успевшего осушить с утра стаканчик виски, пахнет спиртным и он произносит столь кощунственные речи.

— Пардон, пардон. Кажется, меня разоблачили. Так сказать, причастился не тем, чем надо. А все из-за этих проклятых дождей. Скучно, знаете ли, тоска берет...

— В природе нет ничего проклятого, — возразил на это мальчик. — Напротив, все благословенно. Прокляты бывают сами люди — за грехи этой или прежней жизни.

— Какой умный мальчик! Может быть, поведаешь, кем я был в прежней жизни?

— Вы, господин, были бродячим актером, фокусником и глотателем огня. Словом, шарлатаном.

— То-то у меня глотку саднит до сих пор, хотя я свою прошлую жизнь — хоть ты тресни — совершенно не помню.

— Я могу приоткрыть вам глубинную память.

— Приоткрыть память? Ха-ха, славное дело! Что ж, будь любезен, попробуй, а если не выйдет, я... надеру тебе уши, идет?

Савитар оставил на совести Генри это выдвинутое им условие. Он ничего не ответил, и на смуглом лице мальчика промелькнуло выражение, ставящее под сомнение то, что кто-нибудь осмеливался безнаказанно прикоснуться к его ушам.

— Фу, Генри! Как вульгарно! — вступилась за Савитара Наталья Валерьяновна. — Этот мальчик совсем не из тех — не уличный мальчишка, коему позволительно надирать уши.

— А кто же он?

— Полагаю, что он не просто умный мальчик, а... гений. Это для Индии не такая уж редкость.

— Что ж, умолкаю. — Генри стал с преувеличенным старанием расшаркиваться и делать реверансы. — Сам я как бездарность перед гениями умолкаю...

— Тебя никто не называл бездарностью, но имей уважение к тем, кто младше тебя... и не заставляй страдать их, а заодно и меня.

— О, я забыл, что вы у нас — сама чувствительность! Прошу покорно меня извинить. И вы, молодой человек, надеюсь, извините меня за грубость. Гениям надлежит быть снисходительными к простым болванам, болтунам и к тому же горьким пьяницам.

— Простите его, Савитар, и не обижайтесь. Англичане бывают очень грубы.

— Я не страдаю, мэм. Меня не так легко обидеть, поскольку меня любит Кришна. — Мальчик опустил глаза.

Генри Вуд гаерским тоном воскликнул:

— О, Кришна любит не только пастушек, но и мальчиков!

— Прекрати! Тебя невозможно слушать! — Наталья Валерьяновна с негодованием заткнула уши.

— Вы будете наказаны за эти слова, — сказал Савитар, не поднимая глаз, как будто иначе сказанное могло быть принято за дерзость.

— Каким же образом, любопытно знать? Меня четвертуют, повесят или бросят на съедение крокодилам?

— Вы сами сделаете себя вечным изгнанныком.

— Ну, это еще не страшно. Я и так изгнан из приличного общества. Выброшен, так сказать, в изгой. Мое место — на дырявой подстилке под Вестминстерским мостом. Поведай мне, умный ребенок, заслужил ли я хоть какую-то благодарность? Все-таки Храм... мое детище... Я его творец.

— Ваше детище вам не принадлежит. Не вы его зачинатель, вы лишь исполняете предначертанное и внушенное вам свыше...

— Ну а кто же, как ты изволил выразиться, зачинатель? Впрочем, я уже догадался. Кришна! Великий Кришна! Хари Кришна! — Он снова стал кривляться, паясничать и вдруг замолк: мальчик медленно поднял бирюзовые глаза, и Генри прочел в них то, что вызвало у него единственное желание — провалиться сквозь землю после всего сказанного.

Параграф восьмой ТОЙ ЖЕ ВЕРЕВОЧКОЙ

Савитар каждое утро к нам приходил — уже один, без родителей. Они лишь вручали ему узелок с едой, поскольку мальчик никогда не ел за нашим столом: кланял-

ся, благодарил и отказывался. Савитар уединялся в отведенной ему комнате, причем следил, чтобы никого не было не только внутри, но и за дверью. Если из коридора доносились шаги, замирал, не двигался и даже не дышал, пока они не стихали. Он не пользовался стульями, расстилал на полу коврик, открывал окно, садился лицом к Храму и читал «Махабхарату» — «Великое сказание о потомках Бхараты».

Читал, слегка раскачиваясь, переворачивая страницы книги, но не глядя в нее, а лишь изредка проверяя себя по ней: он читал наизусть.

На третий день после его чтений дождь понемногу стал стихать. Потоки дождя сменялись редкими, сплюснутыми ветром каплями, которые высыхали, не долетая до земли, оставляя в воздухе тающий дымок. В небе обозначились голубые оконца, и забрезжило солнце, сверкая, словно вращающиеся спицы в колесной упряжке бога Сурьи.

Работы возобновились, по лесам засновали рабочие, заскрипели подъемники. Всем хотелось поздравить с этим Савитара, к нему стучались, но он никого не пускал, не прерывая чтения и лишь понижая голос в знак того, что этот стук создает для него помеху и мешает воссоздавать божественные вибрации священного текста.

Все понимали значение этого знака, тотчас замолкали и, стараясь не скрипеть ступенями, тихонько спускались вниз.

Только Скрябину и — почему-то! — Генри Вуду было дано особое разрешение подниматься к нему на второй этаж. «Ну, ладно Скрябин, — недоумевали все, — но почему такое предпочтение Генри Вуду с его ужимками, гримасами и скабрёзными насмешками над религией?» И лишь одна из сопровождавших нас теософствующих дам позволила себе высказать свою догадку на этот счет, которая поначалу всех озадачила:

— Химеры!

— Какие еще химеры? О чем вы, голубушка?

— Почему на соборе Парижской Богоматери, символе всего прекрасного, мы видим эти ужасные, устрашающие химеры?

— Ну, и почему же?.. — Все приняли скептически-выжидательную позу, заранее встречающую любой ответ, не укладывающийся в рамки привычных представлений.

— А потому же! — передразнила дама, копируя нелепый вопрос столь же нелепым ответом. — Потому, что божественное и возвышенное нуждается в низменном и кощунственном. Вот и Генри Вуд для мальчика — такая химера.

— Хм... однако...

— А вы не хмыкайте. Вы вдумайтесь. Почему у богини Кали ожерелье из черепов, а пояс из отрубленных человеческих рук? Почему язык ее высунут изо рта, глаза сверкают кроваво-красным огнем, лицо и тело залиты кровью?

— Что за ужасы вы нам рассказываете!

— А потому и ужасы, что божественное и демоническое неразделимы. Господину Скрябину надлежит это знать. Его Мистерия не свершится под одно лишь благодное пение ангелов — без воя и свиста демонических сил.

— Что ж, прикажете и мне выть и свистеть? — спросил Генри Вуд, нараспашку открывая дверь и без стука входя в комнату, где происходил этот разговор, — входя на правах явленного воочию предмета этого разговора.

— Ну, посвистите, повоете — ничего с вами не станет, раз уж вы избраны на эту роль. Богиня Кали вам в этом поможет.

— Благодарю покорно.

— Благодарите в положительном смысле или в отрицательном смысле, то есть с оттенком иронии?

— Если уж божественное и демоническое вы связываете вместе, то позвольте мне той же веревочкой связать положительное и отрицательное. Да, той же веревочкой, той же... той же... ха-ха-ха! — рассмеялся он, но собственный смех напомнил Генри, что ему совсем не весело, а, скорее, грустно, тошно и противно. — Однако скучно жить на свете, господа. Так, кажется, писал Гегель... — возвестил он с ужимкой отпетого второгодника с задней парты, — или Гоголь, если он и впрямь что-то писал, а не списывал у нас англичан. Уж по части скуки-то — или, если угодно, сплина — мы ведь первые мастера.

Параграф девятый

КРЕЩЕНЫ В КРИШНУ

Волею Кришны и под влиянием чтения «Махабхараты» работы невероятно ускорились: Храм на наших глазах стремительно поднимался ввысь, и каждое утро добавляло что-то новое к его облику. Генри Вуд носился с чертежами, сверял, уточнял, придирался, требовал что-то переделать, исправить, но не оттого, что был недоволен, а оттого, что в душе ликовал и был счастлив.

Да и не только он — все были счастливы, глядя на Храм.

— Ну, как хотите, а это поистине чудо! И не спорьте со мной! Просто чудо! Не знаю, как иначе и назвать! Да и не хочу называть иначе! — Скрябин открывал по утрам окно с таким благоговейным видом, словно оно одаривало его свидетельствами самых небывалых чудес. — Этак скоро грянет срок трубным возгласом созывать народы на Мистерию и во всеуслышание объявлять начало действия.

Наталья Валерьяновна, стоявшая рядом (она побаивалась его слишком восторженных состояний), отвечала на это:

— Ну, уж ты сразу, друг мой... чудо, чудо. Просто они разделились на смены и работают по ночам...

— Почему же мы их не слышим?

— Потому что они обматывают ноги тряпками, чтобы не шуметь и никого не будить.

— Обматывают тряпками? Хм... хм... хм. Наградить! Всех рабочих наградить! Выдать им за месяц двойной оклад!

— Вот видишь, а ты...

— Все равно эти твои тряпки ничего не решают. Налицо вмешательство высших сил. Да, хари Кришна! Я вынужден воскликнуть вслед за нашим Савитаром: «Хари Кришна!» — или какие там еще боги в этой «Махабхарате»!

— Дорогой, в Индии много богов, как ты знаешь, но не будем забывать и о нашем православии. Крещены мы не в Кришну, слава богу.

— «Крещены не в Кришну», — повторил он задумчиво, вслушиваясь в звучание этих слов, — почти афоризм, знаешь ли. Ты стала говорить афоризмами! Поздравляю! Только отрицательную частицу лучше убрать. Она здесь лишняя. Я вообще не люблю отрицательных частиц — всяких там «не» и «ни» — и предпочитаю их не употреблять. Крещены в Кришну, крещены в Кришну! Какой глубокий — неисчерпаемо глубокий смысл в этой фразе! Елена Петровна Блаватская меня бы поняла.

— В чем же тебя другие не понимают? — Под другими Наталья Валерьяновна имела в виду прежде всего себя и ждала, что ей достанется от него хоть какой-нибудь знак признания ее способности понять.

— Другие? — Скрябин уловил ее тонкий намек. — Других я готов без конца целовать!

— Чем же они заслужили? — Она была и смущена, и польщена.

Александр Николаевич уклонился от прямого ответа:

— А тем, что все истинные религии едины! Особенно накануне трубного зова, накануне Мистерии! Помнишь, как звучит труба в моей «Поэме экстаза»?

— Да ну тебя! Я тебе об одном, а ты мне совсем о другом! — Наталья Валерьяновна по-детски обиделась: ей так хотелось что-то важное донести до Скрябина, как, обжигая пальцы, доносят переполненный стакан с горячим чаем, а Александр Николаевич, вместо того чтобы помочь ей и взять стакан, нарочно убирал за спину руки. — Все же живем мы не Кришной единым... А вообще, мне надо с тобой поговорить. — Эту фразу она последнее время часто произносила в моем присутствии (я и на этот раз был поблизости), что содержало еще один тонкий и многообещающий намек.

Параграф десятый НЕРОВНЫЙ СЧЕТ

Когда рабочие стали возводить каркас купола, точно повторяющий его будущие формы или, как восклицали теософствующие дамы, его дивные очертания, словно переходившие с чертежей на воплощаемый в камне замысел, суть многообещающего намека прояснилась. И мне пришлось быть свидетелем странного разговора между Скрябиным и Натальей Валерьяновной.

Разговор этот, помимо своей явной странности, имел... неожиданные последствия, как я предпочел бы выразиться, поскольку не имею склонности к употреблению словесных вычурностей вроде: поверг нас в изумление, стал для всех разорвавшейся бомбой и проч., проч.

Разговор не то чтобы интимный, но все же не предназначенный для чужих ушей, а рассчитанный отчасти на меня как близкого им обоим друга, имевшего при этом свойство — иногда выступать как друг одного лишь Скрябина, но не менее часто — и как друг Натальи Секериной.

Есть такого рода друзья, кои, не изменяя прежней дружбе, с не меньшим пылом и страстью отдаются новой дружеской привязанности, и я, слуга двух господ (впрочем, не только двух), волею обстоятельств вынужден причислять себя к их числу. Этим моим свойством особенно дорожила Наталья Валерьяновна. Она, как никто, нуждалась в моем присутствии, хотя и не чинила препятствий моей дружбе со Скрябиным и не перетягивала меня на свою сторону.

Почему? В деталях это прояснится чуть позже, а в общем... Несмотря на потребность Натальи Секериной в моем присутствии, то место рядом с ней, которое я мог бы занять, было уже занято, и вовсе не Скрябиным...

Впрочем, не буду намекать, а то получится, что все у нас изощряются в намеках. И не стану углубляться в психологию моих отношений с Александром Николаевичем и Натальей Валерьяновной (а тут еще и Татьяна Федоровна маячит поблизости, что называется, всегда на подхвате). Отмечу лишь, что Наталье Валерьяновне я был нужен и как верный, понимающий друг, и как свидетель, способный в нужный момент подтвердить, что упомянутый разговор состоялся, хотя и не особо вникший в его суть.

Ну а теперь, с позволения моего читателя, о самом разговоре.

Однажды утром, стоило мне показаться во дворе после выпитой чашки кофе, Наталья Валерьяновна устремилась ко мне. Я бы даже добавил: устремилась порывисто, но это было бы в духе Тургенева. К нему же я, признаться, слегка охладел после того, как Иван Сергеевич позавидовал успеху Пушкинской речи Достоевского и ревниво к этому успеху отнесся, что, конечно, не подобает писателю.

Однако не будем отвлекаться. Наталья Секерина взяла меня под руку. Взяла не потому, что могла споткнуться, поскользнуться, нуждалась в опоре и проч., проч. А взяла с таким видом, словно до этого долго, с нетерпением поджидала меня в укрытии (хотя небо вовсе не обещало дождя) и собиралась увести туда, где я мог ей срочно понадобиться.

— Пойдемте, я вас прошу...

— Куда вы меня ведете?

— Побудьте рядом, пока мы будем говорить...

— С кем говорить? О чем? — Я не сразу вспомнил прежние намеки и связал их с ее нынешним поведением.

— Со Скрыбиным, конечно! С кем еще я могу говорить! Только со Скрыбиным и с вами! — Я почувствовал, что ей стоило известных усилий не назвать рядом со мной и Скрыбиным кого-то еще, столь же располагающего к разговорам, но несколько иного свойства.

— Вы снова повздорили с Татьяной Федоровной? — Я привел самую естественную причину для подобной просьбы, а про себя подумал: «Какой там еще может быть вздор!»

— О, нет! К ней я совершенно равнодушна. Она для меня не существует — пустое место. Есть вещи поважнее.

— Ну что же... я к вашим услугам. Можете мною располагать. Я не завистлив к чужому успеху, — произнес я, особо не подчеркивая, но при этом и не считая нужным скрывать, что эта фраза может иметь некий ни к чему не обязывающий и вряд ли для нее интересный двойной смысл.

— О чем вы? — Тем не менее она насторожилась.

— Так... ни о чем.

— Нет, вы что-то имеете в виду...

— Ровным счетом ничего.

— Нет, судя по вашему голосу...

— Повторяю, ровным счетом...

— Да? — Она была удивлена, но сама не знала, чем именно.

— Смею вас заверить.

— Но ведь счет бывает и неровным!.. — Наталья Валерьяновна страдальчески всматривалась в меня, стараясь по моим глазам прочесть то, чего там вовсе не было написано.

— Для вас он всегда ровен. Располагайте мною. К тому же я не баритон и не тенор, чтобы выражать что-то голосом. По моему заурядному голосу трудно о чем-то судить.

Она не нашлась, чем мне заплатить за шпильку, и поэтому предпочла на нее не обижаться.

— Благодарю. Я в вас не сомневалась, — сказала она так, словно все ее предыдущие сомнения, колебания и намеки слились в этом признании.

Параграф одиннадцатый ОТПУСТИ!

Мы обогнули наш домик и, перешагивая через ямы со строительным мусором, горки бамбуковых опилок и мраморную крошку, выбрались к тому месту, куда выходило окно Скрыбина. Отряхнулись. Оправились. Наталья Валерьяновна по-прежнему держала меня под руку, но под предлогом того, что ей нужно тронуть гребнем выбившиеся волосы, осторожно высвободила руку.

Ее смущало, что в этой позе — она под руку с женщиной (хотя бы и другом) — угадывается нечто нарочитое и показное, а ей этого не хотелось. Это было ни к чему.

Поэтому я сначала растерялся, не зная, куда деть освободившуюся руку, чтобы она не выглядела праздною, но затем нашел ей применение и потуже затянул петлю галстука. Наталья Валерьяновна странно на меня посмотрела, словно жест руки, затягивающей петлю, вызвал у нее безотчетный страх.

— Что-нибудь не так?

— Нет, нет... все в порядке. Просто мне на минуту почудилось... Извините.

Окно было слегка приоткрыто, и за ним смутно вырисовывалась неподвижная фигура Скрябина, склонившегося над старым письменным столом, купленным нами в антикварной лавке колониальных товаров. Причем свет от лампы падал так, что казалось, будто Скрябин без головы.

Вот такой мираж, причудливая игра освещения. Во всяком случае, головы не было видно. Нам обоим на минуту стало жутковато. Мы переглянулись, но не сказали друг другу ни слова.

— Александр, можно к тебе? — спросила Наталья Валерьяновна так, словно меня не было рядом.

— Да, да, я вас жду... — ответил Скрябин, не глядя в окно, но неким оттенком голоса давая понять, что он ждет нас обоих.

Наталье Валерьяновне пришлось сделать вид, что она обо мне не забывала, и произнести от лица нас обоих:

— Положим, ждать нас ты не можешь, поскольку мы тебя не предупреждали...

— Все равно, все равно. Жду.

— Где твоя голова?

— Что? Не понял...

— Потуши лампу, а то кажется, будто... Впрочем, мы сейчас поднимемся.

Мы поднялись по бамбуковой лестнице на второй этаж. Дом был на сваях. И в погожие дни змей, обвивая кольцами коленца этих свай, грелись на солнцепеке. Их никто не прогонял. Их даже подкармливали.

Мы постучались в комнату Скрябина, хотя дверь была приоткрыта.

— Чем вам не нравится моя голова? Вот она на месте. Я вчера ее вымыл.

— Как ты решился? Для тебя же мытье головы как светопреставление...

— Решился, как видишь...

— Тебе кто-нибудь помогал?

Александр Николаевич несколько замялся.

— Допустим, Татьяна Федоровна...

— Шлецер?

— Ну, ты же знаешь...

— Нет, я хочу, чтобы ты сказал это сам...

— Ну, Шлецер, Шлецер...

— Вот она и унесла твою голову с собой, — сделала вывод Наталья Валерьяновна. — А заодно и мою.

— Зачем ей моя голова? Она же не Матильда де Ла-Моль, а я не Жюльен Сорель из романа Стендаля, — стал оправдываться Скрябин.

— Ах, ты у нас даже читал Стендаля! Похвально! Весьма похвально! — Наталья Валерьяновна вдруг изменила тон, словно литературные примеры интересовали ее в самую последнюю очередь: — Саша, у меня к тебе одна просьба... Одна, но очень важная. Ты позволишь?

— Да, я слушаю. — Он жестом предложил ей сесть, а поскольку она отказалась, сам поднялся из-за стола.

— Отпусти Генри Вуда.

— Как отпустить?

— Дай ему денег, сколько он попросит. — Эти слова относились не столько к Скрябину, сколько ко мне как его казначею. — Пусть он нас навсегда покинет. В конце концов, выгони его. Выставь его за дверь. Прогони, как змею, греющуюся на солнце. Отправь на виселицу. — Наталья Секерина мимоходом дала мне понять, что мне следует вновь поправить петлю от галстука.

— С чего такая немилость?

— С того, что он стал невыносим. Слишком много о себе возмнил! Многое себе позволяет!

— Но ведь мы возводим Храм по его проекту!

— Заплати ему за проект, и пусть убирается. Он всем тут надоед со своими выходами, и я не желаю его больше видеть.

— Но должны же быть причины... И как я ему скажу! Ведь мы теперь словно одна семья! У меня язык не повернется!

— Поручи это своим помощникам. Татьяне Федоровне, наконец. Она охотно выполнит твою просьбу, поскольку... как и многие, ненавидит Генри Вуда. Все его ненавидят, и прежде всего даже не она, а я.

— Но у вас же были прекрасные отношения! Эти ваши совместные прогулки, долгие беседы... Ты его всегда защищала и поддерживала!

— Да, как верная собачка...

— Ну, почему? Как друг...

— Наши отношения и сейчас распрекрасные...

— Так в чем же дело? — Александр Николаевич посмотрел на меня, словно ему было легче задать этот вопрос мне, чем Наталье Секериной.

— А дело в том, что я не хочу быть верной собачкой. Я тоже хочу быть змеей, — сказала она так, словно ей легче было ответить самой себе, чем мне или Скрябину.

Параграф двенадцатый ВКРАДЧИВЫЕ ШАГИ

Через два дня мы собирались отметить Праздник змей, а заодно — и окончание основных работ по возведению купола.

Основных — поскольку оставались сущие мелочи: доделка, огранка, шлифовка и прочее. Но на эти мелочи могло уйти месяца два-три, а то и больше. Терпения не хватит выдержать столь томительный срок, тем более что вот он купол — ослепительно сияет белым мрамором на фоне небесной бирюзы, а какие-то там доделки... это уже не суть важно, целостной картины они не меняют.

Поэтому полного окончания работ дожидаться не стали и решили отпраздновать завершение основных, тем более что приближался и Праздник змей, и с этим совпадением тоже приходилось считаться. «Отметим, отметим», — с загадочной многозначительностью повторял Скрябин, не называя, что именно будем отмечать, но по его тону угадывалось: завершение основных работ и Праздник змей — для него одно событие. Вернее, событий-то два, но праздник — один, общий для всех.

Но не все были с этим согласны. Раздавались голоса, что змей на этот раз можно особо не чтить, не задабривать торжественными приношениями: молоком, сладостями-

ми и рисом. Пусть подождут до следующего года (ведь они же бессмертны, способны омолаживаться, сбрасывая чешуйчатую, отливающую перламутром кожу). Но зато отпраздновать — честь по чести! — полное окончание работ.

Змеи не обидятся и роптать не станут, поскольку с благоговением относятся к святым местам: в их честь тоже возводят храмы...

Такого мнения придерживались не только теософствующие дамы, но и Анни Безант. Скрябин же этому мнению всячески противился. По случаю Праздника змей Александр Николаевич предлагал вообще на день приостановить стройку и дать рабочим вольную, чтобы те побывали дома, посидели за накрытым столом, выпили и повеселились.

Анни Безант возражала, ссылаясь на то, что рабочих потом не соберешь и возобновление работ надолго затянется. Были и другие спорные вопросы, требовавшие обсуждения.

Поэтому следовало собраться и обсудить все детали, уладить все противоречия. Пусть, как у мусульман, все решает коллективное мнение Уммы — общины. Ведь мы — тоже община верующих. Верующих в Мистерию Последнего Дня.

И вот назначили время, и весь наш маленький народец подтянулся к штаб-квартире — комнате Скрябина. Правда, на квартиру она никак не смахивала, но зато это был истинный штаб.

Расселись: рядом с Александром Николаевичем — самые приближенные (Анни Безант, Кришнамурти, Редьярд Киплинг и я), а чуть поодаль — остальные, в том числе инженеры и, конечно же, теософствующие дамы. Как же без них! Никак нельзя! Теософия не выдержит их отсутствия!

Не было только Генри Вуда и Натальи Валерьяновны. Наверное, благополучно помирились после небольшой размолвки и опять где-нибудь гуляют, любят воду священного Ганга, предаются беседам. Счастливые часов не наблюдают — вот и они напрочь забыли, что назначен сбор, что надо потолковать, обсудить важные дела.

Что ж, придется начать без них, а за ними еще кого-нибудь отрядить, поскольку посланные до этого слуги так и не смогли их найти.

Отрядили двух рабочих, оказавшихся поблизости (сметали со ступеней Храма мраморную крошку). Но едва лишь приступили к обсуждению спорных вопросов, посланные вернулись. Чувствуя себя виноватыми, опасаясь кому-то не угодить, испуганно кланяясь всем на разные стороны и поминутно оборачиваясь, словно сзади тоже мог скрываться тот, кому надо поклониться, они сообщили:

— Мы все обыскали. Госпожи и господина нигде нет.

— Как нет? Куда же они делись? — спросил Скрябин, а сидевшие за столом переглянулись, читая этот же вопрос в глазах друг у друга.

— Господин и госпожа исчезли.

— Вот тебе раз! Новости! Как исчезли?

— По словам прислуги, наскоро собрали вещи и сбежали.

— Сбежали? Куда?

— На пристань. Оказывается, у них билеты на пароход. Господин еще вчера купил два билета.

— Так надо же немедленно догнать! Остановить! Вернуть! — воскликнул Скрябин, как бы удивляясь, что это еще не сделано и приходится об этом напоминать.

— Невозможно. Пароход уже отчалил. Следующий будет через три дня, но по случаю праздника могут и отменить.

— Вот так сюрприз они нам преподнесли! В духе приближающегося праздника. Что называется, сбросили кожу, как змеи, и уползли неизвестно куда...

— Это им дорого обойдется, — произнесла Татьяна Федоровна таким тоном, как будто она здесь все решала.

Скрябин не нашелся, что возразить, словно упрекая Татьяну Федоровну, он косвенно оправдывал сбежавших.

Я наклонился к Александру Николаевичу и прошептал ему на ухо:

— Я попробую их вернуть. У меня есть один способ.

Но он меня не услышал или не придавал моим словам никакого значения. Погруженный в свои мысли, он лишь произнес тихо, ни к кому не обращаясь:

— Вот вам химеры Нотр-Дам — доказательство того, что добро нуждается в зле, что божественное и демоническое неразделимы. Не зря тут у нас обсуждалось... Вот они, вкрадчивые шаги самого сатаны, как у меня в Девятой сонате. Полное сходство!

ДОНЕСЕНИЕ СЕДЬМОЕ

Параграф первый

ВЕРНУТЬ ПРЕДАТЕЛЬНИЦУ И БЕГЛЯНКУ; ПУСТАЯ РАМА

Скрябин был в отчаянии. Во внезапном исчезновении — бегстве — Натальи Секе-риной и Генри Вуда ему виделся грозный знак — предвестие той же катастрофы, что и когда-то при случившемся порезе во время бритья. «Ах, боже мой!» — прижимая к щекам ладони и сдвигая их лодочкой, он смотрел на себя в зеркало, словно оно напоминало ему о том порезе, который обретал зловещие очертания его нынешних бед и неприятностей, способных привести к столь же ужасному исходу.

— Катастрофа. Вы не находите, что это катастрофа? — поминутно спрашивал он меня (я, как всегда, старался не оставлять его одного и быть рядом), расхаживая по комнате, спотыкаясь о какой-то выступ в полу, чертыхаясь и каждый раз забывая, что тот же вопрос был им минутой раньше уже задан.

Я понимал, что отвечать не надо, что он нуждается не в моем ответе, а в своей собственной возможности вновь и вновь меня спрашивать. Но в конце концов и мое молчание перестало его удовлетворять и дало ему лишний повод для раздражения:

— Что ж вы молчите! Скажите же хоть что-нибудь! В таких случаях интеллигентным людям молчать не полагается. Вы же не интеллигентное бревно! Простите, я не хочу вас обидеть. — Скрябин чуть тронул меня за рукав.

Я улыбнулся в знак того, что принимаю его извинения и не обижаюсь, но тем не менее мой ответ его разочарует:

— Что я могу сказать!

— Ах, раз не можете, так молчите!

— Я и молчу, как вы изволили убедиться.

— Но вы молчите так, словно я не прав и это вовсе не катастрофа. Но ведь это же катастрофа! Я настаиваю, что катастрофа, и не смейте мне возражать!

— Я вам не возражаю. — Я не мог скрыть признаков усталости в моем голосе — усталости от этих словесных препирательств, столь не свойственных ни мне, ни ему, и Скрябин на это сейчас же отозвался:

— Да, я невыносим, я всех замучил. Меня стало невозможно выдерживать. Все от меня бегут! — воскликнул он, радуясь, что неожиданно ему подвернулось словечко, столь удачно соответствующее самым разным обстоятельствам. — Бегут, знаете ли, — заранее покупают билеты на пароход, спешно собирают вещи. Всех, всех я замучил!

Но ведь, милый мой, на наших глазах все разваливается. Все рассыпается в прах! Или вы так не считаете? — Ему уже хотелось, чтобы я так не считал, а считал как-то иначе.

— Мне кажется, что никакого развала, рассыпания в прах и тем более вселенской катастрофы, извините меня, не наблюдается.

— А бегство архитектора Генри Вуда? Кто теперь будет руководить работами?

— Инженеры и без него все отлично знают. У них же в руках чертежи. Да и работ-то осталось совсем немного. Храм почти готов! Второй Тадж-Махал! — Этот самый Тадж-Махал стал у нас чем-то вроде присказки, и я нарочно давал Скрябину повод для сравнения его с нашим Храмом.

— Ну, тогда уж не второй, а первый, — обидчиво и самолюбиво поправил Скрябин: он терпеть не мог быть вторым. — Наш великолепный Храм — это и первый Тадж-Махал, и первый Гётенаум, и первый Нотр-Дам с его химерами! Правда, химера у нас только одна — сбежавший Генри Вуд.

— А Наталья Валерьяновна?

— Задать такой вопрос с вашей стороны то же самое, что предложить даме дешевого портвейна или водки. И не будем об этом. Наш Храм во всем первый. — Александру Николаевичу показалось мало этого утверждения, и он добавил: — Наипервейший!

При этом настроение у него слегка поднялось. Поэтому я поспешил с ним согласиться:

— Простите, я оговорился. Конечно, не второй, а самый что ни на есть... наипервейший, как вы сказали.

— То-то же!..

— Каюсь, каюсь...

Александр Николаевич несколько успокоился по поводу Тадж-Махала и стал подкладывать на чашу весов другие весомые гири.

— ...И все-таки исчезновение Натальи Валерьяновны? М-да... Причем не одной, а вместе с этим дьяволом архитектором, которому место под Вестминстерским мостом? Что вы на это скажете?

— Ну, это личное...

Александр Николаевич посмотрел на меня так, словно я сказал именно то, что ему было нужно.

— Допустим, что так — личное... Мы должны быть выше этого. Хорошо, будем выше. Но вы пообещали, что попытаетесь вернуть эту предательницу и беглянку. Якобы у вас есть какой-то способ...

— Да, и весьма действенный...

— Что-с? — переспросил Скрябин, хотя все хорошо слышал (на слух он никогда не жаловался).

— Говорю, способ весьма многообещающий...

— Меня, знаете ли, не интересует, какой именно, но — возвращайте! Только не говорите мне потом, как эти недавно нанятые рабочие, что вы чего-то там не смогли, не отыскали, упустили и прочее. А то у нас любят ссылаться на всякие обстоятельства — вместо того чтобы признаться в своем неумении.

— Я на обстоятельства ссылаться не привык.

— Что-с?

— Говорю, я не люблю ссылаться на...

— Я слышу, слышу. Голубчик, не сердитесь. Я несколько взвинчен последнее время.

— Обещаю вам...

— Зачем вам что-то обещать, если у вас сам способ такой многообещающий, как вы изволили выразиться. Я всегда слежу за манерой речи моих собеседников. В этом смысле я — Достоевский.

— Никогда не слышал, чтобы Федор Михайлович Достоевский следил за чьей-то манерой.

— Ага, вы мне противоречите! Желаете со мной повздорить! Что ж, воля ваша. Но только будьте любезны беглянку мне вернуть. Вернуть! И под конвоем! Иначе пусть Татьяна Федоровна обратится к царю, и он пришлет сюда жандармов!

— Это лишнее... — произнес я слишком тихо и не слишком внятно.

— Что вы там шепчете? Личное?..

— Лишнее...

— Ах, это... Ну, как знать... Татьяна Федоровна во дворце бывала, и царь к ней, кажется, благоволит... Впрочем, я действительно взвинчен. И я ужасно устал, — сказал Скрябин и вновь посмотрел в зеркало, но себя там не увидел, поскольку это оказалось не зеркало, а пустая рама от какой-то картины.

Забавно, хотя с этими зеркалами и не такое случается.

Параграф второй ИЗ РОССИИ

— Саша, можно к тебе? Надеюсь, я не помешаю? — Когда я выходил от Скрябина, мне пришлось посторониться, пропуская в комнату Татьяну Федоровну. Она воспользовалась моей учтивостью, но при этом постаралась меня не то чтобы вообще не заметить как некое досадное препятствие, но особо не задерживать на мне своего внимания, которое целиком было устремлено на Александра Николаевича. — О чем вы говорили с этим господином? Он тебя не утомил? У тебя бледное лицо.

Это было произнесено, когда я еще находился в комнате и поэтому мог слышать ее слова, для меня не слишком лестные. Во всяком случае, они давали повод Скрябину отчасти призвать меня к снисходительности и отчасти передо мной извиниться за бестактность жены, тем более предосудительную, что она проявлялась не первый раз: Татьяна Федоровна меня недолюбливала и этого не скрывала.

— Не обижайтесь, дорогой. Сами знаете, женщины...

Эта реплика заставила меня задержаться на пороге, иначе бы мой поспешный уход свидетельствовал, что я все-таки немного задет.

— Да, конечно... я не в обиде.

Татьяна Федоровна почувствовала, что общее мнение складывается не в ее пользу.

— А что я такого сказала? Господина назвала господином. По-моему, это не должно никого задевать...

— Но в твоем тоне не чувствовалось особой приязни и симпатии, что на тебя при твоей деликатности совершенно непохоже...

— Не чувствовалось приязни? К кому? К тому, кто пользовался столь явным расположением покинувшей нас особы? Впрочем, оставим это. Пережито и забыто. Я же не обязана расточать свои симпатии по всякому поводу...

Я кашлянул, вынужденный напомнить о себе.

— Позвольте мне вас покинуть, — сказал я, чтобы не выслушивать, кто кому и чем обязан.

Но Александр Николаевич, по-видимому, нуждался в моем присутствии. Во всяком случае, он не спешил со мной расстаться.

— Собственно, раз вы здесь... почему бы вам не побыть с нами еще немного, если, конечно, Татьяна Федоровна не возражает. А ведь она не возражает, правда, Танечка? — Поскольку Скрябин, стоявший далеко от жены, не мог сопроводить эти слова ласковым прикосновением к ее руке, он сопроводил их ласковым взглядом.

— Мне все равно. — Это могло быть согласием, но все же больше походило на несогласие.

— Ну, какие мы сердитые... — Скрыбин ждал обратного перехода несогласия в согласие.

Татьяна Федоровна понимала, что затягивать подобное ожидание не к ее выгоде.

— Я не сержусь.

— А если без надутых губок и с улыбкой...

Она была вынуждена подчиниться.

— Не сержусь, не сержусь...

— Вот и славно... — Получив от жены необходимые заверения, Александр Николаевич счел возможным в победительном тоне обратиться ко мне: — У нас с Татьяной Федоровной, слава богу, нет никаких секретов, чтобы их обсуждать наедине. И вообще, время для подобных обсуждений проходит. Секретов, личных тайн, недоговорок больше нет. То, что раньше говорилось шепотом, теперь произносится во весь голос. Не зря сказано у Матфея: «Зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме». Так ведь, дорогая? — обращаясь ко мне, он все же исподволь опасливо поглядывал на жену.

— Разумеется, так. — Ее ответный взгляд выражал покорность, которая обещала быть полной и окончательной в том случае, если ей все же позволят маленькое возращение: — Кроме одного, если можно так выразиться, секрета.

— Да, мы тебя слушаем, — сказал он и за себя, и за меня — за нас обоих.

— В России, Саша, назревают большие события...

— Да, мы об этом с тобой говорили, и не раз. Ты прибыла оттуда, из России, и поэтому я внимательно тебя слушал. Но все-таки не будем забывать, что мы сейчас в Индии и для нас величайшее событие — Мистерия — произойдет здесь, на берегу Ганга. Духовный центр мира переместился сюда.

— В России назревает ре-во-лю-ция. — Татьяна Федоровна вздохнула и с облегчением выдохнула: ей наконец удалось высказать то, что она так долго носила в себе, дожидаясь подходящего случая, и, как часто бывает, высказала именно тогда, когда случай был совсем неподходящий.

Но — высказала.

Параграф третий ОГОНЬКУ

— Что ж, революция — штука хорошая. Мы еще с Плехановым об этом говорили, и я всячески приветствовал и поддерживал движение пролетариата: «Марш, марш вперед, рабочий народ!»

— Саша, речь сейчас не об этом. Да, я бывала у царя и с ним откровенно о многом беседовала, но я знакома и с революционерами. Среди них есть не только бомбисты, но и мистики, близкие по убеждениям моему брату Борису Шлецеру. Борис дружил с Георгием Чулковым, выдвигавшим идею мистического анархизма с его неприятием действительности, пониманием ее как чего-то ложного и уродливого. От Чулкова же недалеко и до Луначарского, а там и вообще до большевиков. От Бориса же и мистические анархисты, и непосредственно большевики о тебе знают: он им многое рассказывал. Они осознают все величие твоей Мистерии и говорят о том, что для России она может стать таким же детонатором революционных процессов, как и война с Германией.

— Детонатором? — переспросил Скрыбин слегка насмешливо, со скользящей под пышными усами улыбкой. — Ты от Бориса набралась таких словечек?

— Саша, я и сама не так уж глупа... Не только гаммы на фортепиано разыгрываю.

— Прости. Я не сомневаюсь в твоём выдающемся уме.

— Ум как ум. Давай не будем меня обсуждать, тем более при посторонних... —

Она кольнула меня взглядом.

— Ну, и что детонатор? — Скрыбин немного заскучал.

— Сейчас, сейчас я все тебе объясню. — Татьяна Федоровна спешила воспользоваться его пробудившимся вниманием к этой теме. — Они даже приводят такой пример.

— Они? О ком ты?

— Эти радикально настроенные мистики, друзья моего брата Бориса. Мне доводилось слышать их разговоры с братом.

— А он у тебя тоже непримиримый радикал?

— Саша, не сбивай меня. Я и так собьюсь, будь спокоен.

— И какой же пример, в конце концов, они приводят?

— Пример?

— Да, да, ты изволила заговорить о каком-то примере.

— Вот видишь, я сбилась. Запуталась.

— И все же?

— По их словам, в России назревает революция...

— Ах, так это все-таки их слова, а не твои!

— ...И эта революция может вскоре у тебя спросить, как солдат, сбежавший с фронта, спрашивает у прохожих на улице: «Огоньку не найдется?»

— Революция попросит огоньку у Мистерии?

— Так мне объяснил Борис. Возможно, эти мистики вскоре отрядят к тебе кого-то для переговоров.

— Милости просим. Кого же именно?

— Я точно не знаю: Борис мне не сообщал. Но среди них некоторые даже считают, что с приближением Мистерии усиливается и обостряется классовая борьба.

Скрыбин задумчиво потерял бородку и решил, что у него нет оснований на это возразить.

— Что ж, в общем-то верно... Ну а у тебя какая роль в этом деле?

— Саша... — прежде чем продолжить, Татьяна Федоровна сочла уместным выдержать красноречивую паузу, — Саша, я ведь приехала сюда на их деньги... сама-то я нищая.

Скрыбину было неприятно это услышать, хотя ничего нового она ему не сказала.

— А что же царь? — спросил он раздраженно. — Мог бы назначить тебе пенсию как вдове умершего композитора... гм...

— Его Величество предпочли этим... как бы это выразиться, не заморачиваться.

— И ты?.. — Каждый его вопрос подводил ее под новое признание совершенных ошибок.

— Взяла предложенные революционерами деньги.

— Значит, ты не только нищая, но еще и, извини меня, побирушка...

— Не оскорбляй меня. Я осталась совсем без средств и приехала сюда в расчете на твою помощь.

— Ага, приехала, а тут Наталья Секерина. Понимаю...

— Саша, я выше любого соперничества. Я вообще ее избегаю, эту Наталью. Не желаю с ней соприкасаться. Как ты помнишь, я даже... — Татьяне Федоровне не хватало воздуха, но от волнения долго не удавалось вздохнуть, — я даже не захотела быть вам обузой в дороге и взяла билеты на другой поезд.

— Помню, помню, — сказал Скрябин так, словно его память оказалась вполне надежной, но совсем не к ее выгоде. — Ты еще возглашала какую-то жертву, которую собиралась принести.

— Жертву? — Татьяна Федоровна не сразу решила, к добру ли он поймал ее на этом слове, но, раз уж поймана, не стала высвобождаться из ловушки. — Теперь, когда Наталья Секерина нас покинула, я эту жертву принесу.

— Ну, и что же это за жертва, хотел бы я знать? — спросил он без всякого интереса.

Она же только и ждала этого вопроса, позволившего ей с нескрываемым торжеством ответить:

— Я стану твоей женой. Теперь уже законной.

Параграф четвертый СНОВА МАСКАРАД

Граф Арбенин как-то незаметно появился среди строителей Храма — внедрился, просочился, быстро попритерся, примелькался и слился со всеми. Рабочий как рабочий — из числа недавно нанятых. В чалме и набедренной повязке. Смуглый, мускулистый. С татуировкой на груди и языком, красным от бетеля. И такими же красными пузырьками слюны в уголках губ. От других не отличишь.

Но я воробей стреляный, и меня не мог обмануть этот маскарад. Я распознал в новом рабочем своего старого знакомого, тем более что тот мне однажды дал знак — не то чтобы подмигнул (хотя мог бы и подмигнуть), пробегая с мешком мусора по настилу, — но, пряча усмешку, задержал на мне многозначительный взгляд: вот, мол, я вновь перед вами. Признали? Как понадобится — свистните. А не понадобится, то и не свистите. Нечего зря-то свистеть.

Но — понадобился, и я позвал новоявленного рабочего в закуток для переговоров.

— Вот и свиделись... Вы из каких краев к нам пожаловали?

— Был в Петрограде. Получил еще кое-какие инструкции. Вам привет от нашего друга.

— От Валентина Анатольевича?

— Не будем всуе называть имена.

— Здесь нам некого бояться.

— Как знать, как знать. Английская разведка тоже не дремлет. Бдит.

— Вы имеете в виду... Киплинга?

— Я же просил вас: без имен. Наш друг благодарит вас за донесения, весьма подробные и обстоятельные.

— Стараюсь.

— Правда, — граф Арбенин не упустил повода добавить немного критики, — иногда вас, как водится, клонит в беллетристику. Наш друг просит вас не увлекаться и писать несколько... суше. Впрочем, он не настаивает.

— Благодарю. Что в Петербурге?

— В Петрограде, — поправил меня Арбенин. — Не сказать, чтобы тишь да гладь...

— Революционное брожение?

Он вскинул брови, услышав такие слова.

— Однако, я вижу, Татьяна Федоровна Шлецер вас обо всем известила...

— Об этом можно узнать и из газет. Да и, собственно, известила она не меня, а Скрябина. Я лишь находился рядом и невольно прислушивался к их разговору.

— Вы прислушивайтесь, прислушивайтесь... и к пению экзотических птиц на закате, и к шуму ветра, к вою шакалов и крикам обезьян, ведь вы беллетрист, вам по шта-

ту положено. Для вас это источник вдохновения, а беллетристу без вдохновения никак нельзя.

— Вы так заботитесь о моем вдохновении...

— Заботитесь, не имея понятия, что это такое — вдохновение, ха-ха. — Арбенин угадал продолжение моей фразы. — Как знать, как знать, милейший. Люди моей специальности, хоть они и не беллетристы, тоже временами испытывают потребность что-нибудь этакое сочинить, но только не на бумаге...

— В том, что вы большой сочинитель, я имел возможность убедиться.

— Ну, зачем же сразу — большой?.. Так, на подхвате. На вторых ролях... — Арбенин опустил глаза, что можно было принять за скромность, а можно и за проявление честолюбия. Чтобы не давать мне подобного выбора, он предпочел вернуться к своей прежней рекомендации: — Ну, и к разговорам тоже прислушивайтесь. Это всегда полезно. Газеты же... почитывайте, конечно, но меньше им верьте. Тем более по части всяких там брожений... У Татьяны Федоровны о них более подробные сведения. Полагайтесь на нее. Все-таки законная жена...

— Не моя же, а Скрябина...

— Это не столь важно. Главное — разговоры, а она на них падкая. Безумно их любит. Просто-таки обожает. Впрочем, не только она... Я вот недавно из разговоров узнал, что двое от вас сбежали. Я, собственно, и так об этом знал, поскольку принимал участие в подготовке их бегства, но приятно было убедиться, что мои хлопоты имели такой резонанс, что повсюду обсуждают это событие...

— Так это вы? Зачем? А я как раз хотел...

— Хотели просить меня, чтобы я разыскал беглецов? Вряд ли это возможно и тем более — целесообразно. Не зря же я старался, ткал, так сказать, романтический флер, ей нашептывал... а ему внушал...

— Но с какой целью?

— Просто из вдохновения. Вот вам и пример...

— У представителей вашей специальности так не бывает.

— Почему вам знать, как бывает, а как не бывает. Впрочем, цель у меня тоже была...

— Вот я и спрашиваю: какая?

— Известная. При распределении ролей получить не «кушать подано», а что-нибудь этакое, романтическое.

— Бросьте вы с этими ролями! Говорите по существу, как оно есть на самом деле.

— По существу? Существо же тут простенькое, незамысловатое, прозрачное, как стекло. Господин Скрябин Мистерию готовит, динамит закладывает, бикфордов шнур подводит, чтобы весь мир взорвать. Вот уже и Храм на берегу Ганга почти достроен. Купол белым мрамором сияет. Наша же цель — мир от взрыва спасти, а для этого — ослабить противника. Посеять в его рядах растерянность, сомнения, апатию, неверие в свои силы. Внушить ему мнительное чувство, что всюду предательство и измена. Как Милюков-то в своей недавней речи по поводу действий правительства — читали небось в газетах? Громыкнул с трибуны не хуже динамита: «Глупость или измена?»

— Читал, читал... — сказал я так, словно лучше было бы ничего подобного не читать.

Но Арбенин со мной не согласился:

— Хороша фраза — в историю попадет. Студенты на экзаменах будут ее приводить. И заметьте, обвинять правительство они будут не в глупости, а именно в измене. Профессора же им за это в зачетку — пять баллов! А мама, обрадованная успехами сына, за каждый балл ему — по рублику. Вот все и будут довольны.

— А при чем здесь Скрябин?

— Скрыбин-то? — Арбенин даже с азартом щелкнул пальцами, так ему было приятно ответить на этот вопрос. — А при том, что по поводу Скрыбина вашего с его сумасшедшей Мистерией тоже спросить бы: «Глупость или измена?» Боюсь, что при ответе выйдет разом и то и другое.

Параграф пятый

ЧЕГО НЕ МОГ УРАЗУМЕТЬ НИКОДИМ

Работы по возведению Храма близились к окончательному — решающему — завершению. Собственно, они и раньше близились, но окончательный срок вырисовывался смутно и неопределенно. Теперь же все складывалось так, что можно было с уверенностью поручиться: Храм полностью будет достроен 25 декабря 1916 года. А это не что иное, как Рождество и к тому же — день рождения Скрыбина.

Всем известно, что ему выпало именно на Рождество «развернуть ложесна» (почему-то он любил это выражение, хотя Татьяна Федоровна, не выносившая подобных архаизмов, его умоляла: «Саша, нельзя ли выразиться как-то иначе!») и огласить мир своим первым криком.

Это совпадение трех событий — Рождества, дня рождения и завершения строительства Храма для будущей Мистерии — Скрыбина чрезвычайно волновало. Он никак не мог успокоиться. Даже выпил залпом бокал шампанского, как некогда перед выходом на сцену, но и это не помогло.

Все ходил по комнате, морщина и сбивая ковровую дорожку. Подолгу смотрел в окно на купол Храма. В уме что-то подсчитывал, прикидывал, загибал пальцы. Возбужденно повторял, дыша на руки и поеживаясь, словно его лихорадило и знобило:

— Смотрите-ка... неделя, вторая, еще несколько дней, и выпадает Рождество!

— Рождество ты всегда любил, поскольку это твой день рождения, — подхватывала Татьяна Федоровна, желая сделать ему приятное.

Она тоже была в комнате, маленькая, изящная, с высокой прической и глубоко посаженными глазами фиалкового цвета. Была — и вместе со мной дожидалась вожделенного момента, когда он обратит на нас внимание, позволит вставить хотя бы словечко и к тому же, погруженный в свои мысли и подсчеты, его услышит.

Впрочем, сам я больше молчал, уступая право высказаться Татьяне Федоровне и лишь прислушиваясь (как учил меня граф Арбенин) к ее разговору со Скрыбиным. Ее это не смущало, поскольку к моему молчаливому присутствию Татьяна Федоровна постепенно привыкла.

А для Александра Николаевича я был не столько собеседником, сколько союзником; без меня было бы труднее удерживать присутствие Татьяны Федоровны в тех рамках, которые позволяли ему сохранять свою независимость даже тогда, когда приходилось идти на уступки и компромиссы.

— И этот же день падает на завершение всех работ по отделке Храма. Это символично! Ты не находишь? — спрашивал он, обращаясь к ней, но глядя при этом на меня.

— Конечно, милый! Я радуюсь вместе с тобой!

Татьяна Федоровна немного не так понимала его мысль, и Скрыбину приходилось ее слегка поправить, но при этом постараться не обидеть:

— Дело даже не в радости, а в осознании... ясном осознании того, что за этим стоит. Мне назначено то, чего никак не мог уразуметь евангельский Никодим, — родиться свыше, не от отца и матери, а от Духа. Достроен Храм — ведь это торжество Духа и вместе с тем знак к тому, что наступил срок Мистерии. Да, Всевышний прямо ука-

зует на это, иначе бы не было такого знаменательного совпадения. Но оно есть, и все мы тому свидетели.

— Есть! — снова с энтузиазмом подхватила Татьяна Федоровна, придавая восторженную — даже несколько экзальтированную — окраску его утверждению.

Скрябин невольно заразился ее экзальтацией.

— Иисус не зря говорил: «Посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве». Мистерия — наша жатва. Значит, надо приступать. Надо созывать народы!

— Я с тобой! — заверила она, опасаясь, что в суматохе созыва народов о ней могут и позабыть, и поэтому крепко прижимаясь к нему.

Александр Николаевич, думая о своем, несколько озадаченно посмотрел на нее.

— Но я, признаться, и в некоторой растерянности. — Он решил поделиться своими сомнениями.

— Отчего, мой друг?

Он сблизил ладони, а затем развел их в стороны и снова сблизил, словно этот жест понадобился ему, чтобы заполнить время, нужное для поиска слов, удовлетворяющих его по своему смыслу.

— Ну, провозгласим мы начало Мистерии, созовем эти народы, а где их всех размещать? Ведь Мистерия будет продолжаться семь дней, а это срок немалый. И на этот срок надо их обеспечить всем необходимым — по крайней мере, крышей над головой.

— Гостиницы! Мы построим гостиницы, много гостиниц, а если в них не хватит мест, то еще и палаточные городки, как в военных лагерях, — на ходу соображала и изобретала Татьяна Федоровна, полагаясь на то, что Скрябину как бывшему кадету надлежало знать о палаточных городках.

— Пожалуй, пожалуй. — Уклончиво согласившись с ней, Александр Николаевич (как бывший кадет) хотел что-то добавить к своему согласию, но воздержался, чтобы оно не обернулось с ее стороны возражениями, которые могли нахлынуть, если ему не удалось бы справиться с ними. — К тому же, прости меня, такая мелочь, в общем-то, пустяк, но не мешало бы позаботиться о еде. Еде для участников Мистерии, хотя это, может быть, смешно звучит. Но кушать всем хочется.

— Ты, конечно, прав... и ничего смешного в этом нет. Мы с тобой неисправимые идеалисты!

— Я же не могу, как Иисус, накормить толпу пятью хлебами и двумя рыбками.

Услышав, что Скрябин, по его признанию, чего-то не может, Татьяна Федоровна ринулась убеждать его в обратном:

— Можешь! Ты уже будешь не ты! Мистерия преобразит тебя, и ты тоже станешь творить чудеса! Ты же сам сказал, что Всевышний указывает, иначе не было бы такого знаменательного совпадения!

— Пожалуй, ты права. Но все-таки мне страшно. Я в какой-то растерянности...

— Я с тобой, милый! Я с тобой!

Параграф шестой

ФОТОГРАФИЯ С ЧЕРНЫМ КОТОМ

После этого возгласа разговор прервался, словно он отнял у Татьяны Федоровны все силы, нуждавшиеся в восстановлении, и она оба с надеждой посмотрели на меня, чтобы я произнес хотя бы слово, заполняя возникшую паузу. Но я лишь в смущении что-то пробормотал, извиняясь за свою молчаливость и ненаходчивость.

Тогда Александр Николаевич не нашел ничего лучшего, как сказать, правда без особой уверенности:

— Наверное, о начале наших действий следовало бы посоветоваться...

После этих слов силы Татьяны Федоровны мгновенно восстановились, и она спросила:

— С кем?

— Ну, хотя бы с Анни Безант. Она принимает участие в подготовке Мистерии. И в ней есть, что называется, практическая жилка.

— Неужели?

— А что тебя смущает? Анни Безант по натуре очень деятельная, хотя, казалось бы, парит в облаках и пишет книги, совершенно далекие от реальности. К тому же у нее такие связи в самых различных сферах...

— Каковы же результаты ее деятельности? Как пульсирует ее практическая жилка?

— Взять хотя бы то, что она создала могущественный орден «Звезда Востока» — с филиалами в разных странах. Это стоило немалых усилий.

— Вопрос, для чего она его создала? — Татьяна Федоровна понизила голос и опустила глаза. — Полагаешь, для поддержки тебя и твоей Мистерии?

— Может быть, отчасти... Во всяком случае, хотелось бы думать...

— Нет, мой милый. «Звезда Востока» призвана подготовить мир к приходу нового мессии — Джидду Кришнамурти, а ты для него — конкурент и соперник.

— Я не собираюсь с кем-то соперничать. И не нуждаюсь в этом. Я всегда был первым.

— Браво, браво! Ты не собираешься, так другие собираются и подходящего случая не упустят, будь уверен. Так что иногда тебе не мешало бы послушать меня, ведь не зря же твоя первая жена называла меня весталкой. И я тоже практичная. Я через многое прошла, добываясь права считаться твоей законной женой, и многое знаю. Могу одно сказать: Анни Безант тебе не советчица.

— Тогда, может быть, Наталья Валерьяновна, друг моей юности... — еще более неуверенно заметил Скрябин и виновато посмотрел на жену.

— А где она, этот друг? Или, может быть, лучше спросить, не она, а он? — Татьяна Федоровна позволила себе далеко идущий намек.

Скрябин предпочел не вдаваться в смысл намека.

— Мне обещали ее вернуть или хотя бы узнать, где она. — Александр Николаевич на меня не смотрел, но особым звучанием голоса обращался ко мне.

Татьяна Федоровна это чутко уловила, и мне достался ее слегка насмешливый взгляд все понимающей женщины.

— И это после ее измены с этим?! Нет, нет и нет! — Она невольно смягчила голос, почувствовав, что в нем проскальзывают слишком властные нотки, и произнесла вкрадчиво: — Ты помнишь ее фотографию с черным котом?

— Помню. У меня есть эта фотография. Там она совсем девочка.

— Было бы лучше, если бы ты ее разорвал на клочки и выбросил. Во всяком случае, по моему мнению. — Властные нотки стали снова брать верх.

— Это приказ?

— Мы не в Кадетском корпусе, чтобы я отдавала тебе приказы.

— Но почему я должен ее разорвать? Это было бы, по меньшей мере, странно и дико...

— Я сказала, было бы лучше... По той простой причине, что, согласно весьма распространенному мнению, ты и так, не выдержав искушения, поддался чарам демонических сил. Многие выходят из зала, когда исполняется твоя Сатаническая поэма или Девятая соната. А тут еще фотография с черным котом у тебя на столе. Черный кот — то же самое, что черный пудель. И ты должен это знать лучше меня, — сказала Татьяна Федоровна, ставя его перед выбором, что лучше, что хуже, а что имеет все шансы оказаться и вовсе безнадежно плохим.

Параграф седьмой

РЕЧЬ ИЛИ НЕЧТО БЛИЗКОЕ

Накануне Рождества и своего дня рождения (повторю, оба этих события совпали с торжеством по случаю полного завершения строительства Храма) Скрябин заперся у себя в комнате. Повернул на два оборота ключ и спрятал к себе в карман, тем самым убеждая себя, что теперь-то ему никто не помешает. Он зажег английскую настольную лампу с подставкой в виде буддийской ступы и долго сидел, никого не впуская. На стук в дверь он не отзывался или отзывался неопределенным мычанием, выражающим его недовольство: «М-м-м... занят, занят».

Все, кто хотел его увидеть, оставили эти попытки. А через некоторое время Александр Николаевич сам послал за мной слугу с запиской: «Голубчик, вы мне очень нужны. Не считите за труд меня посетить. Дверь для вас будет открыта».

Когда я поднялся к нему, Скрябин сидел за столом, что-то писал на высушенных пальмовых листьях (бумагу в лавку давно не завозили, а остатки продавали по бешеным ценам), соединенных сквозь проколы алым шнурком. Стуча пером по дну чернильницы, он лихорадочно что-то писал и тотчас все зачеркивал, комкал и выбрасывал в корзину, недовольный написанным.

Сухие пальмовые листья при этом крошились, и он сдувал розовую пыль со стола, не замечая, что она оседала на нижней части лица, словно бы скрытого под маской.

— Не получается. Все что-то не то... Чепуха какая-то. В прозе я еще более беспомощен, чем в стихах. Хотел с вами посоветоваться. Вы же у нас маститый и признанный писатель.

— Маститый скорее Киплинг... и уж тем более признанный.

— Ну, Киплинг... — Скрябин, увидев в отражении лаковой крышки письменного стола свой подбородок, стер с него пальмовую пыль, — его заботит одно: где у нас тут кладовые с секретным оружием.

— Могу я полюбопытствовать, что вы пишете?

— Не удивляйтесь, но я набрасываю мой завтрашний тост.

— Тост? Но это не речь в английском парламенте...

— Считайте, что речь или нечто близкое. Во всяком случае, я придаю ей большое значение. Собираюсь отдать ее в местные газеты, чтобы потом перепечатали центральные, а там и европейская пресса зашумела...

— Что же в вашей речи должно их привлечь?

— Вы меня спрашиваете? — Скрябин взглянул на меня так, словно в комнате еще кто-то был, кто мог бы его спросить, но он предпочитал услышать вопрос от меня. — Вот вам мой ответ. — Он поправил на шее галстук, чтобы всем своим обликом соответствовать торжественности момента. — В моей завтрашней речи я возвещаю начало Мистерии. Всевышний подал мне знак. Исполнился срок. Настало время для трубного гласа, созывающего народы в наш Храм. Вот смотрите... — Он еще туже затянул галстук и стал загибать пальцы на правой руке. — Завтра у нас двадцать пятое декабря... кладем на все оставшиеся приготовления — прокладку дорог, строительство гостиниц, пополнение запасов продовольствия — примерно месяцев десять. Я полагаю, что этого хватит. Таким образом, Мистерия должна начаться в самом конце октября, числа двадцать третьего, двадцать четвертого, а скорее — ровнехонько — двадцать пятого октября! Во всяком случае, я назначаю этот день. Я — Александр Скрябин, глашатай Мистерии, автор музыки ко всем семи дням. Вот об этом я и хочу во всеуслыша-

ние объявить в моей завтрашней речи. Теперь дело за малым — ее набросать хотя бы вчерне. Надеюсь, вы мне поможете.

— Если вы считаете меня достойным... с превеликим удовольствием, хотя, наверное, это не совсем верное слово. Лучше сказать: с осознанием важности моей миссии.

— Вы не иронизируете? — Скрыбин был мнителен по части иронии.

— Что вы! Как можно!

— А мне кажется, вы немного иронизируете... Впрочем, это не возбраняется. Мистерия допускает иронию, насмешки, дерзкие выпады и даже откровенную хулу. Все это ей лишь на благо.

— Уверю вас, я ничуть не иронизирую.

— В таком случае садитесь и слушайте, что я тут набросал.

Я с почтительной покорностью опустил на стул. Скрыбин начал читать, но тут в дверь тихонько — с робостью — постучали. Скрыбин снова недовольно замычал:

— Ну, кто еще там! Я занят! Неужели неясно!

Вошел слуга и, поминутно испуганно кланяясь, положил на стол запечатанный конверт.

— Что это? — Скрыбин откинулся в высоком кресле и с недоумением развел руками.

— Почтальон, — забормотал слуга. — Это принес почтальон и просил передать вам.

— Так, письмо... Откуда? — Он стал разглядывать штемпель. — Из Лондона... любопытно. От кого? — Он прочитал обратный адрес и воскликнул: — От Натальи Секериной. От Наташи! Она нашлась наконец! Нашлась! Какое счастье!

Параграф восьмой

УГОЩЕНИЕ ДЛЯ МАЛЕНЬКОЙ КОБРЫ

Скрыбин стал шарить по столу, отыскивая ножницы, но не утерпел и — вместо того чтобы разрезать — разорвал конверт по краю. Из него выпало несколько исписанных — голубоватых, полупрозрачных — листов бумаги. Александр Николаевич стал читать, увлекся, с головой ушел в письмо и напрочь забыл о моем присутствии. Я долго молчал, но затем все же кашлянул и спросил:

— Что там пишут Наталья Валерьяновна?

Скрыбин вздрогнул от звука моего голоса, дошедшего до него извне — при том, что все остальные голоса звучали внутри, заполняя его слух по мере того, как он вчитывался в письмо.

— Почему пишут? Что за намеки! Вздор! Это она пишет! Собственноручно!

— Простите, я не хотел...

— Ну, и напрасно вы не хотели! Надо хотеть, желать, жаждать! Весь космос жаждет, в конце концов! Боги жаждут, да и не только боги! Творчество — это желание!

— Я не хотел вас задеть... Что пишет Наталья Валерьяновна?

— Пишет, что они с Генри Вудом благополучно добрались до Лондона, ночуют в каких-то трущобах, а дни проводят — ха-ха! — под мостом.

— Мостом?

— Под Вестминстерским мостом! Теплое местечко! Альков! Будуар!

— Но ведь у Натальи Валерьяновны есть деньги...

— Вам же известно, что деньги она нам пожертвовала... на нужды Храма и будущей Мистерии. Вот кто настоящая идеалистка!

— Пожертвовала, но не все же... да и он, слава богу, не беден!

— Кто это — он? Какой еще он? — От раздражения Скрыбин забыл, что сам же минуту назад назвал Генри Вуда по имени. — Нет никаких оных!

— Простите, простите... — Я чувствовал, что никак не могу попасть в тон.

Александр Николаевич слегка успокоился, принимая мои извинения так, словно и сам был готов передо мной извиняться, там более что я не был ни в чем виноват.

— Видимо, им так нравится — под мостом-то. Картинно! Однако тут в конце письма еще уведомление, что бандеролью она мне шлет нотную бумагу, а также несколько чистых блокнотов. Надо сказать, весьма кстати. В один из блокнотов по его получении мы перепишем мою завтрашнюю речь... Ну, и еще тут, конечно же, длинная исповедь... вам, наверное, неинтересно.

— На ваше усмотрение...

Скрябин спрятал листки в конверт, но затем снова извлек их, показывая, что своим усмотрением он отвечает на мой невысказанный интерес.

— Наталья Валерьяновна здесь в письме кается...

— Из-за своего побега?

— Кается и слезно молит о прощении. Пишет, что эта вспыхнувшая любовь к Генри Вуду... что-то необъяснимое, она сама не знает, как все произошло... какое-то наваждение! Ну, в общем, женское... Поздравляет меня с завтрашним Рождеством и днем рождения... спрашивает, достроен ли Храм, закончена ли отделка, убраны ли бамбуковые леса, вынесен ли мусор...

— Даже такие мелочи...

— Беспокоится, не забывают ли выставлять угощение для маленькой кобры, которая повадилась у нас столоваться и каждый день в одно и то же время к нам приползает. При этом в знак благодарности приносит нам дохлых мышей. И еще здесь в письме есть подробное рассуждение о том, какой будет будущая жизнь... ну, после дематериализации.

— Разве мы можем это знать!

— Тем не менее воображение рисует ей картины всеобщего счастья, озаренных небесным светом лиц, смеха, улыбок, восторженных возгласов. Словом, «жизни будущего века».

— А Наталья Валерьяновна не задается вопросом, как на земле смогут разместиться все воскресшие из мертвых?

— Ну, это Федоров, Федоров! Колонизация космоса, расселение на других планетах... Наташа об этом кое-что читала. Под Вестминстерским мостом-то самое оно почитать такое в обнимку с милым другом... Но почему-то ей кажется, что в космос она полетит на воздушном шаре!

— Как это по-женски!..

— И все-таки я ей благодарен за письмо. Ну а наваждение и всякие там чары... Я часом думаю: уж не Арбенин ли ваш постарался... Он ведь большой мастак на дьявольские козни и внушения... Меня обвиняют, что я заигрываю с темными силами, а настоящий игрун-то вот он... Я его раскусил. Я чувствую, что он где-то здесь, рядом. То же ждет своего часа. — Скрябин погасил настольную лампу, словно темнота более соответствовала выжидающему присутствию неподалеку от него графа Арбенина.

Параграф девятый

БЛАГОРАЗУМНОЕ МОЛЧАНИЕ

После шумного празднования Рождества и дня рождения, после тостов, поздравлений, беспорядочной пальбы из откупориваемых бутылок шампанского с вьющимся над горлышком дымком и произнесенной Скрябиным речи, возвестившей начало Мистерии, наш маленький народец разделился надвое.

Кто-то отправился украшать Храм цветочными гирляндами, заготовленными на этот случай, а кто-то остался за столом, чтобы попросту поговорить — без речей и тостов, тем более что просочились слухи о полученном Скрябиным письме. Особенно хотелось пошептаться теософствующим дамам, но им мешал Александр Николаевич, которого они обожали, хотя при этом слегка побаивались и стеснялись. Почувствовав это, Скрябин намеренно не покидал стола, чтобы воспрепятствовать муссированию слухов, пережевыванию косточек (он этого терпеть не мог) и служить несколько укоризненным напоминанием о главном содержании вечера.

Тут заморосил дождь. Поэтому с гирляндами решили повременить, чтобы они не намокли, и общество укрылось в боковых приделах Храма. Но оказалось, что там прячутся от дождя змеи, и чтобы их не тревожить, все отправились гулять по аллее, накрывшись зонтами. Скрябин это видел в открытое окно — видел и слышал, как его зовут: «Александр Николаевич, присоединяйтесь к нам. Такой чудесный воздух!»

Скрябин в ответ с принужденной улыбкой помахал рукой, тем самым давая ложное обещание, что присоединится к гуляющим позже (он панически боялся простудиться). Анни Безант поступила решительнее. Она закрыла окно, отвела именинника в сторону и попросила уделить ей минутку наедине: «Сделайте одолжение, господин композитор...»

Скрябин, разумеется, согласился. Хотя было заметно, что ему хотелось еще посидеть за столом и — пусть это выглядит несколько нескромно — насладиться успехом своей речи. Имениннику это простительно. Ведь произнесенная речь совсем недавно произвела на всех ошеломляющее впечатление — при том, что он ни слова не сказал о себе: пусть его только попробуют после этого упрекнуть в эгоцентризме. Нет, эти упреки отпадут сами собой, поскольку все свое красноречие он посвятил Мистерии.

И хотя под конец застолья впечатление от речи несколько улеглось и сгладилось, Александр Николаевич надеялся своим присутствием за столом оживить его.

Он и меня привлекал как союзника на свою сторону, поскольку я сидел рядом и к тому же был причастен к его успеху, раз уж вместе с ним правил, шлифовал и отделявал речь (вчера мы просидели до полуночи). Поэтому перед тем, как уединиться с Анни Безант, Александр Николаевич наклонился ко мне и, уколов бородкой, шепнул:

— Побудьте здесь... потом расскажете, что еще говорили за столом. Это может быть интересно. — Но затем он вдруг передумал и уже на пороге комнаты позвал меня с собой: — А впрочем, пойдемте... вместе так вместе.

Анни Безант не стала возражать против моего участия в разговоре, тем более что вскоре, по ее словам, должен был появиться еще один участник — Джидду Кришнамурти.

«Так вот о ком она собралась говорить!» — подумал я, но благоразумно промолчал и вслух ничего не произнес.

Параграф десятый **ХОТЕТЬ ИЛИ НАМЕРЕВАТЬСЯ**

Мы отыскивали свободную комнату, где из мебели был всего один стул, стоявший (торчавший) посередине. Остальные стулья, а главное, раздвижной стол на английский манер, инкрустированный в стиле мастера Буля, вынесли и соединили встык с другими столами. К тому же накрыли их общей скатертью, чтобы всем собравшимся на празднование дня рождения хватило места.

Одинокий стул был в том же стиле, хотя инкрустация кое-где выпала и осыпалась. Скрябин галантно уступил его Анни Безант, но та не отважилась сесть и лишь опер-

лась о его спинку. Стул зашатался, поскольку стоял неровно, и она предпочла вообще к нему не прикасаться.

— Ничего, постоим. Так даже лучше, чтобы долго не засиживаться. Во всяком случае, начнем наш разговор стоя, а там посмотрим...

— Как вам будет угодно. — Скрябин и впрямь не хотел засиживаться, с некоторым нетерпением посматривая на дверь. — Итак, о чем же, собственно, разговор?

— Я слышала, вы получили письмо... — сухо заметила Анни Безант, выражая пренебрежение и к письму, и к витавшим вокруг него слухам.

— Да, мне написала Наталья Валерьяновна. С ней все в порядке. Она в Лондоне. Давайте об этом не будем...

— Это личное, я понимаю... Я не затем вас позвала, чтобы назойливо досаждать вам вопросами. Я хотела... я намеревалась... не знаю, как лучше сказать, — хотела или намеревалась. — Она улыбнулась скользящей, беглой улыбкой, змейкой проскользнувшей по губам.

Этой улыбкой Анни Безант то ли скрывала, то ли, наоборот, подчеркивала и давала почувствовать свое волнение, даже некоторую нервозность, всегда охватывавшую ее перед тем, как высказать что-то важное и значительное.

— Говорите, как вам удобнее...

— Хорошо, я намеревалась... нет, все же я хотела вас спросить, как вы собираетесь оповестить мир о Мистерии. Ваша речь об этом умалчивает.

— Благодарю, что вы задали мне этот вопрос. Я как раз хотел... нет, намеревался, — Скрябин показывал, что из-за охватившего его волнения невольно заразился ее затруднениями в выборе слов, — намеревался с вами об этом потолковать. Для начала я попробую поместить мою речь в газетах. Ну а дальше... Признаться, у меня еще нет сложившегося плана, и любой ваш совет...

— Боюсь, что мои советы будут пресекаться одной властной инстанцией...

— Ах, вам это известно!.. Обещаю, что с этой инстанцией мы как-нибудь поладим, обречем взаимовыгодный компромисс.

— Ловлю вас на слове. — Анни Безант шутиливо погрозила ему пальцем. — Вы сказали: взаимовыгодный. Значит, взаимная выгода договаривающихся сторон вам не чужда.

— Мне многое не чуждо... А почему, собственно, вы об этом?..

— Почему я упомянула? Нетрудно догадаться, что я тоже хочу... намерена... нет, все же хочу призвать вас к взаимовыгодному сотрудничеству. С этой целью я вас сюда и позвала. Причем позвала вместе с вашим верным помощником... чуть было не сказала: телохранителем. — Мадам Безант кольнула меня острым взглядом. — Ваш помощник засвидетельствует нашу договоренность. Устную, разумеется... никакой хартии мы подписывать не будем. Вы готовы быть нашим свидетелем? — обратилась она ко мне, и я всем своим видом изобразил почтительное согласие.

— Мне кажется, что мы и так сотрудничаем во имя высшей цели, и я вам благодарен за поддержку, — добавил Скрябин.

— Ну, это, простите меня, дипломатическая риторика, ведь ваш отец дипломат...

— Отец скончался в четырнадцатом году...

— ...И при этом остался дипломатом, честь ему и хвала, и всяческое признание потомков. Он заслужил. — Анни Безант косвенно давала понять, что и у нее есть некие заслуги. — Но я сейчас не о дипломатии, а о более насущных задачах — о том, как оповестить мир о начале Мистерии и созвать народы в Храм. У меня есть что вам предложить в этом плане.

— Буду рад услышать...

— Искренне рады, или это с вашей стороны лишь светская любезность?
 — Искренность не требует подтверждения. Она либо есть, либо ее нет, — ответил я за Скрыбина так, словно не раз это слышал от него самого.

Параграф одиннадцатый ПРИВИЛЕГИИ ПО МАТФЕЮ И ЖЕРТВА ПО МАДАМ БЕЗАНТ

— Причем, заметьте, я предлагаю конкретный и весьма эффективный способ действий. Он прост. — Анни Безант хотела все-таки сесть, но вовремя удержалась: стул Буля по-прежнему не внушал ей доверия. — Вам, конечно, известно о существовании ордена «Звезда Востока». Орден создан мною в одиннадцатом году. Его филиалы разбросаны по всему свету. Ордену присуща строжайшая исполнительская дисциплина. Все приказы из центра исполняются неукоснительно. А теперь вообразите: час пробил, в филиалы поступает сигнал к немедленному действию, и они с молниеносной быстротой распространяют весть о приближающейся Мистерии по всем странам.

— Блестяще! — Скрыбин воодушевился. — Признаться, я об этом не думал. Но в чем ваша выгода, раз уж вы о ней упомянули?

— Естественно, способствовать благу всего человечества. Потрудиться во имя этого блага.

— Вижу, что и вам не чужда риторика. Однако я спросил о выгоде...

— Ну, хорошо... — великодушно снизошла она. — Если вы настаиваете, моя выгода в том, что я ставлю вам условие.

— Простите, я не расслышал. Условие?

— Вы отлично все расслышали. Да, условие. В сложившихся обстоятельствах я имею на это право, поскольку как-никак вы зависимая сторона.

— Какое же ваше условие?

— Какое именно условие, я скажу через минуту, когда сюда войдет мой воспитанник Джидду. Зная, что в комнате нет мебели, я послала его за стульями. Все-таки мне в моем возрасте стоять трудновато. Я бы предпочла все же сесть. Сейчас он их принесет, эти стулья... — Действительно, дверь распахнулась, и Кришнамурти внес стулья. Мадам Безант устроилась на одном из них. — Слава богу, теперь это надежно. Так о чем мы?..

— Вы собирались ставить условие...

— Благодарю, что напомнили. Вот вам мое условие. Вы по-прежнему возглавляете музыкальную часть Мистерии. Вам принадлежит руководство постановочной частью, вы дирижируете оркестром, хором, танцами и прочее, а символом и, так сказать, олицетворением Мистерии становится Джидду Кришнамурти.

— Мне это напоминает евангельскую сцену, где мать Иоанна прочит своих сыновей на то, чтобы в Царстве Небесном им достались почетные места и они воссели по правую и по левую сторону от Иисуса, — не выдержал я.

— Ах, это Матфей, глава двадцатая, если я не ошибаюсь! Видите, я неплохо знаю Евангелие и могу вас заверить, что ничего общего между моим условием и просьбой матери сыновей Зеведеевых нет. Она просит о привилегиях, а я — о жертве. Ведь для Джидду стать символом и олицетворением Мистерии — это жертва, требующая не просто огромных затрат душевных сил, но, по существу, всей жизни. Так ведь, Джидду? Ты со мной согласен?

— Да, это именно так. Я сознаю... — Кришнамурти не сажился, а скромно стоял позади стула, держась за высокую спинку, как паж, сопровождающий свою госпожу.

— Теперь очередь за вами, Александр Николаевич. Вы должны согласиться. — Мадам Безант поудобнее устроилась на стуле и расправила складки платья, готовая ждать ровно столько, сколько потребуется Скрыбину, чтобы дать ей ответ.

Причем ответ положительный, иначе бы она ждать не стала.

— Но ко мне должны приехать из России, — произнес Скрыбин извиняющимся тоном — так, словно это не было целиком условием, но было половиной условия, которое он со своей стороны мог выдвинуть.

— Из этой ужасной России? Кто и зачем?

— Кто именно, я еще не знаю, но... должны. Во всяком случае, мне так обещано...

При этом Александр Николаевич посмотрел на меня, как будто именно я был держателем второй половины условия.

Параграф двенадцатый ТАЙНЫЙ ДРУГ РЕВОЛЮЦИИ

— Ну а теперь давайте прикинем, когда нам ждать посланца из России, — сказал Скрыбин, когда Анни Безант и Кришнамурти нас покинули и мы остались вдвоем в той же комнате. — После нашего разговора с мадам и поставленного ею условия это становится особенно важным и актуальным.

— Татьяна Федоровна вам называла какие-то сроки? Ведь это она вас известила...

— Татьяна Федоровна известила меня обо всем, кроме конкретных сроков. Думаю, они попросту не были ей известны, и она не могла бы их назвать при всем желании. Но она мне шепнула... — Скрыбин слегка понизил голос, чтобы он хотя бы чуть-чуть напоминал доверительный шепот, услышанный им от жены, — шепнула, что один из революционеров специально бежал из ссылки, чтобы любыми путями добраться до Индии и переговорить со мной о Мистерии.

— Вот как? О Мистерии, а не об экспроприации банков?

— Да, именно о Мистерии, насколько она может послужить революции.

— Имя? — спросил я слишком коротко, чем вынудил Александра Николаевича уточнить, чтобы не отвечать на вопрос, который не был ему задан.

— Имя этого революционера? Она не назвала, но я о нем кое-что разузнал.

— От кого, позвольте узнать? — Я привык ценить источник тех или иных сведений не меньше их содержания.

— Все-то вам расскажи! Ну, допустим, от одного из персонажей драмы Лермонтова «Маскарад»... — Скрыбин умел уклончивой фразой выразить самую суть.

— Как? Вы вступили в переговоры с графом Арбениным?

Тут он сменил тон и заговорил голосом, уставшим от шуток:

— Послушайте, хватит! Хватит держать меня в неведении! Я давно обо всем догадался! Подчеркиваю, решительно обо всем!

— Ну, это как раз вселяет некую надежду. Тот, кто считает себя всеведущим, кое-чего наверняка не знает, а может быть, и самого главного.

— Тешьте, тешьте себя вашими надеждами, но графа Арбенина я разоблачил, что не помешало нам, однако, очень мило побеседовать за поленицей дров.

— Каких еще дров? Где вы здесь нашли дрова? Мы же не в Рязанской губернии...

— Это я так, фигурально...

— Не в укор будь сказано, вы стали несколько развязны в выражениях.

— А вы слишком назидательны, как мои бывшие лефортовские наставники.

— Не будем считаться. Всему причиной то, что мы с вами слишком сблизились за последнее время, коротко сошлись и даже подружились.

- Возможно. Вы мне чем-то симпатичны.
- Благодарю. Итак, ваши разоблачения не помешали вам побеседовать с графом...
- Однако это так же не мешает ему при необходимости отправить меня на тот свет, где я, по мнению многих, уже побывал, как Данте в аду.
- Вы слишком часто вспоминаете о Данте.
- Кумир-с. Можно сказать, любимчик. Мистерия ведь тоже своего рода божественная комедия...
- Ваша беседа с Арбениным делает вам честь, а на меня, грешного, навлекает укоризны, поскольку сценарием предусмотрено, чтобы граф сопровождал вас незримо, а вы изволили... Однако оставим это. Мы слишком далеко зашли. И что же сообщил вам Арбенин?
- Он подтвердил, что оный посланец бежал с кафедры... простите, оговорился. С каторги! Сегодня, после успеха моей речи, я несколько возбужден. Конечно, с каторги, хотя и кафедра ему подошла бы, поскольку он весьма образован, исключительно много читает, владеет языками, способен даже прочесть в оригинале Платона. Ну, не свободно, конечно, но страничку-другую со словарем, пожалуй, одолеет. Имеет обширные связи в различных сферах — от коммерческих и криминальных до оккультных. В частности, знаком с небезызвестным Гурджиевым. А главное, вообще склонен к эзотерике, хотя эту свою склонность тщательно скрывает, маскирует, держит в секрете и уж никак не афиширует. Но иногда она неким образом обнаруживается. Вот-с! Тайное становится явным.
- Где он учился?
- Точно не скажу, но уж точно не в Сорбонне и не в Оксфорде. К тому же учебное заведение он не окончил. Ушел в революцию. Поэтому в основном занимался самообразованием.
- Как же такой кафедральный старатель попал на каторгу?
- Революционер, подпольщик... ему прямая дорога.
- Столько интересных подробностей, и при этом вы не знаете имени!
- У него, как у каждого революционера, было множество псевдонимов, а вот имя... нет, Арбенин не сообщил, да я особо и не настаивал. Сам назовется, когда к нам прибудет. И о себе расскажет, а мы послушаем, как капитан шхуны, спасшей будущего графа Монте-Кристо, слушал его байки о каком-то там сомнительном кораблекрушении, пока не понял, что он беглый... нет, не каторжник, а узник замка Иф. Простите, в детстве увлекался Дюма.
- Нет, вы меня простите. К чему вы это мне рассказали?
- А к тому, что справедливая месть — двигатель всех революций, а капитал — не только их заклятый враг, но и тайный друг, — сказал Скрябин с тою назидательностью, в которой только что упрекал меня.
- Тогда уж друг не только революции, но и Мистерии... — добавил я.
- А это одно и то же, — сказал Скрябин так, словно после моей фразы ничего другого сказать не мог.

ДОНЕСЕНИЕ ВОСЬМОЕ

Параграф первый

ЕВРОПЕЕЦ ДОЛЖЕН, А ТВОРЕЦ МИСТЕРИИ — ТЕМ БОЛЕЕ

Недели через две после этого разговора нас вызвали в местную полицию. Повестка была выписана по-английски — на имя Скрябина. При этом в приписке на языке

хинди, переведенной для нас Кришнамурти, указывалось, что не возбраняется присутствие сопровождающих лиц. Чуть ниже на языке гуджарати было помечено, что сопровождающим лицам позволено участвовать в даче показаний, но сообщаемые ими сведения должны быть исключительно правдивы и достоверны.

— Интересно, перед тем, как дать показания, нас заставят поклясться на Библии, Коране или «Махабхарате»? — любопытствовал Скрыбин, разглядывая на свет повестку, словно там могли быть наведенные водяными знаками тайные шифры или нечто в этом роде (всякую тайнопись он обожал).

Киплинг, уже второй день собиравшийся в дорогу и укладывавший свои чемоданы, с цинизмом его поправлял:

— Нет-нет, на «Камасутре», господин Скрыбин. Вас с вашим эротизмом заставят принести клятву на «Камасутре». Вот истинно священная книга для подобных вам господам!

— Не кощунствуйте, дорогой Редьярд.

— А я и не кощунствую. Для Индии «Камасутра» — это и Библия, и Коран, вместе взятые. Чувственная нация!

— Однако вы нас покидаете... — Скрыбин сочувственно следил за тем, что чемоданы Киплинга приходится не только укладывать, но еще уминать и утрясать, чтобы в них побольше вместились.

— Да, пора, пора, знаете ли... соскучился по дому, по моему кабинету с письменным столом. О, какой у меня письменный стол — Вестминстер в миниатюре!

— А Вестминстерский мост он, часом, не напоминает?

— Об этом соизвольте спросить вашего Генри Вуда.

— Соизволил бы, но он от нас далече. Жаль... жаль... — посетовал Скрыбин, глядя, с каким особым усердием Киплинг уминает самый большой чемодан из крокодиловой кожи.

— Кого вам жаль? Этого крокодила? Ручаюсь, он бы вас не пожалел.

— Крокодила, конечно, тоже жаль, но больше всего грустно оттого, что мы расстаемся.

— Домой, домой... Мы, англичане, домовитая нация. Да и надоел порядком этот проклятый север.

— Значит, ваш писательский авторитет в полиции нам не поможет.

— Вам хватит и композиторского. К тому же среди вас и помимо меня достаточно авторитетов.

— Что ж, спасибо вам за компанию. Правда, жаль и того, что вы не дождетесь Мистерии, чтобы потом описать ее в каком-нибудь романе.

— Насколько могу судить, с романами и прочими глупостями после Мистерии будет покончено. Останется только музыка... Уж ей-то вы как демиург наверняка сделаете поблажку. Позвольте еще раз взглянуть на повестку. Она показалась мне несколько странной. Во всяком случае, у нас в Бомбее такие повестки из полиции не присылают.

Скрыбин протянул ему повестку с небрежным спокойствием, которое означало: классик английской прозы вряд ли вычитает из нее нечто отличное от того, что вычитал он сам. Киплинг надел свои круглые очки в тонкой металлической оправе, почти незаметные под слишком густыми бровями и лишь поблескивающие ополовиненными стеклами.

Он внимательно осмотрел повестку с обеих сторон, даже поднес к носу, словно она могла издавать запах, неким косвенным образом характеризующий ее содержание.

Затем спокойно, с полной уверенностью в правильности своих действий достал спичечный коробок с этикеткой известной фабрики и потряс им над ухом, прислушиваясь к наличию спичек. После этого притворно зевнул, чиркнул спичкой с самой большой головкой и, когда пламя разгорелось, поднес к повестке.

Повестка мигом занялась и превратилась в пепел.

— Вуаля, как склонны выражаться наши союзники французы! А как говорят наши враги немцы, гемахт, дело сделано!

— Редьярд, что за шутки! — Скрябин с осуждением посмотрел на меня (я был в комнате и, как всегда, переводил, хотя собеседники и без перевода друг друга отлично понимали), если не напрямую, то косвенно адресуя это осуждение Кипплингу.

Тот невозмутимо произнес, стряхивая с рук пепел:

— Вы европеец и должны себя уважать. Ничего, пришлют еще одну. Являться по первой повестке вам, творцу Мистерии, не подобает — дурной тон.

Параграф второй НЕ ПОХОЖ НА ФОТОГРАФИЮ

Через несколько дней нам и впрямь прислали вторую повестку, такую же странную, как и первая — с аккуратной припиской, что разрешается присутствие сопровождающих лиц (при наличии у них документов и отсутствии холодного или огнестрельного оружия). При этом оговаривалось, что имена этих сопровождающих должны быть заранее сообщены по указанному телефону, чтобы на них заблаговременно выписали пропуска.

В нижнем правом углу повестки стояла подпись комиссара полиции — господина Мохиндера Ачарья, начертанная по-английски, но очень разборчиво, даже с заботой о каллиграфии. Это говорило о несомненном влиянии ислама, хотя и в самой Индии каллиграфия подчас вызывала суеверное почитание. Она даже возводилась в культ, может быть, не такой, как у китайцев, но все же достаточно благоговейный и утонченный...

Больше же всего нас удивило то, что к повестке была приклеена фотография господина Ачарь. Причем особым, накрепко схватывающим клеем (не отодрать). Это показалось нам совсем уж вычурным и экстравагантным, даже диковатым, тем более что фотография была больше обычных служебных фотографий, к тому же модельной выделки, с виньеткой, словно из модного ателье.

Но затем — с подсказки нашего Джидду — мы уловили в этом прозрачный намек. Из-за приклеенной фотографии повестка смахивала на подписной лист пожертвованных по случаю назначения Мохиндера Ачарья на эту — не сказать, чтоб очень уж высокую, но весьма почетную должность.

Мы расспросили наших соседей, осведомленных по части здешней жизни, обычаев и нравов, и они нам поведали, что комиссар полиции действительно недавно назначен и по этому случаю ждет от посетителей пусть и не слишком дорогих, но все же подарков. Поэтому и мы приготовили для него подношение, о коем можно было бы сказать: так себе, пустячок, купленный в антикварной лавке, но из числа приятных. Перстень с миниатюрным изображением отпечатка следа Будды. Реликвия!

Впрочем, я поторопился назвать лавку антикварной, поскольку таких лавок здесь, собственно, нет. Куда ни войдешь, там в одну кучу свалены позднейших времен поделки, безвкусная мишура и изделия древности, коим нет цены. Но среди обычных покупателей нет также и сведущих экспертов, способных отличить безвкусицу от утончен-

ных образцов древних ремесел. Особенно это касается культовой утвари, где царит полнейшее смешение эпох, благородной древности и бесстыжей современности.

Поэтому эксперты из европейских музеев могли бы здесь обогатиться. Но они предпочитают сидеть у себя дома на мягких диванах: им нет никакой охоты путешествовать и тем более рыться в кучах хлама, разглядывая на свет фигурки бесчисленных будд и бодхисатв, смахивая с них кисточкой пыль и сверяясь по каталогам об их истинной ценности.

Однако я немного отвлекся...

В назначенный срок мы явились — пусть и не всем нашим народцем, к тому же без Киплинга, но все же достаточно представительной когортой: Скрябин, я, Анни Безант, Джидду Кришнамурти и две теософствующие дамы, увязавшиеся следом, — мадам Софи и мадам Аннет.

Господин Ачарья сразу выпроводил из кабинета толпившихся там сотрудников, одетых по форме, но с дополнением самых невообразимых деталей из домашнего гардероба: поясов, тюрбанов, неких подобию вышитых платков и шарфов.

Сам господин Ачарья носил китель с бренденбургами и розой в петлице, которая уже начинала увядать и осыпаться. Лепестки розы краснели на полу и прилипали к подошвам ботинок. Мы старались не наступать на них, но хозяин кабинета позволил нам особо не церемониться, объяснив это тем, что живущий здесь котенок по своей особой разборчивости предпочитает мочиться только на лепестки роз, сметенных в угол.

И еще одна странность нам бросилась в глаза. Комиссар Ачарья оказался совершенно не похож на свою фотографию, приклеенную к повестке. На фотографии он был с усами, не слишком ухоженной и переходящей в небритость бородкой и шапкой густых, растрепанных волос. И вообще смахивал скорее на грузина, чем на правоверного индуса или мусульманина, поскольку в вырезе рубашки угадывалась цепочка от креста и глаза были шальные, как у монаха-расстриги. Причем поясное изображение не скрывало его худобы и довольно высокого роста.

В жизни же господин Ачарья предстал перед нами низеньким толстячком с толстыми губами, маленькими раковинами ушей, завернутых, словно у младенца, без бороды и усов, чем настолько нас озадачил, что мы невольно оглядывались по сторонам: может быть, в кабинете обнаружится еще один комиссар Ачарья, более соответствующий своему изображению.

Хозяин кабинета угадал наши сомнения.

— Вы, вероятно, удивлены, что на фотографии я совсем иной, чем в жизни. Но это не моя фотография. Пока не спрашивайте меня, чья именно. Ваше недоумение вскоре разрешится по воле Аллаха, Будды, всех богов Индии, а также ее хозяев англичан, которые, может быть, и есть истинные боги. Вы согласны?

— Мы чтим английскую нацию, а также Великобританию, владычицу морей, — сказала мадам Софи, поднимая руку, как на уроке поднимают руки гимназистки, желающие понравиться учителю.

— Похвально, весьма похвально... — Ее ответ убедил господина Ачарью в нашей лояльности, вернее, убедил бы, если б к мнению мадам Софи присоединился и сам Скрябин. — Вы согласны, дорогой композитор?

— Среди англичан у меня много друзей... Но в Лондоне у меня под носом образовался фурункул, который, простите, свел меня в могилу. Надеюсь, вас это не смутит.

— В могилу? И где она, ваша могила, позвольте спросить?

— В Новодевичьем монастыре...

— А этот монастырь?

— Далеко отсюда, в России...

— Каким же образом мы имеем счастье вас лицезреть? Вы шутник, господин Скрябин! Вам бы выступать в бродячем цирке или... — хозяин кабинета старался подыскать, где бы еще могла пригодиться склонность Скрябина к подобным рискованным шуткам. — Садитесь, господа. Мне доставляет удовольствие беседа со столь остроумными людьми.

Параграф третий ГАНДИ, СМУТЬЯН И ПОДСТРЕКАТЕЛЬ

Он усадил нас на стулья, предварительно обмахнув с них пыль, скопившуюся потому, что большинство посетителей кабинета в присутствии начальства стояли, а не сидели. Сам господин комиссар занял место за столом — так что лампа высвечивала лишь его подбородок, а вся остальная часть лица была в тени, словно скрытая под маской.

Похоже, он готовился нас допросить, но почему-то медлил с этим, затягивал вознившую паузу, словно ожидая от нас чего-то.

Мы тоже молчали. Ожидание неприятно затягивалось. Тут мы спохватились, что вовремя не поднесли ему подарок.

— Поздравляем... поздравляем со вступлением в должность. Вот позвольте вам преподнести...

Господин Ачарья расплылся в улыбке, и его толстые губы стали похожи на розовый бутон распустившегося цветка. Он тотчас надел перстень на палец и долго им любовался, разглядывая со всех сторон.

— Благодарю. Много наслышан. Давно искал случая познакомиться. Мы, полицейские чины, тоже не чужды искусства. Сам я в детстве учился играть на пианино. Однажды даже выступил на спичечной фабрике. К тому же из наших окон виден возведенный вами, и за столь короткий срок, Храм... впечатляет! Очень впечатляет!

— Нам приятно это слышать, — ответила за всех та же мадам Софи, самая бойкая на язык.

— А мне приятно вам это сказать. К тому же мне лестно побеседовать с людьми, о которых пишут все газеты. Судя по прессе, — комиссар Ачарья повел красивыми глазами, какие часто бывают у толстяков, в сторону свежих газет, сложенных на углу стола, — господин Скрябин произнес недавно замечательную речь. Я вот, увы, не оратор, а господин... простите, память дырявая, все время забываю ваше имя...

— Скрябин...

— Да, да, господин Скрябин... замечательную...

— Речь просто восхитительную! — встряла мадам Аннет, по натуре молчаливая, но не позволявшая подруге по очкам выйти вперед.

— И что же в этой речи? — спросил комиссар, словно ему хотелось лично от нас услышать то, о чем писали газеты.

— Собственно, речь вполне невинная... так... ни о чем. — Мадам Софи смекнула, что не везде стоит быть откровенной и выкладывать чистую правду.

В Скрябине зыграло честолюбие.

— Ни о чем я бы говорить не стал. Не так воспитан, извините. Не тому меня учили. Если я произношу речи, то — обо всем!

— Так-так, господин Скрябин. А конкретнее, по существу?

— Я посвятил свою речь Мистерии на конец времен...

— А не оправдываете ли вы в вашей речи неизвестного смутьяна Ганди? Не подерживаете ли сношения с ним и его сообщниками?

Тут все мы, включая Александра Николаевича, слегка оторопели.

— Вы имеете в виду махатму Ганди?

— Для кого-то он, положим, махатма, а для нас, представителей власти, обыкновенный смутьян и подстрекатель.

— Нет, не поддерживаю. — Скрыбин вовремя осознал, как ему следует себя вести в такой обстановке: отказ от поддержки грозил ему меньшими неприятностями, чем поддержка.

— А как же ваше утверждение, что вы, как и мадам Блаватская, во всем следуете внушениям махатм? В одном из интервью вы сами признались...

— Те махатмы далеке, — Скрыбин махнул рукой, обозначая самые дальние горизонты, — и к политике никакого отношения не имеют.

— «Далеке» — это где? — Господин Ачарья чутко насторожился и весь напрягся.

— С позволения сказать, на заснеженных вершинах Гималаев.

— Ах, Шамбала, Гималаи... — у комиссара внутри слегка отпустило, — ну, это сколько угодно. Это властями не запрещено. Мечтайте, господин... простите, снова запаматовал...

— Скрыбин! — Александр Николаевич заметно терял терпение.

— Да, да, конечно, Скрыбин... Уносите в ваших грезах, господин Скрыбин, к заснеженным вершинам. Но при этом уважайте нацию англосаксов, которая дала Индии все — от железных дорог, политического устройства до полного счастья. Это вам не какой-то там фурункул.

— Вы правы. — Александр Николаевич был вынужден признать, что фурункул вряд ли может считаться примером полного счастья.

Параграф четвертый ПРИСМОТРИТЕСЬ

— А раз я прав, то, собственно, почему я вас вызвал... — Комиссар спустил полученный в подарок перстень ниже косточки среднего пальца, а обратно поднять его никак не мог, хотя всячески теребил и дергал себя за палец, страдальчески округляя красивые глаза.

— Вы тихонько, не дергайте, — подсказал Скрыбин, слегка привставая со стула.

— Благодарствую. — Подсказка сразу помогла, и палец, покрасневший на сгибе, наконец освободился от перстня. — Впрочем, я вызвал бы вас и в том случае, если бы кругом был не прав. Все равно вызвал бы по моим должностным обязанностям. Обязанности всякого рода — это святое, а должностные — тем более. Я ведь не зря приклеил к повестке эту фотографию. Я использовал ее как приманку, чтобы она... помелькала. Помелькала у вас перед глазами. На ней изображен задержанный нами посланец, эмиссар, субъект... не знаю, как лучше выразиться... из России. Да, главное, что из России! Революционер! Документы у него в порядке, но чем-то он показался нам подозрительным. Поэтому на всякий случай... его задержали. Мы специально отвели задержанного в дорогое ателье с всякими прибабасами и аксессуарами, чтобы фотография получилась получше и вы могли бы забрать ее на память. Кстати, счет за снимок вам выписан. Дороговато, но что поделаешь. Присмотритесь. Задержанный вам знаком?

— Да мы и так уже присматривались.

— А вы повнимательнее, повнимательнее...

Скрыбин для проформы еще раз взглянул на фото и подвел итог:

— Нет, решительно не знаком.

— Вы утверждаете?

— Утверждаю.

— А задержанный утверждает нечто совсем иное. По его словам, он направлялся прямехонько к вам...

— Это ничего не меняет. Я его вижу впервые.

— Допустим. Но в своих показаниях он ссылается на некую Маргариту Кирилловну Морозову, — чтобы не ошибиться в имени, комиссар прочел его по бумажке. — Ее вы тоже не знаете?

— Как же! Как же! Знаю! — Скрябину было приятно услышать здесь, в Индии, имя, хорошо знакомое ему по России. — Маргарита Кирилловна мой друг и вполне достойная женщина. К тому же благородного происхождения и весьма состоятельная. В затруднительных положениях не раз выручала меня деньгами.

— Это умиляет. — Комиссар выразил свое умиление сентиментальным подрагиванием век.

— Вы преувеличиваете...

— Нет, нет, сколько достоинств в этой вашей... — комиссар снова сверился с бумажкой, — Маргарите Кирилловне! Какие трогательные, однако, выясняются подробности! Аж печенки дерет! В таком случае за благонадежность задержанного вы могли бы поручиться? Так сказать, засвидетельствовать его алиби?

— Алиби — это отсутствие обвиняемого на месте преступления.

— Ваши юридические познания делают вам честь.

— Благодарю. Но вряд ли этот юридический термин здесь уместен. В данном случае ни о каком преступлении речь не идет.

— Ну, фигурально, фигурально... Не будем так уж придирааться. Так могли бы?

— Что именно?

— Поручиться, засвидетельствовать?

— Разумеется, — согласился Скрябин, при этом показывая, что такого рода вынужденное согласие не доставляет ему удовольствия. — Вам письменно или достаточно в устной форме?

— Лучше в письменной, — безучастно произнес комиссар, как актер произносит реплику в сторону. Но тотчас спохватился, и лицо его расплылось в улыбке. — Исключительно из желания иметь ваш автограф, господин...

— Вудро Вильсон.

— Ха-ха-ха! Ах, какой вы шутник, однако! Распишитесь вот здесь. И задержанного мы отпускаем — равно, как и вас, не намерены больше задерживать. Прощайте.

Александр Николаевич расписался в указанном месте и попросил напоследок:

— Назовите хотя бы имя того, кого вы задержали.

— Извольте. Его имя — Скрябин. Ах, простите, оговорился! Ну что за напасть такая! Вчера было застолье, и я, признаться, слегка перебрал. Кажется, его имя... Сальери или Скарлатти. Ах, нет, конечно же, — Стравинский. Нет, снова оговорился. Его имя... имя... впрочем, имя им — легион, этим революционерам! — Господин Ачарья просиял, словно бросая в цель стрелы с присосками, все мазал и мазал, хотя при этом тщательно целился, а тут, не целясь, случайно поразил цель.

Параграф пятый ОБЕЗЬЯНКА

Среди теософствующих дам воцарилось скорбное уныние. Они целыми днями молчали, обменивались страдальческими взглядами, полными безутешной тоски, и опустили глаза.

Их никто не пытался утешать, зная, что всякие утешения бесполезны. Только Джидду Кришнамурти старался их немного развлечь и принес откуда-то обезьянку. Но та недолго служила для них утешением, и дамы, повозившись с ней немного, покормив бананами и мандаринами (обезьяны любят мандарины, хотя им совсем не нравятся косточки, которые они смешно выплевывают), забросили ее, словно наскучившую игрушку.

Скрябин после этого забрал обезьянку к себе, и вскоре она к нему привыкла и приязалась. Обезьянка сидела у него на плече и грызла орехи, приметив, в каком кармане они хранятся, и ловко извлекала их оттуда лапой. Александру Николаевичу это доставляло удовольствие, и он нарочно отворачивался, словно не замечая совершавшегося грабежа и лишь искоса подглядывая за действиями преступницы.

Анни Безант, наблюдая за всем этим из окна, выбрала подходящий момент, чтобы вызвать Скрябина на очередной разговор.

— Оказывается, вас так легко обмануть и обвести вокруг пальца, господин композитор. Даже обезьянки этим успешно занимаются...

— Меня?

— Вас, вас. В карманах-то у вас пусто.

— Ха-ха-ха! — Скрябин похлопал себя по карманам. — И впрямь пусто! Причем она эти орехи про запас держит за щекой, а потом куда-то прячет. Я их нахожу повсюду, даже в моих ночных туфлях...

Параграф шестой

ЧЕРПАК

... Анни Безант воспользовалась тем, что Скрябин не счел нужным ей возразить, и это послужило для нее лучшим ответом, позволившим задать очередной осторожный — вкрадчивый — вопрос:

— Дорогой Александр, вы согласны на мое предложение?

— На то, чтобы уступить Джидду главную роль?

— А самому возглавить музыкальную часть. Это почетно, и в этом вас никто не замечит. За вами неоспоримое первенство. За дирижерским пультом вы — Верховный Жрец!

— Не согласен, — произнес Скрябин так, что к этому нечего было добавить.

Анни Безант все-таки попыталась, но вместо осмысленного добавления смогла лишь произнести:

— Это ужасные русские революционеры вас надуумили?

— Почему ужасные?

— Потому что они так тоскуют по мадам Гильотен и мечтают стать Наполеонами. Этого достаточно, чтобы наводить ужас на цивилизованных людей.

— Ну, это лишь домыслы.

— А что не домысел в наше время? Что для вас явно и определено?

— Извините, если я воспользуюсь еще одной метафорой...

— Попробуйте. — Она недоуменно пожала плечами.

— Для меня явно и определено стремление русских повенчать Мистерию с Революцией.

— Повенчать? Они обе женского рода. — Анни Безант не находила более весомого возражения и была вынуждена довольствоваться этим наспех подвернувшимся. — Хотя я в прошлом тоже революционерка и обличительница пороков капитализма.

— Честь вам и хвала. Правда, сие не суть как важно. Главное, что Мистерия — это все-таки Россия, а не Индия. Часть заключенной в ней колоссальной, взрывной энергии отойдет к России.

- И там все разрушит?
- Преобразит! Мистерия — это гигантский резервуар, из которого Россия сможет свободно черпать.
- А вы будете подавать ей черпак.
- Хотелось бы льстить себя такой надеждой.
- Что ж, льстите, льстите. Вы неисправимый мечтатель. Россия? Но она напоминает мне вашу обезьянку, способную лишь что-то перенять, исказить и обесмыслить. Так всегда и было в истории. Вы же с вашей музыкой, вашей философией, вашей Мистерией, в конце концов... вы европеец.
- Мне это и Киплинг говорил. И все же я не совсем, не совсем европеец, хотя вариаций на русские темы и впрямь не пишу.
- Вот! — Анни Безант позволила себе торжествующий жест.
- Не пишу и все-таки... все-таки я русский, позвольте вас уверить...
- Не позволю, не позволю. — Он вновь не счит нужным ей возразить, и это послужило лучшим — и самым достойным — ответом. — Однако... однако кто же будет шафером на свадьбе Мистерии и Революции?
- Как это для вас ни прискорбно...
- Ну... ну... говорите же!
- Во всяком случае, не Джидду Кришнамурти.
- Почему не он? Тогда кто же? — Анни Безант была уязвлена и не могла этого скрыть.
- Простите меня, я!
- Ей снова понадобилась пауза, как голубке, клюнувшей слишком крупное зернышко, требуется время, чтобы его проглотить, а проглотив, запить водой.
- О, конечно же! Вот кто истинный шафер! По всем статьям — лучше не придумашь! — с непроницаемой усмешкой произнесла госпожа Безант, предоставляя Скрябину судить, что за ней скрывалось: восторг, ирония или даже издевка.
- Что ж, вынужден признать, что наша сделка, увы, не состоялась.
- И тем не менее... тем не менее, дорогой Скрябин, я вам все-таки помогу. Такая уж у меня натура. Впрочем, мы, ирландцы, все такие. Я вас облагодетельствую. И может быть, вы еще передумаете, — сказала она, отходя от окна в глубину своей комнаты, где царил полумрак, и тем самым придавая своим словам особое — потаенное — значение.

Параграф седьмой

ХРУПКОСТЬ

Анни Безант выполнила свое обещание, хотя оно далось ей с трудом, стоило заметных усилий — заметных даже по напрягшемуся лицу, которое старалось изобразить улыбку, но эта улыбка не удерживалась и сползала, словно плохо закрепленная завеса, скрывавшая неприглядный вид неубранной комнаты или заваленного всяким хламом угла.

Так и улыбка — скрывала, но по ее сползанию прочитывалось, что мадам Безант раздражена и раздосадована и завеса от этого не спасает, как иное лекарство излечивает лишь внешние признаки болезни, но не саму болезнь.

Во всяком случае, так думал Скрябин после разговора, которому я тоже был свидетелем, поскольку мне приходилось переводить (Анни Безант, на три четверти ирландка, заметно плавает во французском языке).

Тем не менее по всем филиалам ордена «Звезда Востока» были разосланы директивы с призывом подготовить общество к свершению чего-то грандиозного, страшного и величественного — Мистерии на конец времени. При этом давались рекомендации начать с распространения слухов, которые охотно подхватят газеты, поначалу, может быть, и бульварные, а дальше и солидная пресса соизволит обратить на эти слухи благосклонное внимание.

Для этого выделялись средства из фонда ордена и Теософского общества. Я при этом не мог не встать в соответствующую позу и не бросить с небрежностью, что у нас тоже есть гамза и что мы могли бы — частично или даже целиком — оплатить расходы. Я намеренно употребил это слово — гамза. Оно показывало мое столь же небрежное отношение к деньгам, с коими я как казначей готов легко расстаться, раз уж возникла нужда пожертвовать ими ради благих целей.

Но мадам не захотела меня понять (или, напротив, слишком хорошо поняла). Она мягко отклонила нашу помощь под тем предлогом, что орден «Звезда Востока» — это ее детище и материнский долг заставляет его содержать. Это была изящная шутка, но за ней что-то угадывалось, как угадывается подчас тайный шифр под, казалось бы, обычным сочетанием слов.

Угадывался некий расчет на то, что тот, кто платит, тот, как говорится, и заказывает музыку, хотя это выражение вряд ли уместно при таком музыканте, как Скрябин. Но другого выражения я не подберу (словарь фразеологизмов с собой не вожу — оставляю дома).

Словом, уведомляю полицейское ведомство, что орден «Звезда Востока» и Теософское общество брали на себя все расходы по распространению якобы слухов, а на самом деле достоверной, надежной и выверенной информации о приближающемся апокалипсисе. Скрябин был доволен, тем более что имя Кришнамурти не называлось и не указывалось, что ему принадлежит главная роль — роль Верховного Жреца. Такова была договоренность Анни Безант с Александром Николаевичем (она, верная слову, никогда не нарушала принятые на себя обязательства).

Но вот какая тонкость — или даже хрупкость, если брать название одной из пьес Скрябина, — проглядывала за всем этим. Господа полицейские, прошу внимания!

Орден был создан ради Кришнамурти. И существовал всецело ради Кришнамурти, ради признания его новым мессией (поначалу со строчной буквы, а далее — кто знает...). Поэтому для филиалов ордена и не надо было называть имя. Оно и так подразумевалось. И исполнители присланной директивы понимали все так, что они действуют исключительно ради Джидду. В этом смысле Скрябин здесь явно проигрывал.

Иначе и быть не могло. Иного Верховного Жреца филиалы себе и не мыслили. Скрябин же... многие и не знали о его существовании, а те, которые что-то слышали, воспринимали Александра Николаевича как одного из сподвижников... Кришнамурти, может быть, и весьма значительного по своей роли, но все-таки одного из...

Тогда как сам Джидду был единственным, возвышавшимся над всеми и не имевшим себе равных...

Скрябин все это осознавал, но не вмешивался: хрупкость на то и хрупкость, что может в любой момент — если по неосторожности слегка надавишь — покрыться паутиной мелких трещинок и расколоться, как первый лед на осенней дороге. Поэтому Александр Николаевич был осторожен, на многое закрывал глаза. Ему не хотелось давать повод считать, что великое дело Мистерии осквернено соперничеством и борьбой за власть.

Параграф восьмой
ПОД МУЗЫКУ СКРЯБИНА — В ТАРТАРАРЫ
(ЕВРОПА ВЗБУДОРАЖЕНА)

Тем временем — благодаря действиям ордена и его филиалов — слух о приближавшихся грандиозных событиях распространялся по Старому Свету и даже проникал в Россию, которая сама мыслилась своего рода филиалом, отсталой периферией передовой Европы. Что это за события и в чем их грандиозность, никто толком не ведал.

И уж тем более публика не разумела, какая ее ждет Мистерия.

Некоторые дамы приравнивали Мистерию к новогодним фейерверкам, елочным свечкам, мерцающим в темноте, обернутым фольгой грецким орехам и прочему содержимому мешка Санта-Клауса. Уже одно это показывает, что само это слово вызывало лишь самые неопределенные догадки, изрекавшиеся, впрочем, с таким апломбом, что их с равным успехом можно было принять и за перлы большого ума, и за откровенную глупость:

— Мистерия? Что-то, вероятно, связанное с темным средневековьем, когда разгрызались всякие там мистерии на сюжеты из Библии и прочая белиберда. Однако не стоит морочить себе голову, раз сама Библия призывает нас не мудрствовать лукаво.

— Не мудрствовать лукаво — это, положим, не Библия, а Пушкин...

— Неважно. Пушкин из Библии тоже надергал достаточно.

— Нет, уж извольте быть точным.

— Быть точным? Тогда не белиберда, а белибердаевщина. Ха-ха-ха!

Дальше этих каламбуров, смешков и самых смутных догадок публика не шла. Зато каждый балагур мог распушить павлиний хвост своего остроумия и щегольнуть мнениями вроде следующего:

— А вообще, господа, приближается конец света, и маэстро Скрябин задумал к нему музыкальное сопровождение, своеобразный аккомпанемент в стиле оперы-буфф, чтобы нам с вами было повеселее.

— Нам и так весело...

— Подождите. Самое веселье наступит, когда под музыку Скрябина загремим мы с вами в тартарары! Все разом!

Однако слухи тем временем множились и приобретали все более тревожную окраску. Публика же их охотно подхватывала, раздувала, преувеличивала (у страха глаза велики) или, как говорил Скрябин, любитель французских словечек, муссировала, возгоняла, как пену над винным чаном:

— Все муссируют самые нелепые слухи. Отовсюду только и слышишь: «Близится... близится... скоро... скоро!» Что близится? Что скоро? Тут полнейшее неведение или нечто похожее на скверный анекдот в духе Достоевского.

Слыша от Скрябина подобные высказывания, я советовал:

— Может, вам разъяснить? Написать статью или дать подробное интервью?

Он же отмахивался:

— Пустое. Я же не какой-нибудь там Каратыгин, не критик. Мой голос никто не услышит. Да и никто не нуждается в серьезных разъяснениях.

— Тогда что же прикажете? Трубить сбор? Созывать народы?

Александр Николаевич на это отвечал:

— Нет, пусть трубят ангелы...

— Ангелы? Как это понимать?

— Повторяю, должен быть некий знак свыше, знаменующий божественное соизволение или нечто в этом роде. Ведь не мы творим Мистерию. Все наши действия — исполнение высшей воли. Это раньше я мнил себя демиургом, а сейчас несколько поумерил свой пыл и всем советую поумерить. Я лишь капельмейстер — вот мое призвание. Поэтому нужно дожидаться события, которое будет воспринято всеми как трубный зов. Чего-нибудь вроде кометы Галлея, солнечного затмения или рождения младенца с двумя головами.

— Вы шутите?

— Конечно, шучу.

— А если в планах Всевышнего вообще нет никакой Мистерии? Что тогда?

— Тогда я почтительнейше возвращаю билет.

— Помнится, для возвращения билета была другая причина...

— Что ж, у меня будет эта. «Простите великодушно, неверно Вас понял. К тому же толком и не расслышал. Туговат на ухо. Тысяча извинений, тысяча извинений!» И этак, ретируясь, шагочками отойду назад. Спрячусь за спинами. Приму вид ничтожного — мизерабельного — существа.

— Ну, уж вам-то этот вид не подойдет...

— Не скажите, любезный. В сущности, не такой уж я гордец, как кому-то иногда мерещится по наивности. Вот, мол, Скрябин — сверхчеловек! Нет, во мне тоже есть смирение. Со смирением-то даже лучше. Проще, во всяком случае. Чего возноситься! Меня уж раз похоронили. Сырой земельки я понюхал. На свете мне ничего не жаль.

— Неужели так-таки и ничего?

— Как вам сказать... Провокационный вопрос.

— Вы уж как-нибудь скажите...

— Попробую. — Скрябин обнял себя за локти и вскинул голову, устремив взор куда-то вдаль. — Допустим, что Мистерия все же свершится. Земля при этом разверзнется, из всех щелей вырвется адское пламя, мир начнет оседать, как оседают горы во время землетрясения. Что мне тогда напоследок вспомнится? Что пробудит во мне эту самую жалость?

— Кажется, я догадываюсь...

— Ну, извольте высказать свою догадку.

— Что-нибудь непременно из детства...

— Угадали. Да, друг мой, вспомнится аллея в каком-нибудь парке — хоть в том же лефортовском, мокрые стволы дубов, лужи, непременно большие лопающиеся пузыри на лужах, грязь восхитительная, непролазная. И я, мальчишка, кадетик, накрывшись плащом, перескакиваю по сухим островкам, и мне так радостно, что я есть, что я — помимо всякой муштры, от которой меня, впрочем, освободили, — играю на рояле и, главное, сочиняю музыку: вальсы, этюды, мазурки. Они всем напоминают Шопена, и только я знаю сокровенную истину: никакого Шопена здесь нет, и это моя музыка, похожа она только на меня одного, и в ней уже слышится моя будущая «Поэма экстаза», мой «Прометей» и моя Мистерия.

ДОНЕСЕНИЕ ДЕВЯТОЕ

Параграф первый

ДУНОВЕНИЕ

Мои дальнейшие донесения — по существу, беглый, пунктирный дневник. В нем я успеваю лишь одной-двумя строчками отметить происходящее, черкнуть что-то поч-

ти неразборчивое, похожее на стенографические знаки, поскольку события следуют одно за другим, и нет решительно никакой возможности излагать их подробно.

Все мелькает, как в обклеенной бумажными звездами трубочке калейдоскопа, когда ребенком вертишь ее перед глазами, — не уследить...

Поэтому я что-то важное мельчу, наполовину проглатываю, что-то вообще пропускаю, обещая себе потом к этому вернуться, но не возвращаюсь, напрочь забываю, и мои обещания провисают, оседают, рассеиваются, как туман — легкий туманец — от высыхающей росы...

Вот одна из моих первых записей: «В марте семнадцатого года был наконец собран оркестр, по своему составу не уступающий Малеру и Шёнбергу». Тут я умалчиваю о долгих переговорах и обмене корреспонденциями с различными музыкантами, филармониями и музыкальными обществами, иногда даже любительскими (Скрябин следовал мудрому правилу заранее ничего не отвергать), а рассказать можно многое.

Александр Николаевич диктовал мне эти письма, я сам заклеивал конверты и носил на почту, так что их содержание мне хорошо известно. Известны и муки, которые испытывал Скрябин, особенно поначалу, когда приходилось уговаривать, уламывать, умолять, сулить баснословные гонорары, поскольку просто так ехать в Индию никто не хотел; все наотрез отказывались или ставили немыслимые условия.

Требовали денег, денег, денег. Авторитет Скрябина, конечно, признавали, но бескорыстно послужить искусству, потрудиться ради идеи, возвышенной цели... оркестранты, особенно именитые, отъявленные циники, безбожники и прагматики, считали это откровенным вздором и блажью.

Да и что за идея? Мистерия? Но пока это лишь нечто смутное, расплывчатое и невразумительное — подобное медузе, которая меняет свою форму в зависимости от окружающей среды. Музыки Мистерии никто в Европе не слышал. Да и никто не видел партитуры (говорят, она написана мельчайшими знаками на огромных, словно простыни, склеенных листах нотной бумаги).

Партитура Мистерии существовала в единственном экземпляре — не могло быть и речи о том, чтобы посылать ее почтовой бандеролью кому-то для просмотра и ознакомления. Скрябин не хотел даже слышать об этом: «Лучше положите меня снова в гроб!» Поэтому переговоры затягивались, и иногда вся затея с оркестром казалась совершенно безнадежной.

«Не соберем... не соберем мы никакого оркестра. Это безумие», — повторял Александр Николаевич, вышагивая по комнате и спотыкаясь о выступающий порожек. Он был близок к отчаянию.

И вдруг — повеяло...

Так бывает перед грозой, при полнейшем безветрии, когда духота давит так, что звенит в ушах и не вздохнуть. И вдруг — дуновение, блаженная, освежающая прохлада.

Так случилось и на этот раз. Согласился один, потом другой, третий, и оркестр стал собираться, налипать, словно мелкие кристаллики на стержень, опущенный в насыщенный солями раствор (подобные опыты нам когда-то показывали в химическом кабинете гимназии).

И какой оркестр — с усиленными группами струнных и духовых, включая орган, фисгармонию, две арфы, челесту, мандолину и — вместо четырех — десять валторн, как у Шёнберга в «Песнях Гурре». Все это увеличило впятеро состав всего оркестра. Получилось почти как у Малера с его Восьмой симфонией, которую называли «симфонией тысячи участников». Положим, тысячи там не наберется, но все равно число внушительное.

Вот и наш оркестр, по моим подсчетам, приближался к половине от тысячи. Лес инструментов (я еще ничего не сказал про ударные)! Непроходимые дебри!

Скрябин был счастлив, опьянен, охвачен восторгом. Сидя за столом, он брался подсчитывать, что-то складывал столбиком, делил, умножал, черкал на бумаге какие-то фантастические цифры. Затем, преисполненный нетерпения, удовлетворения, обмирания — какого-то невыразимого чувства, откидывал исписанный карандаш с выпадавшим грифелем.

Карандаш катился по разложенным листам бумаги до края стола, замирал, выдерживая равновесие, и падал на пол. Александр Николаевич, отодвинув стул, наклонился за ним, шарил ладонью по полу (под столом было темно), повторяя: «Вот, вот что мне надо! Вот что мне надо!» — как будто ему было надо, чтобы карандаш непременно упал, закатился в мышиную щель.

А затем, нашарив и подняв его, делал последние пометки в партитуре, что-то забеливая, исправляя, обводя кружками и овалами. И приходил к торжественному заключению: «Теперь я, как Малер, могу сказать: „Поют уже не человеческие голоса, а кружащиеся солнца и планеты!“»

Солнца и планеты у него запели — хором, хотя человеческие голоса тоже понадобились.

Дальше в моем дневнике по этому поводу следует запись: «Два смешанных хора и хор мальчиков. Удалось. Подфартило». Это означает, что Скрябин договорился с хормейстерами, и те согласились участвовать в Мистерии. Правда, некоторых мальчиков из хора родители долго не отпускали в Индию. Они опасались, что их там подстерегают всякие ужасы, всякие опасности, что негры на дорогах похищают детей (обыватели подчас путали Индию с Африкой), чтобы продать их в рабство.

Тогда Скрябин собственноручно написал этим родителям и заверил их, что Индия — самая мирная, гостеприимная и безопасная страна в мире, — во всяком случае, для доброжелательно настроенных иностранцев. Для тех, кто в отличие от англичан не привязывает восставших сипаев к жерлам пушек и не поджигает порох, чтобы испытать на них его взрывную силу.

И привел как показательный пример самого себя, которому добродушный слон (я посоветовал его назвать дядюшка Том: хочется иногда вспомнить детство) по утрам подает хоботом кофе, а дрессированный леопард (старина Бэзил — тоже мое изобретение) нежно расчесывает когтями волосы.

Это, конечно, была фантазия — под стать кипплинговским выдумкам. Но в целом письмо убеждало, что Скрябин процветает и блаженствует. В доказательство были посланы открытки и фотографии. Это подействовало, и мальчики были отпущены родителями в далекую Индию. Недели через три я сам встречал их на пристани и устраивал в гостинице, где они с нетерпением ждали дядюшку Тома и старину Бэзила.

Параграф второй ПОДАТЛИВЫЙ ВОСК

Столь же легко все решилось с балетом.

Поначалу тоже, впрочем, не складывалось, вязло, застревало, бесконечно тянулось (и вытягивало из нас жилы), и Скрябин — дабы умерить наше нетерпение — приговаривал: «Ничего, ничего. Потерпите. Царство Небесное, по словам Христа, тоже сразу не дается — нудится».

Этот мудрый совет нас отчасти вразумлял, да и пример самого Александра Николаевича, всегда сохранявшего присутствие духа, нас воодушевлял и окрылял.

Но все-таки иногда подступало уныние. У нас, признаться, опускались руки оттого, что все попытки пригласить, соблазнить, завлечь, заманить, черт возьми, артистов балета оканчивались ничем. И особенно противились нашим стараниям балерины.

Казалось бы, с их-то выносливостью, я бы даже сказал, двужилостью... Ведь часами вытягивать ножку, приседать, подпрыгивать и выделять свои па у станка, прихотливо семенить на пуантах, кружиться, порхать, совершать немыслимые пирюэты, падать в объятия партнера и ускользать от него — этот вечный тренаж воспитывает их, как дочерей Спарты, презирающих всякие трудности.

Но это лишь иллюзия. Вот уж кому им не хотелось уподобляться, так это спартамкам. И они пользовались малейшим предлогом, чтобы подчеркнуть свою изнеженность, субтильность, томность и капризность — словом, полную противоположность им.

И конечно же, балерины отказывались покидать свои альковы, надушенные будд-ары и, страдая от морской болезни и прочих кошмаров и ужасов, плыть на корабле туда, куда и Колумб (хотя вряд ли все они слышали о Колумбе, который не был балетмейстером и даже танцором) не доплыл.

Не доплыл со своей экспедицией — экипажем кораблей «Санта-Мария», «Пинта» и «Нинья» численностью в девяносто отъявленных головорезов и беглых каторжников (пардон, тут я, возможно, немного преувеличиваю), а польстил на Америку, преподнес ее человечеству как обманку, показавшуюся ему Индией, но человечество об этом не пожалело...

Впрочем, прошу прощения за столь длинную фразу. Есть риск, что в полицейском ведомстве, коему она адресована, ее начнут читать на первом этаже, а закончат аж на последнем, под самой крышей. Тем более что о Колумбе и его приключениях вообще можно и не говорить.

О странствиях Колумба известно каждому гимназисту, сдававшему экзамен по географии, но я все же упомяну, чтобы никто не думал, что, скажем, колумбарии произошли от Колумба (да простится мне пристрастие к этимологии, причем самой причудливой и фантастической).

Да, Христофор Колумб похоронил во время пути многих сподвижников, матросов из своей команды — преимущественно бывших преступников и головорезов. У тех был выбор: отправиться либо с ним вместе к берегам Индии, либо в тюрьму или даже на виселицу, чтобы их души вознеслись, как голуби (колумбарии на самом деле — от слова «голубь»), к престолу Царя Небесного.

Получаемые нами отказы внушали мысль о том, чтобы и нам тоже удовлетвориться обманкой, но только иного рода: принять Америку, да и Европу за Индию. Иными словами, пригласить местных танцовщиц с их символическими жестами, выражающими весеннее цветение, листочки, бутончики и так далее.

Но зачем это в Мистерии! Конечно, Скрыбин не прочь был кое-что позаимствовать из индийских жеманно-завлекающих танцев, но именно кое-что, не более того.

Все же в своих мечтах о Мистерии тяготел к русскому балету, преображенному его великими реформаторами — прежде всего Фокиным, Нижинским, Баланчиным. В этом смысле Америка была нам ближе Индии, поскольку Дягилев завез туда русский балет, имевший там триумфальный успех и пустивший живые ростки на местной почве.

Вот и Скрыбин мечтал преобразовать русский балет, приспособить его для нужд своей Мистерии, но все его мечты казались несбыточными. И тут — снова внезапное дуновение, и все устроилось, словно по волшебству.

Как раз в это время на север Индии волею обстоятельств занесло наполовину любительскую французско-русскую труппу с оперой-балетом «Галантная Индия» Жана Филиппа Рамо. Скрыбин побывал на представлении и, несмотря на свою придирчи-

вость и даже некоторый снобизм, остался доволен, чего я от него никак не ожидал. Напротив, я был уверен, что Скрябин разругает спектакль в пух и прах, но он лишь снисходительно посмеивался, похваливал постановку, костюмы и сам танец:

— Право же, неплохо, неплохо...

— Но ведь это все любительщина, Александр Николаевич, — пытался возразить я.

— Вот и хорошо, что любительщина, дорогой мой!

— Чем же хорошо? — недоумевал я. — Вы же дилетантов на дух не переносили, всегда бранили, распекали, разделявали под орех.

— Бранил, распекал, а теперь хвалю. Профессионалов переучить невозможно, они все закоснели в своей рутине. Мистерия для них — пустой звук. Что она, зачем, как к ней подступиться — для них сплошная морока. А любители — милые дилетанты — податливый воск. Лепи из них, что хочешь, что соответствует твоим замыслам.

После этих слов Александр Николаевич отправил меня за кулисы — договариваться с труппой. И убедившись, что я долго не возвращаюсь (значит, есть шанс на успех), проскользнул туда следом, в темноте отыскал директорскую комнату и присоединился ко мне, чтобы участвовать в переговорах.

С его появлением все окончательно решилось и уладилось. Директор труппы, француз с русской фамилией Иванов, подвижный, гибкий, гуттаперчевый, и его помощник, маленький, кругленький, чернявый, с острым личиком, похожий на отвалившуюся, насосавшуюся крови пиявку, согласились задержаться на севере Индии (у них имелись планы посетить юг).

На листке бумаги Иванов нацарапал сумму гонорара, а его помощник скромно и застенчиво прибавил к ней нолик. «Ах ты, пиявка!» — подумал при этом я, но вслух ничего не сказал, и мы благополучно поладили.

Параграф третий ОРГАН ДЛЯ СВЕТОМУЗЫКИ

Описывая состав оркестра, я наряду с валторнами и арфами упомянул орган.

Да, нам доставили небольшой орган из Парижа, где он до этого услаждал слух верующих в одном из католических соборов, которые блаженно внимали переливам звучностей, замиравших под сводами купола. Но за долгие годы служения орган состарился, обветшал, пришел в негодность. Его починили (вернее, учинили ему большой ремонт), но на старое место не вернули.

Не вернули, поскольку там текла крыша, гуляли сквозняки и без всякого нажатия на клавиши сами пели в трубах — и высоких кирпичных печных, и трубах органа. Поэтому инструмент выставили на продажу, о чем узнал Скрябин (в Париже у него много друзей).

Узнал и выкупил его. Оплатил и транспортировку — краснолицых грузчиков с широкими брезентовыми ремнями и переносными бревенчатыми настилами (чтобы легче было катить).

Словом, тут все просто и ясно как божий день (прошу прощения за трюизм).

Но помимо этого был еще один — специальный — инструмент такого же рода, и предназначался он для воспроизведения строки партитуры, обозначенной итальянским словом «luce» — «свет». Смею заметить, что в нотах все слова, выражающие оттенки исполнения, итальянские, хотя Скрябин часто предпочитал французские. Но все равно итальянский — язык музыки (в детстве меня учили играть на виолончели, и я немного разбираюсь). Он-то и пригодился для особой скрябинской строки,

не столько благозвучной, сколько лучезарной и поэтому потребовавшей небывалого инструмента.

Собственно, это и не орган как таковой, хотя мы его для простоты и называли органом. Но именуемый так, он представлял собой сложный по своей системе, дерзновенно новаторский, как все творчество Скрябина, особенно позднего, инструмент.

Инструмент для светомузыки, в котором Скрябин очень нуждался. Мистерия без него не могла состояться, но где его взять? Не самому же мастерить, как он в детстве из подручных материалов сам изготавливал рояли, вызывавшие восторг тетушек, но все же не слишком годные для того, чтобы на них играть перед публикой.

А теперь вместо сердобольных тетушек — все человечество...

К счастью, нашлись пытливые умы, загоровшиеся идеей изобретения подобного небывалого, неслыханного (в буквальном смысле) инструмента, — одинокие чудачки, фантазеры и странные гении, какими богата Англия (наш Генри Вуд — из их числа). Они еще со времен исполнения «Прометея» в Лондоне маравали, мерекали, мозговали, искали, как подступиться к световому органу.

Главный принцип его устройства они, казалось бы, постигли, но что-то не получалось — не вытанцовывалось, по словам Скрябина, не смущавшегося тем, что всякого рода танцы не совсем отвечают сути дела. Для «Прометея» их изобретение, может быть, и годилось, но для Мистерии... нет, не потянуло бы.

И вот Александр Николаевич снова им отписал, чтобы узнать, как идут дела, есть ли заметные успехи, находки, открытия. И те присылают полный отчет с подробным описанием, чертежами и рисунками. Скрябин во все это вник, разобрал детально, по косточкам, и лицо его просияло — стало поистине лучезарным.

Есть световой орган — именно такой, какой требовался для Мистерии, способный следовать всем оттенкам звучности и тоже звучать, как звучат краски под кистью опытного мастера вроде Микеланджело или Леонардо!

Он купил изобретение на корню (я как казначей сам послал в Лондон деньги), терпеливо выждал, когда оно обретет законченный вид и будет доставлено в Индию. При этом перевозка стоила ему многих душевных мук и отчаянных тревожений: только бы не...

Только бы не уронили, не повредили, не разбили, словно это был дорогой сервиз, ожидаемый доставкой старой дамой, заказавшей его в модном магазине и готовой закатить истерику при мысли, что она получит коробки с одними осколками, обернутыми упаковочной бумагой.

Параграф четвертый

НЕКОТОРЫЕ СВЕДЕНИЯ О ТЯГАЧАХ С ПАРОВЫМ ПРИВОДОМ И ИХ ИЗОБРЕТАТЕЛЕ НИКОЛЯ ЖОЗЕФЕ КЮНЬО... ВПРОЧЕМ, ЕГО ИМЯ ОСОБОГО ЗНАЧЕНИЯ НЕ ИМЕЕТ — В ОТЛИЧИЕ ОТ ИМЕНИ ТОГО, КТО СООБЩИЛ МНЕ ЭТИ СВЕДЕНИЯ

Наконец световой орган прибыл — вместе с командой грузчиков и всякими तकелажными устройствами, необходимыми для его транспортировки. Какова фраза! Она свидетельствует, что мы, литераторы, при случае тоже способны щегольнуть техническим словом и уподобить наше повествование инструкции по применению того или иного прибора, чем я, собственно, и занимаюсь в этом параграфе, стараясь показать себя умудренным опытом профессионалом. Или — пользуясь подсказкой такого профессионала, любезно сообщающего мне необходимые сведения. Но об этом, с позволения читателя, чуть ниже...

А пока читателю надлежит внимать моему описанию разгрузки светового органа.

Итак, особыми, специально спроектированными для этого кранами, на прочных стальных тросах его подняли из трюма, лебедками подтянули к борту, по толстому бревенчатому настилу спустили на пристань и закатали на платформу мощного тягача с паровым приводом, доставленного ранее баржей.

Как мне растолковали, такой тягач — предшественник и паровоза, и автомобиля, изначально применялся для транспортировки артиллерийских орудий. Но система в дальнейшем была усовершенствована, что позволило использовать его для перевозки самых различных грузов, чья масса значительно превышала массу чугунных пушек и мортир. И эта моя фраза достойна того, чтобы ее сочли образцовой инструкцией! Во всяком случае, мне так кажется...

Впрочем, пора сознаться, что я при всем старании держать марку все же описываю эту сцену больше как зритель и дилетант. Истинный же профессионал обнаружил бы в описанной процедуре разгрузки множество тонкостей и нюансов, ибо такелажные работы требуют не столько грубой силы, сколько хитроумного расчета и глазомера.

И такой профессионал внезапно обнаружился — возник этаким богом из машины, как говорили некогда греки, а затем им вторили римляне.

Собственно, от него я и получил сведения об изобретателе первых тягачей — Николае Жозефе Кюньо: он стоял на пристани рядом со мной и, поддерживая светскую беседу, успевал делать такелажником едва заметные знаки, направляющие их натужные усилия в нужном направлении.

Прошу прощения, конечно же, не Никола Жозеф стоял рядом, поскольку тот жил еще в восемнадцатом веке и изобрел свой тягач с паровым приводом в 1770 году, а мой профессионал, чьи черты мне, однако, кого-то напоминали. Иными словами, обнаруживали с кем-то навязчивое сходство, хотя он усердно закрывал лицо поднятым воротником плаща и надвинутой на лоб шляпой.

При этом он явно (о том свидетельствовали его направляющие знаки) прибыл на корабле вместе с грузчиками и имел самое непосредственное отношение к световому инструменту.

Поэтому я ради поддержания светской беседы спросил его об обстановке в Европе, обо всем, что там происходит и имеет непосредственное отношение к Мистерии. Он с любезностью и той предупредительностью, которая свидетельствует о стремлении поймать на лету любой вопрос, мне ответил:

— Европа взбудоражена. Страсти накалены.

Я попытался сделать уступку сказанному как расхожему мнению:

— Ну, это для Европы не впервой. Старые дамы, как известно, имеют обыкновение паниковать по любому поводу, а Европа — именно такая дама...

— Не скажите... Возраст тут ни при чем.

— А что же, по-вашему?..

— Страх и трепет.

— Ну, это нечто из Кьеркегора...

— Не только. Кьеркегор писал о частностях — о возможности веры в современных условиях, сейчас же страх и трепет стали глобальными фантомами.

— Неужели? Мы тут в Индии далеки от настроений Европы, да и попросту многого не знаем, как Исаак не знал, куда его ведет отец... Я был бы вам признателен, если бы вы меня немного просветили.

— Ну, уж нет... Если брать по Кьеркегору, то вы скорее от Авраама. Во всяком случае, Скрябин. Он-то как раз — из числа знающих...

— И тем не менее...

— Что мне вам доложить... Я и сам-то живу в некотором отстранении. Некоторые скептики отказываются верить, что приближается конец времен, но большинство все же верит. Орден «Звезда Востока» проявляет похвальную активность и усиленно пропагандирует будущую Мистерию. Правда, до конца не ясно, кого они прочат на роль мессии...

— Скрыбина, конечно! Он создатель Мистерии!

— Да, но при этом уклончиво упоминается и Кришнамурти. Весть о конце нежданно поддержала церковь, в основном католическая. Но и протестанты, хоть и разрозненными группами (все они индивидуалисты), стали присоединяться и выступать с различными призывами — в том числе и с призывом к покаянию.

— Вот как! Это что-то новое!

— О покаянии-то все забыли — только русские еще помнят. Они же утверждают вслед за одним святым старцем, что для Запада конец времен — это катастрофа, а для Востока — благо. Европейские газеты, учувя сенсацию, отдают первые полосы под сообщения из Индии. Словом, призрак бродит по Европе... призрак приближающейся Мистерии.

— Благодарю. — Я сдержанно поклонился. — Хотелось бы поговорить об этом подробнее и в присутствии Александра Николаевича. Вы прибыли на корабле, доставившем световой инструмент?

— Как сопровождающий, хотя я принимал участие в его создании. Не скрою, что некоторые идеи принадлежат мне.

Как человек, умеющий ценить идеи, я не мог не воскликнуть:

— О, для Скрыбина большая честь, что вы нас посетили! Позвольте узнать ваше имя. Он снисходительно улыбнулся.

— Мое имя вам хорошо знакомо, как и мне ваше. — Он опустил воротник плаща и приподнял над головой шляпу. — Меня зовут Генри Вуд.

Навязчивое сходство обрело определенные очертания.

— Генри Вуд? Так, значит, вы наш Генри? Но с тех пор вы изменились, я вас сразу не узнал...

— И тем не менее это я. Кто еще, кроме меня, способен призвать Европу к покаянию! — воскликнул Генри так, словно и ему самому было в чем покаяться после бегства от нас вместе с Натальей Секериной.

Параграф пятый СКУЧНО НАРОДАМ

Я, конечно, рассказал Скрыбину о возвращении Генри Вуда, к чему он отнесся если не скептически, то весьма сдержанно, стараясь не поддаваться эмоциям (Александр Николаевич использовал это слово лишь в альтернативном ключе, то есть иронически), и первым делом меня спросил:

— Он вернулся один? Без Наташи?

Я вздохнул и пожал плечами, тем самым давая понять, что точно сказать не могу, но, во всяком случае, Натальи Валерьяновны рядом не было. Да и последняя фраза Генри наталкивала на мысль, что он вернулся один, без нее, о чем я тут же поведал Скрыбину:

— Похоже, что без Наташи.

— Где же она?! Что с ней?! — Эмоции все-таки прорвались, и Скрябин мотнул головой, освобождая шею от сдавливающего воротничка.

— Об этом надо спросить у Генри. — Я невольно повторил его жест, хотя воротник мою шею не сдавливал.

— Спросить? — Александр Николаевич придал своему вопросу выражение крайнего, даже отчасти язвительного недоумения. — Милое дело — спросить! Перед этим его надо хорошенько высечь, этого Генри, как раньше секли провинившихся на конюшне. Хорош гусь!

Я кашлянул в поднесенный ко рту кулак.

— Боюсь, что у англичан это не принято. Они более склонны к тому, чтобы не сесть, а рубить головы на плахе. Конюшни же у них предназначены для иных целей.

— Не юродствуйте! Зовите, зовите его немедленно, вашего Генри Вуда! Хоть с высеченным задом, хоть с отрубленной головой, но — зовите!

Я бросился на розыски Генри Вуда и вскоре привел его под собственным (хотя и безоружным) конвоем к Скрябину. Генри по дороге смекнул, что роль конвоированного ему сейчас больше всего подойдет.

— Я к вам с повинной. — Он виновато склонил голову с длинными космами волос. — Мое единственное оправдание в том, что я участвовал в создании привезенного светового органа.

— Наташа! Наталья Валерьяновна! Где она? — воскликнул Скрябин, не особо вслушиваясь в его оправдания.

— Наталья Валерьяновна меня покинула и, кажется, вышла замуж за очень богатого человека.

— Боже мой! Хватит ей мужей! У нее их и так было, по крайней мере, двое, — впрочем, если не больше! Юрист Николай Марков... затем этот дипломат Иосиф Гурлянд, ревновавший Наташу даже к моим рукописям и спрятавший их в сейф... Кто же теперь?

— Точно не знаю. Поговаривают, какой-то нефтяной магнат. Между прочим, внешне он чем-то похож на вас...

— И музыку пописывает?

— Подписывает... — со значением поправил Генри Вуд, — подписывает счета и банковские чеки.

— Что-то мне не верится... Полагаю, все это пустые слухи. Наташа мне верна! Во всяком случае, будет верна за гробом, до конца... смерти. — Он ухватился за найденное слово. — Да, да, до конца смерти! Я точно выразился. А там, когда свершится храмовое действо — моя Мистерия, мы вместе воскреснем и будем навсегда неразлучны. Впрочем, это все мечты, мечты... — Скрябин так же легко окрылялся, как и впадал в меланхолию, испытывал упадок душевных сил.

— Позвольте заметить, прекрасные мечты... — попытался поддержать его Генри.

— Вы считаете? — Скрябин явно усомнился в своих мечтах именно после того, как они были признаны собеседником прекрасными. — Так почему вы от нас тогда сбежали?

— Откровенно?

— Разумеется, со всей откровенностью, как на духу...

— Скучно стало. Мне вообще скучно. Знаете, что такое наш английский сплин... мое вечное проклятие. Из-за этого все мои взрывы и рыки...

(Так я перевел Скрябину близкие по смыслу английские слова.)

— А как же световой орган? Разве он вас не вдохновляет? — спросил я, заметив, что Александр Николаевич думает о том же, хотя почему-то не решается спросить.

Генри Вуд ответил, обращаясь скорее к Скрябину, чем ко мне:

— Я в детстве мечтал стать ангелом света. Другие дети мечтают стать полицейским, вагоновожатым, банкиром, а вот я... ангелом света. Даже сшил себе белые крылья из простыни, натянул их на проволочный каркас и придумал механизм, чтобы можно было ими взмахивать. Но ангелом все равно не стал, и вот теперь... теперь я ангел, поскольку без меня не было бы этого органа, этих световых гирлянд и протуберанцев. В сущности, орган — мое изобретение, хотя, признаться, мне теперь и с ним скучно. Скучно, как всем уставшим народам старой Европы. Одна надежда — на Мистерию. Может быть, она избавит нас от скуки, и нам станет чуть-чуть веселее.

— За весельем пожалуйте к нам в Россию. У нас не соскучишься, — сказал Скрябин и дополнил свои слова широким жестом гостеприимного приглашения, словно забыв о том, что вокруг не Россия, а Индия.

Параграф шестой ОГНЬ ПОЯДАЮЩИЙ

Вскоре световой орган был полностью распакован, освобожден от крепежных устройств и установлен в Храме.

Причем своими размерами он пришелся как раз по той центральной арочной нише, которой мы сначала никак не могли найти применения — в отличие от соседних ниш, и больших, и малых. Те были сплошь заполнены, как птичьи гнезда в отвесной скале, куда слетаются крикливые пернатые полчища. А вот эта ниша оставалась пустой — зияла, как говорил Скрябин. И мы лишь недоумевали, чем ее можно занять.

И вот оказалось, что привезенный орган словно специально — по предварительным замерам — для нее изготовлен, и даже обрывки проводов пригодились, чтобы подсоединить его к электричеству.

Скрябин и Генри Вуд ото всех заперлись, желая наедине опробовать орган в действии. Генри что-то ему показал, растолковал, а там уж Александр Николаевич со своим инженерным умом (он и в своей музыке подчас — искушенный инженер и конструктор) во всем разобрался и постиг самую суть устройства светоносного инструмента.

А затем мы создали в Храм весь наш малый народец, чтобы он был свидетелем светоносного чуда. Генри Вуд вызвался сесть за орган, как мастер по изготовлению скрипок первым берет в руки только что изготовленный и вчерне покрытый лаком инструмент, чтобы исполнить простенькую мелодию, призванную подыграть его авторскому тщеславию.

Скрябин же встал за алтарь — за дирижерский пульт, чтобы показать всем, что такое светомызыка, о которой многие слышали, но никто не имел истинного представления, поскольку было лишь несколько робких попыток исполнить «Прометей» со строкой «Iuce».

И от этих попыток в конце концов отказались из-за несовершенного устройства тогдашнего органа.

И вот он новый орган — само совершенство!

Усадили за пульта скрипачей, флейтистов и валторнистов будущего оркестра, которые к этому времени уже приехали и расселились по гостиницам. И Скрябин, взмахнув дирижерской палочкой, дал вступление оркестру и одновременно — знак Генри Вуду, чтобы он сопровождал вырвавшиеся звуки своими гирляндами и протуберанцами.

И все внутри Храма заалело, как закатное зарево. Все замерцало, заискрилось, запылало — внутреннее пространство Храма охватил световой пожар. Это был тот же огонь, что и в «Прометее» (недаром «Прометей» назван поэмой огня), но только еще более грандиозный, всемирный — огонь поядующий, как при последних судорогах мира.

Казалось, что по мраморным плитам, устилающим пол Храма, пробежит сейчас извилистая трещина, плиты вздыбятся, из-под них вырвутся языки пламени, послушные дирижерской палочке Скрябина, и все рухнет, канет, провалится в тартарары.

Параграф седьмой

МНИМАЯ ТЕЛЕГРАММА ИЗ РОССИИ

Мало сказать, что Скрябин был доволен — он был поистине счастлив. Был окрылен, упоен, захвачен этим зрелищем — апофеозом (любимое слово!) света, творившимся на его глазах, подвластным его дирижерской воле.

В восторге он повторял, сгибая дирижерскую палочку так, что казалось, она вот-вот сломается:

— Да, только таким образом... только так можно выразить истинный экстаз! Благодарю вас, Генри, вы совершили нечто невысказанное, невыразимое! Для меня, во всяком случае. Сначала проект Храма, а теперь этот орган...

Генри Вуд, привстав из-за клавиатуры, поклонился.

— Вы преувеличиваете мои скромные достижения...

— Преувеличиваю? Позвольте вам на это ответить чуть позже, а сейчас я приглашаю всех ко мне — отметить столь знаменательное событие. Друг мой, — Александр Николаевич, понизив голос, тронул меня за рукав, — вас не затруднит послать кого-нибудь в лавку за винами и закусками? Сегодня будем праздновать всю ночь. Мы имеем на это право. Заслужили! — Тут он снова возвысил голос, чтобы его слышали все собравшиеся в Храме: — Или кто-нибудь со мной не согласен? Сознаться, я не обижусь.

— Я не совсем согласен, прошу прощения, — донесся чей-то вежливый голос из глубины Храма.

Все разом обернулись. Вперед выступил незнакомец, одетый как служащий почты.

— Кто вы? — спросил Скрябин, пытаясь соединить половинки дирижерской палочки (он все-таки сломал ее).

При этом Александр Николаевич бросал пытливые взгляды на незнакомца, стараясь вспомнить, где он все-таки мог его видеть.

— С вашего позволения, новый почтмейстер. Меня недавно назначили.

— Ах, почта! Ну, и почему же? Почему вы не согласны?

— Не совсем так, извиняюсь. Я со всем согласен, но только вам телеграмма.

— Откуда? От кого?

— Опять же извиняюсь, из России...

— Дайте, я прочту.

— Извольте. — Почтмейстер протянул телеграмму, хотя Александр Николаевич не мог ее взять в руки, поскольку был от него далеко. — Но только здесь нечего читать.

— Как это нечего! Что за шутки! — Скрябин раздраженно бросил на пол обе половинки сломанной палочки, но затем заставил себя улыбнуться и их поднять.

— Да уж так... такая вот незадача.

— Почему это нечего читать? Объясните, наконец!

— Потому что мой телеграфист принес мне пустой лист бумаги. Имя получателя есть, адрес указан, а самой телеграммы нет.

— Куда ж она делась? Может быть, ваш телеграфист?..

— Нет, нет, — предупредил почтмейстер возникшую у Скрябина ложную догадку, — он не злоупотребляет... Убежденный трезвенник.

— Ну а подпись, подпись? Подпись какая-нибудь есть?

— Есть.

— Какая же? Прочтите.

Почтмейстер надел очки, словно они ему вдруг зачем-то понадобились, хотя он помнил и без них, чья это подпись.

— Скар-лат-ти, — по слогам прочел почтмейстер и оглядел собравшихся поверх очков, показывая всем, что, если бы он не читал, а положился на память, результат оглашения подписи был бы тот же. — В скобочках же помечено: революционер.

Параграф восьмой **ЧИСТАЯ СКРИЖАЛЬ**

Странную телеграмму Скрябин все-таки получил от почтмейстера в руки. Он придирчиво осмотрел ее со всех сторон, тронул отполированным ногтем, долго и пытливо изучал на свет. И в конце концов, к своему удовлетворению (или полному разочарованию), убедился, что, кроме подписи, действительно ничего нет — пустой лист бумаги.

Но зато какая подпись — подобная дамасскому клинку, со стальным отливом!..

Все присутствующие при этом некоторое время пребывали в нерешительности, перешептывались и переглядывались, выдвигая насчет телеграммы самые различные домыслы. Но все-таки сошлись во мнении, что, скорее всего, тут какая-то ошибка. Кто-то попросту сплосховал, перепутал, напортачил, как это умеют созерцательные индийцы, для которых восход или закат требуют более пунктуального внимания, чем все служебные дела.

Вот и вышла неразбериха — подобная той, что часто случается на почте, особенно по части телеграмм из России, ведь телеграфный кабель приходится тянуть через полсвета, через множество границ, по дну моря и высоко в горах. Об этом заявили самые сведущие из числа собравшихся и даже перечислили страны, вовлеченные в прокладку кабеля (эта история — давняя).

На этом все понемногу успокоились и поутихли. В наступившей тишине (тихий ангел пролетел) кто-то с шутливо-глубокомысленным недоумением спросил:

— И все-таки почему?..

— Что, собственно, почему? — тотчас накинулись на него. — Чему именно вы ищете причину?

— Ну как же, как же, позвольте... этот почтмейстер и странная телеграмма... чему же еще!

— Странная и странная... бог с ней. Зачем непременно доискиваться до причин. Этак и свихнуться можно.

— А я вам вот что скажу, — выступила вперед одна из теософствующих дам, желая обратить на себя внимание. — Этот лист бумаги — чистая скрижаль. Наступит час, и проступят таинственные знаки на сей скрижали перстом Всевышнего будет начертано...

— Алеф! Конечно же, Алеф!

— А хоть бы и Алеф!

— Нет, господа! «Мене, мене, текел, упарсин» — как на стене ресторана, где пиршествовал библейский деспот Валтасар.

— Ну, тогда уж не ресторана... Придумайте что-нибудь другое.

После этих слов кое-кто из оркестрантов даже попытался закурить, пуская дым с таким важным видом, словно это иронически соответствовало напыщенной серьезности сказанного. Но его вытолкали из Храма, чтобы там не пахло табаком.

А затем все направились к Скрябину, чей письменный стол был вынесен из комнаты, а вместо него установлены большие столы, которые к тому же заняли немало места в коридоре (дверь пришлось держать открытой).

Все расселись, заправили за ворот салфетки, откупорили бутылки, накрошив на скатерть сургуча и пробки, и стали праздновать — на этот раз (у нас что ни раз, то праздник) чествовать Скрябина и Генри Вуда как героев дня. Гул голосов заглушили тосты, здравицы и звон бокалов.

Скрябин тем временем отыскал среди гостей Генри Вуда, чтобы продолжить с ним начатый в Храме разговор:

— Нет, уж позвольте мне сегодня высказать все до конца. Вам не избежать моих поздравлений и комплиментов.

— А как же мой грех?.. — Генри намекал на свое бегство.

Александр Николаевич был великодушен.

— Прощено и забыто.

— В таком случае я весь внимание...

Скрябин старался говорить как можно тише, чтобы не мешать застольным разговорам, но за столом все сразу замолкли, прислушиваясь к нему:

— Светомузыка — вот он истинный экстаз, последнее содрогание мира, к которому я приближался в моей музыке, но которое только сейчас обрело осязаемые, выпуклые, рельефные формы. Формы мирового катаклизма! Дематериализация! Переход всего сущего в новое состояние, названное в Апокалипсисе новым небом и новой землей. И ваш гений, дорогой Генри, этому способствовал. Вы — со всеми вашими странностями и причудами — избранник Мистерии!

Тот снова поклонился, как в Храме, но на этот раз молча. За столом заплотировали.

— Но позвольте вам заметить, что это, — Скрябин выделил голосом слово, заключавшее в себе слишком много, чтобы заменить его другим, — это нельзя давать сразу. Участников Мистерии к этому надо подвести и подготовить. Я решил, что накануне Первого дня, вечером, при свечах, — теперь Скрябин обращался не только к Генри, но и ко всем собравшимся, — я исполню мои Пять прелюдий опус семьдесят четыре — последние, написанные мною. Это еще не Мистерия и в то же время уже Мистерия. Мистерия, господа, но как бы в зародыше, написанная для фортепиано, особенно вторая из прелюдий — я называю ее Белая смерть. Надо только знаете, что... надо непременно достать хорошее фортепиано. То пианино, что стоит у меня в комнате, решительно не годится. Нужно очень хорошее, раз уж нет рояля. Найдите! — воскликнул он, обращаясь ко мне, словно с этой просьбой — этой мольбой — больше не к кому было обратиться.

— Достанем, Александр Николаевич, — пообещал я. — У меня есть кое-что на примете.

— Я на вас надеюсь. Надеюсь и верю, что за вами не пропадешь, — сказал или только хотел сказать Скрябин, но забыл о своем намерении под влиянием внезапно родившейся мысли.

Об этом я расскажу в следующем параграфе моего донесения. Переверните страницу, господа полицейские.

Параграф девятый

БАРАБАНЫЕ ПАЛОЧКИ

— И вот что еще... — Скрябин тронул каштановую, слегка вьющуюся бородку с красивой проседью, словно ему необходимо было высказать родившуюся мысль, предва-

рив это каким-либо жестом — неважно, каким именно, лишь бы он косвенным образом указывал на нее. — Мне хотелось бы, чтобы все мои единомышленники знали, хотя, возможно, не каждый это поймет. Да, наверное, и не нужно, чтобы все понимали. — Александр Николаевич опустил свои карие глаза, чтобы никто из присутствующих не принял это на свой счет. — Как я уже сказал, мой последний опус, созданный в той — прежней — жизни, до того, как я, с позволения, умер, хотя при этом не скончался, поскольку моя жизнь продолжается — да простится мне сей каламбур... итак, мой последний опус — семьдесят четвертый. Таким образом, на Мистерию, если продолжить проставлять опусы, как это принято у композиторов, приходится семьдесят пятый опус. В этих двух числах — семидесяти четырех и семидесяти пяти — заключена тайна. И эту тайну мы можем разгадать с помощью сакральной нумерологии, заключенной в картах Таро.

— Это в тех самых картах?.. — насмешливо спросил один из оркестрантов, дополнив свои слова жестом тасующего и сдающего за карточным столом.

Скрябин оставил насмешку без внимания и продолжил:

— Семерка и четверка в сумме дают одиннадцать. А семерка и пятерка — двенадцать. Начнем наше рассуждение с двенадцати. По учению Таро, это число совершенное, знаменующее преобразование, переход в век грядущий — переход, возможный лишь для тех, кто достиг богоподобного состояния. Библия это подтверждает, и подтверждает неоднократно.

— Что-то я не помню, чтобы Моисей увлекался картами, — сказал тот же оркестрант, игравший на ударных и, как все ударники, не любивший серьезных разговоров и вечно искавший повод для шуток.

Скрябин на этот раз возразил, но в самой уклончивой форме:

— А вы все-таки вспомните...

— Что именно?

— Хотя бы то, сколько времени Моисей провел в Египте.

— Провел в Египте, ну и что?

— А то, что как посвященный он имел возможность получить наставления жрецов, приобщиться к египетской мудрости; Египет же — родина Таро.

— Любопытно, но чем-то, знаете ли, отдает Блаватской...

— Не смей! Не смей порочить имя Елены Петровны! — вмешалась самая гневливая из теософствующих дам, с кем ударник не решился спорить.

— Умолкаю, умолкаю...

Скрябин едва заметным кивком поблагодарил даму за своевременное вмешательство, позволившее ему продолжить:

— Если угодно, вот вам примеры... Число двенадцать встречается в Библии постоянно, особенно в Новом Завете. Двенадцать сыновей Иакова, двенадцать учеников Христовых и двенадцать раз плодоносящее древо жизни. Или, скажем, Христос обещает апостолам, что, когда Он явится в славе Своей, они сядут на двенадцати престолах судить двенадцать колен израилевых.

— А как же Иуда? — не унимался ударник.

— Что Иуда?

— Он же предатель, продал Христа...

Скрябин упреждающим жестом ладони заверил всех, что ему эти факты известны не хуже, чем ударнику.

— В том-то и дело, что лишь только Иуда предал и число двенадцать убыло на единицу, оно тотчас было восполнено: на место Иуды избрали некоего Матфия. О нем «Деяния апостолов» вряд ли упомянули бы, если б не необходимость подчеркнуть,

что общее число апостолов не уменьшилось. И наконец, возьмем Апокалипсис. Образ жены, облеченной в солнце! Под ногами у нее луна, а на голове венец из двенадцати звезд. Этот образ толкуют по-разному, я же убежден, что это — Мистерия. Да, да, жена, облеченная в солнце, — это моя Мистерия! Во всяком случае, числовое значение двенадцати отвечает духу Мистерии, которая и есть преобразование и обожение всего мира.

— Чем же вам не угодило число одиннадцать, если вы так восхваляете двенадцать? Ведь не угодило же, надо полагать... — Ударник предался собственным вычислениям, позволившим ему сделать такой вывод.

— Вы правы... — Александр Николаевич был вынужден признать, что и его противник способен иногда оказаться правым. — Число одиннадцать не столь совершенно. А вернее, ни о каком совершенстве тут вообще речь не ведется, поскольку число это нехорошее, дурное, скверное, можно сказать, число.

— Позвольте, позвольте, — запротестовал ударник, — одиннадцать при игре в лото — это барабанные палочки, а барабан — один из моих главных инструментов.

— И тем не менее вынужден вас огорчить. Одиннадцать — символ упрямого сопротивления духовному, нежелания признать высшую истину, погруженности в заботы материального мира — словом, символ того, что меня всегда угнетало и мучило, из чего я жаждал вырваться и освободиться, как от удушающего морока. Да и не только я один... Таким образом, двенадцать — это свобода, а одиннадцать — узилище, темница, плен. Я могу привести примеры, если требуется.

— Будьте любезны — хотя бы один примерчик... Ждем-с. — Ударник принял выжидательную позу. — Изнываем от нетерпения.

— Ну, почему же один? Примеров много. Число одиннадцать столь же часто встречается в Писании и всегда с одним значением несовершенства, греха и тления. Седекия одиннадцать лет царствовал в Иерусалиме. И как сказано о нем, делал он «неудное в очах Господних». Или вот еще... — Скрыбин достал из кармана маленькую Библию и прочел: — «Находился город в осаде до одиннадцатого года царя Седекии... и взят был город».

— А из Нового Завета?

— Пожалуйста. В тот момент, когда апостолов было именно одиннадцать, Иисус говорит им, что все они соблазнятся о нем.

— И какой же вывод из всего этого? Не пора ли всем нам поднять бокалы — если не за Седекию, то за всех нас? — Ударник заметил, что друзья-оркестранты скусающе поглядывают на вина и закуски.

Прежде чем все поднимут бокалы, Скрыбин все-таки решил сказать:

— А вывод такой, что переход от семидесяти четырех к семидесяти пяти...

— То же самое, что переход от трезвости к опьянению, — подхватил ударник, и все заплодировали его шутке.

Параграф десятый

ЧЕСТНОЕ ИМЯ СЫСКА

Когда я относил на почту очередное послание, чтобы отправить его заказным письмом, я узнал в новом почтмейстере графа Арбенина. Собственно, узнал-то я раньше, когда он только появился в Храме, где Скрыбин и Генри Вуд опробовали световой орган, но тогда все мое внимание целиком поглощала принесенная почтмейстером телеграмма, вернее, пустой лист бумаги. Сейчас же ничто меня не отвлекало, и я всматривался в лицо почтмейстера, узнавая черты графа, который снова прибегнул к маскарду, продолжая свою слежку за Скрыбиным.

— Вот, господин почтмейстер, прошу отправить заказным. — Я протянул ему конверт.

— Пожалуйста, пожалуйста... Куда отправить? Ага, Петербург. Это вам обойдется... — Он защелкал на счетах.

Я с готовностью достал деньги, но он почему-то забыл, с какой целью решил воспользоваться счетами, и продолжал на них щелкать, словно это само по себе доставляло ему удовольствие.

— Ну, и сколько же?.. — спросил я, чтобы просто так не держать перед собой портмоне. — Сколько вы там насчитали?

— А мне и считать не надо. Я и сам не раз посылал по этому адресу. Сумма мне хорошо известна.

— Вы — Арбенин? — спросил я напрямую.

— Арбенин.

— Я вам зачем-либо нужен?

— Нужны, нужны. Очень, мой друг, нужны. Можно сказать, позарез. — Он провел ладонью по горлу, словно острым лезвием. — «На друга точит лезвие». У кого это? Кажется, у Блока?

— У Блока, но у него сказано несколько иначе: «Под снегом точит лезвие».

— Однако как вы начитанны! Но все равно. Ведь на друга же точит. У вас ведь тоже есть друг...

— У меня много друзей...

— Но один — особенный... — Арбенин всем своим видом показывал, что какие-либо из своих чувств он, может быть, и скрыл бы, но уважение к особенному другу скрывать не стал. — Мистагогию тут... уж не знаю, как лучше сказать — сочинил или учинил...

— И что вы предлагаете?

Граф Арбенин сразу не ответил — стал оглаживать руки, держа их перед собой, прогибая в запястьях, забираясь пальцами меж пальцев и тем самым выражая некое мыслительное усилие, предшествующее тому, чтобы высказаться.

— Надеюсь, вы меня поймете. — Снова пальцы в пальцы — и прогиб. — Если Мистерия есть некий спектакль, то я предлагаю вам роль — одну из главных...

— Какую же именно?

— Белой смерти, — небрежно уточнил он. — Этакая, знаете ли, вьюга, метель, поэмка, и сквозь кружение снега — является она, Белая смерть...

— Какая же в Индии метель!

— А что? Где-нибудь в горах, на вершинах Гималаев... очень может быть... Случается, что и тигриное логово так заметет, и орлиное гнездо... Но я имею в виду другое. — Он стал поочередно раскручивать колесики на дужках счетов, стараясь занять этим мое внимание. — Тут я краем уха слышал рассуждения о семьдесят четвертом опусе — о пяти прелюдиях. Ах, какая музыка! Какая музыка! Мурашки по коже. Так вот, если не ошибаюсь, ваш особый друг собирался эти прелюдии исполнить аккуратно накануне Первого дня Мистерии. В том числе и вторую прелюдию — как же без нее! Без нее никак нельзя. Ладно бы там без первой, третьей или четвертой, но без второй — никак. Решительно невозможно. Она ведь и есть эта самая Белая смерть, как сам автор ее назвал. Вот и хорошо бы неким образом устроить, чтобы эта самая Белая смерть его во время исполнения к рукам-то и прибрала. Сцапала! Клацнула зубами! Эффектная вышла бы сцена! Конфетка! Леденчик за щекой! Ах, ах! Творец семьдесят четвертого опуса окочурился во время его исполнения! И нет никакой Мистерии. Стоп машина!

— Ну, а я здесь при чем? — спросил я после испытующе долгой паузы.

— Как это при чем? — спросил Арбенин, затягивая паузу и тем самым предлагая мне задать еще более нелепый вопрос, чем я задал. — Без вашего содействия Белая смерть клацнуть не может. В том-то ваша роль и заключается, чтобы клацнуть вместо нее, родимой. Лезвием-то полоснуть. — Арбенин снова скользнул ладонью по горлу.

— Но я, простите, не головорез и не убийца.

— А кто же вы? Овечка, щиплющая травку?

— Я, с вашего позволения, просто ставлю в известность, описываю события и посылаю донесения. Вот и сейчас принес вам конверт, чтобы вы соизволили...

— Не позволю! — вскричал, чуть ли не взвизгнул Арбенин. — Не позволю марать честное имя сыска! Вспомните, с чем вы были сюда посланы, с каким заданием, данным вашей милости там, куда вы изволите отправлять заказные письма.

— Но мне было сказано, чтобы я при необходимости заменил вас. А где ж она, эта необходимость?

— Милый мой, здоровье мое никуда, да и годы берут свое.

— Не приbedняйтесь.

— А кроме того, принято решение: во время исполнения Белой смерти Скрябина следует ликвидировать. Решение принято и не обсуждается. Так же, как и ваша роль благородного спасителя человечества.

— Я отказываюсь. Меня не для этого мои родители произвели на свет.

— Милый мой, родители и не подозревают, ради чего они производят свое потомство. Тут уж распоряжается кто-то другой. Но хорошо, хорошо, допустим... Воспитание и все прочее. Погладить по головке или поставить в угол. Ставили вас в угол, когда вы были ребенком?

— Случалось.

— Меня ставили так часто, что я в своем углу каждую трещинку на обоях помню, каждый вздувшийся пузырик, каждую паутинку. Папа и мама думали, что этим исправляют мой характер. О, я их очень люблю, но они заблуждались, как и все прочие папы и мамы. Характер не исправить. И знаете почему? На этот вопрос ответил ваш особенный друг. Ответил одним словом: эрос! Я уже тогда был под властью эроса. Я без конца влюблялся — даже в моих теток. А уж девочки на даче, где мы жили летом, — я уж не говорю. Любовь была страстная. Вы испытывали в детстве страстную любовь?

— Ну, бывало... Не знаю, правда, насколько страстно, но влюблялся.

— Значит, это еще не эрос. Ваш особенный друг скажет вам то же самое, потому что эрос — это страсть. Хотите, расскажу один случай? Исповедуюсь перед вами?

— Избавьте меня от столь высокой чести. Я не священник, чтобы исповеди принимать.

— Как скучно вы это сказали! Между тем чужая исповедь — тончайшее наслаждение, тоже своего рода эрос — так же, как и собственная...

— По-вашему, эрос — это чуть ли не все, что нас окружает.

— Да не по-моему, а ваш особенный друг так считает. Он этот эрос познал еще ребенком, недаром, лишившись матери, был так откровенен со своими тетушками и их в ответ вынуждал на всякого рода откровенности. Отсюда же — задуманные им эротические касания человечества на Третий день Мистерии. Однако раз обещал, то рассказываю. Извольте слушать. Или хотя сделать вид, что слушаете, чтобы мне не рассказывать самому себе. Извольте, извольте, иначе придется взыскать с вас за неисполнение.

Арбенин оставил за собой право на взыскательность, хотя при этом исподволь показывал, что ему как давнему моему знакомому не чужда и некая снисходительность.

Параграф одиннадцатый **РАСПЛАКАЛАСЬ И ПОЦЕЛОВАЛА**

— Мне было тогда лет семь с половиной. Летом мы, как всегда, жили на даче, и я был страстно влюблен в соседскую девочку Леру Кривоухову. Казалось бы, из-за такой фамилии должны ее дразнить Кривое Ухо или нечто подобное, но девочки ей во всем завидовали и поэтому помалкивали. Мальчишки же дразнить не решались, потому что Лера была самой красивой в дачном поселке. Ну а я готов был с кулаками броситься на каждого, кто позволил бы себе не то что дразнить, но хотя бы косо посмотреть на Леру. Однажды — не помню уж, по какому случаю, — среди детей устраивался маскарад, в котором отчасти принимали участие и взрослые... раз уж я Арбенин, то как же без маскарада. Лера сшила себе волшебное платье из марли с воланами, блестками и лентами — глаз не оторвать. Надо было только хорошенько выгладить его и расправить замявшиеся складки. И вот она гладит это платье... знаете, были такие чугунные утюги, куда клали раскаленные угли, чтобы в них подольше держался жар. Она усердно гладит, а я, остолбенев, как замороженный, смотрю. И этим ей, конечно, надоедаю, поскольку Лера вынуждена отвлекаться, поминутно оборачиваться в мою сторону и грозить мне остреньким кулаком, чтобы я не засматривался. Я же вопреки всем угрозам смотрю и люблюсь ею, как она слюнявит палец, чтобы попробовать, хорошо ли нагрелся утюг и в то же время не подпалит ли он марлю: тоже тонкая работа, со своими секретами. Но любоваться — значит любить. Вот и я люблюсь и люблю. Любуюсь и люблю, а обо всем остальном напрочь забываю. Лера же, заранее наслаждаясь будущим успехом на маскараде и в то же время своей красотой, ловкостью, изяществом движений и своей властью надо мной, замороженным или, лучше сказать, замороженным, как говорил мой дачный приятель, плохо произносивший некоторые буквы (его прозвали Каша во Рту). Замороженным от счастья, неземного блаженства... И вот Лера по рассеянности, неосторожности и от упоения собой ставит раскаленный утюг — вместо чугунной подставки — мне на руку. Ожог был ужасный. Боль нестерпимая. Я же при этом, верите ли, даже не вскрикнул и не отдернул руку. Я терпел эту инквизиторскую пытку, хотя от руки уже запахло паленым и по всей ладони расплылся красный волдырь. Ну, как вам мой рассказ? Недурно?

Не скрою, что рассказ Арбенина меня захватил, поразил — пробежал зябкими мурашками вдоль позвоночника. Это уже был не маскарад. Я чувствовал себя так, словно мне на руку поставили раскаленный утюг, и я от этого ору благим матом.

— Ну, и что же ваша Лера? — только и смог я произнести дрогнувшим голосом.

— Лера заметила, вскрикнула от ужаса... Она назвала меня дураком, кретином, сумасшедшим, оттолкнула, закричала, чтобы я больше не приходил и вообще не показывался ей на глаза. И тут же расплакалась и поцеловала мою обоженную руку. Страстно поцеловала. Припала к ней губами. Вот он настоящий эрос! Вот как надо гладить платье! — Арбенин усмехнулся и быстрым касанием мизинца расправил у рта замявшуюся складку.

Параграф двенадцатый **ГОСПОДЬ УПОРСТВУЮЩИХ НЕ ЛЮБИТ**

— Теперь вы, надеюсь, выполните деликатное поручение? — Арбенин принужденно зевнул, словно мой ответ был настолько очевиден, что не вызывал у него никакого интереса.

— Почему теперь? Не вижу тут связи...

— Не знаю, право... — Он стал придирчиво рассматривать ногти на руке, и особенно один, почерневший, ушибленный молотком. — Мне казалось, что под впечатлением от моего душещипательного рассказа...

— Рассказ действительно произвел на меня впечатление, и я это признаю. Но при чем здесь деликатное поручение?

— Опять вы, мой друг, упорствуете. Это вас не украшает. Господь упорствующих не любит, да и начальство тоже их не жалует... Я вот недавно упорствовал, всаживая в стену гвоздь, и саданул молотком по пальцу — аж ноготь весь почернел, всю красоту мне испортил.

— Сочувствую. Но с начальством я как-нибудь сам объяснюсь. — Я повертел в руках конверт, желая убедиться, что он все-таки — вопреки всем гримасам, ужимкам и глумливым выпадам Арбенина — будет послан по указанному адресу.

— Объяснитесь, дорогой мой. Объяснитесь. — У рта Арбенина стала вновь собираться извилистая складка. — Только подберите подходящие слова и не затягивайте сию процедуру. Начальство не любит, когда затягивают.

ДОНЕСЕНИЕ ДЕСЯТОЕ

Параграф первый

ПОГРЕМУШКА МИХЕИЧА

Наступил октябрь, для далекой России — «Осенняя песня» (впрочем, Скрябин Чайковского, как уже сказано, не любил) с дождями, промозглым, серым ненастьем и летящими по ветру, вывернутыми наизнанку листьями, а для Индии — благодатный месяц, спасительный мостик между адом и раем — влажным, удушливым летом и сухой зимой.

Погода — немногим за тридцать, тридцать два — тридцать три по нашему термометру, привезенному из Москвы в особом футляре и прибитому гвоздиками за окном.

Прибивал сам Александр Николаевич, который при его мнительности и вечной боязни простудиться испытывал болезненную тягу к термометрам, барометрам и прочим метеорологическим приборам, обращался с ними бережно (дрожал над ними, как над любимыми игрушками) и ревниво. Никого из посторонних к ним не допускал. Всегда сам снимал с них показания и записывал в особую тетрадь для метеорологических наблюдений.

Однако вернемся к погоде — тем более что я один из немногих, кого Скрябин допускает до этих наблюдений. Правда, результаты я записываю не в его тетрадь, а в свой дневник

Сезон муссонных дождей (СМД, как я его обозначаю для краткости) постепенно сходит на нет, скрадывается, истончается, как дурная карма после праведных деяний и нравственных подвигов. Небо очищается от хмурых облаков, яснее, прозрачнее, обретает эмалевый блеск, становится голубым и высоким.

Воды священного Ганга больше не зыблются, не плещут, не накатывают, не стекают по прибрежному песку, шевеля камушки, не вздымаются волнами под напором шального ветра, не гремят, словно выстиранные простыни, которыми встряхивают хозяйки, и на закате отливают мраморной гладью.

И на сердце становится хорошо — наступает блаженная отрада, склоняющая к созерцательности и безмятежному спокойствию духа, — самое время для апокалипсиса.

Я не шучу (грех шутить такими вещами). Глубоко заблуждаются те, у кого апокалипсис вызывает лишь чувство оторопи, ледящего душу смятения и панического ужа-

са. Нет, слегка перефразируя Тютчева, «в нем есть душа, в нем есть свобода, в нем есть любовь, в нем есть язык».

В апокалипсисе-то свобода? И к тому же любовь в нем выискали? Ха-ха! Не слишком ли? А вот не слишком, поскольку Божий гнев — не от людского гневления, а от высшего милосердия и сострадания, коего без любви-то как раз не бывает.

Впрочем, толковать апокалипсис (чем я подчас занимаюсь, как Лебедев у Достоевского) — не столько мудрость, сколько дерзновение, причем на русский, насадный и заковыристый манер — дерзновение сродни тем, что побуждают, смастерив на скорую руку крылья из фанеры, сигануть с колокольни и, распластав эти самоделки в воздухе, насладиться гибельным восторгом.

Насладиться перед тем, как рухнуть в стог гнилого сена или копенку соломы, поломать руки и ноги и возблагодарить Бога за то, что при этом чудом остался жив.

Вот где апокалипсис, вот где Лебедев, а с ним — и сам Достоевский...

Так после беготни по коридору, ора, визга и внезапного звонка, созывающего гимназистов в классы (коридорный дядька Михеич трясет над головой своей погрешкой), наступает время для урока.

Урока — с вызовом к доске, вопросами, кто такой Гвидо де Кавальканти и чем он отличается от Гвидо де Ареццо, и проставлением отметок в графе учительского журнала — при том, что в Своей невидимой и тайной графе выставляет отметку Всевышний.

Параграф второй **ПРОДАЮТ ИМУЩЕСТВО**

Оставалась неделя до начала Мистерии, а мне никак не удавалось достать подходящее пианино, чтобы накануне Первого дня Скрябин исполнил на нем свои Пять прелюдий опус семьдесят четыре. Все пианино оказывались настолько разбитыми, расстроенными, со сломанной педалью (одной, а иногда и двумя педалями зараз), лопнувшими струнами — словом, не поддающимися ремонту, что я уже стал терять надежду.

Вернее, не так (буду до конца откровенным). Предыдущую фразу я зачеркиваю и поверх вписываю новую. С каждой неудачей в моих поисках я обретал надежду — надежду на то, что пианино так и не будет найдено, Скрябину не удастся исполнить прелюдии, и поэтому Белая смерть не настигнет его, и он избежит участи стать ее жертвой.

Я с такой неотвязной мнительностью предавался размышлениям о Белой смерти, что она стала казаться мне Духом, который по странной причуде обитает не столько даже в испорченных и расстроенных, сколько во всех настроенных и отремонтированных пианино, готовых к тому, чтобы извлекать из них магические звуки. Поэтому после каждого осмотра я с облегчением вздыхал: слава богу, и это не годится... и это, и это...

А значит, Скрябин спасен, и возложенное на меня деликатное и роковое поручение отпадает.

И тут вдруг мне попался кабинетный рояль, причем в отличном состоянии, после недавней настройки — хоть сейчас же садись и играй. Вот когдадохнул мне в лицо призрак Белой смерти. Случилось это так.

Я обошел все центральные улицы нашего городка — от богатых, шикарных и праздных (ремесленников и торговцев оттуда гнали взащей) авеню до глухих, утопающих в садах переулков, где, по моим предположениям, могли обитать здешние учителя музыки и преподаватели сольфеджио.

Но из открытых окон не доносилось ничего напоминающего звуки пианино. И среди расклеенных на столбах объявлений я не прочел ни одного извещающего о жела-

нии купить музыкальный инструмент или о его продаже — не то что пианино, но даже плохонькой гитары или прохудившегося барабана.

Странное дело, — размышлял я, — ведь англичане, переселяясь в Индию, должны были завезти сюда инструменты для извлечения хоть каких-то звуков, отличных от лая собак (эта вечная любовь англосаксов к домашним животным) и звона посуды.

Но нет, не завезли.

Во всяком случае, наш городок не мог этим похвастаться, хотя лай собак и звон посуды раздавались повсюду.

Поэтому, обойдя центр, я забрел на окраину — с единственной целью прогуляться и отдохнуть от бесплодных поисков. Но тут меня ждал приятный, даже чарующий сюрприз. Из открытых окон белого особняка, построенного в колониальном стиле, окруженного высокой стеной и накрытого пальмовыми зонтами, я услышал звуки рояля.

Вот оно очарование — во всяком случае, для меня!

Именно рояля, а не пианино: я уже научился отличать одно звучание от похожего, но все же совсем другого: пианино и рояль — разные инструменты, как кошка и тигр, хоть они и принадлежат одному семейству, все-таки разные животные (в чем никому не рекомендую убедиться на собственном опыте).

Поскольку дом был явно богатый, я не решился войти за калитку, хотя она и была приоткрыта, но чтобы привлечь к себе внимание... заплотировал и даже по привычке всех завсегдатаев концертных залов и зальчиков воскликнул: «Браво!» На балкон тотчас выбежала прелестная девочка в белом платье и панталонах — выбежала, чтобы взглянуть на меня.

С одной стороны, ее одолевало любопытство, кому это настолько понравилась ее игра, что он выразил свой восторг таким образом. Но с другой стороны, детей часто одновременно охватывают противоположные чувства, смешиваясь самым причудливым образом.

Вот и моя юная музыкантша — при одолевавшем ее любопытстве — была вся заплаканная. Едва взглянув на меня и убедившись, что перед ней не кудесник, не фокусник и даже не уличный шарманщик с привязанной цепью обезьянкой, а обычный прохожий, она хотела тотчас вернуться к своим занятиям, но я остановил ее вопросом:

— Это ты играла?

— Да, я, — ответила она, как дети отвечают взрослым, если их вопросы не вызывают никакого интереса.

— А почему же ты плачешь?

— Потому что наш рояль продают.

— Вероятно, тебе хотят купить новый инструмент?

— Ах, если бы! Но причина не в этом.

— А в чем же?

Девочка некоторое время раздумывала, стоит ли отвечать незнакомцу, задающему столь настойчивые вопросы, но все же ответила:

— В том, что скоро конец света.

— Конец света? С чего ты это взяла?

— Все это знают. А вы разве не знаете?

Я притворился, будто ведать не ведаю, о чем она говорит.

— Впервые слышу.

— Ну, тогда знайте. — Девочка оглянулась по сторонам и понизила голос. — Приближается конец света, то есть Мистерия. Вокруг построенного недавно Храма собираются толпы людей. Все ждут. А в нашем городке все срочно распродают иму-

щество, потому что потом ничего уже не понадобится, и надо успеть выручить хоть какие-то деньги.

— Зачем же деньги, если все рухнет?

— Все-таки деньги надежнее, чем вещи, — сказала она с рассудительностью взрослой. — Шкафы, диваны мы уже продали, а вот рояль... покупателя все еще нет.

— Я куплю ваш рояль.

Тут девочка вспомнила, что она еще не взрослая и ей жаль лишиться рояля, кому бы он ни достался.

— Прошу вас, не покупайте. Не покупайте! Мне так больно с ним расставаться! К тому же мой учитель задал мне к следующему уроку выучить багатель Бетховена и хотя бы разобрать вальс композитора Скрябина. Он мне так нравится!

— Ну, раз тебе нравится Скрябин, то, пожалуй, я... — сказал я, раздумывая, что лучше — обрадовать ее сейчас, а огорчить позже или, наоборот, сейчас огорчить, а потом обрадовать. Я все-таки выбрал первое: — Пожалуй, чтобы тебе угодить, я покупать не стану.

Так я сказал, но все-таки на следующий день купил рояль.

Купил почти за бесценок, из-за чего мне стало немного стыдно, и я, расплачиваясь, добавил несколько крупных купюр — на будущее приданое юной музыкантши.

Параграф третий АУФТАКТ

Ах, что это было за время — неделя перед началом Мистерии! Скрябин сравнивал ее с ауфтактом, который взмахом палочки дает дирижер перед вступлением оркестра, чтобы музыканты вовремя собрались, настроились и свое вступление не проспали.

Но одно дело мгновенный взмах, а другое — если ауфтакт растягивается на неделю, а то и на две, поскольку точной даты начала Мистерии мы все еще не знали (Скрябин с наивностью верил, что магическое число должно проступить на пустом бланке полученной телеграммы).

Не знали и лишь условно связывали ее с двадцать пятым октября. Хорошо, если двадцать пятое, а там может случиться, что и двадцать шестое, двадцать восьмое или даже тридцатое, хотя лучше всего тридцать второе или тридцать третье (Скрябин предлагал специально для Мистерии ввести в календарь дополнительные дни).

Словом, не угадаешь!

Поэтому что удивляться тому, сколько обрушилось на всех нас забот и неотложных дел — голова шла кругом! Мы со Скрябиным совершенно сбились с ног, вымотались и измучились, занятые расселением прибывших по гостиницам — каждого надо взять за руку и отвести, выдачей постельного белья (кастелянша заболела, и приходилось самим), устройством обедов и завтраков.

И все это в спешке, поскольку времени нет. И к тому же чего-нибудь непременно не хватит — места в гостинице или палаточном городке, одеяла с подушкой, запасов еды, а иной раз и просто выдержки и душевного терпения. Подчас даже безукоризненно деликатный и безупречно вежливый Скрябин срывался. Он начинал крутить свой ус, подергивать бородку и пофыркивать, словно ему не удавалось иначе избыть скопившиеся раздражение и досаду.

При этом он просил меня засвидетельствовать его состояние, чтобы оно впоследствии могло служить ему же укором (Александр Николаевич себе ничего не прощал):

— Вот видите, в кого я превратился! Это же черт знает что! Этак еще немного, и начну браниться, как лавочник! Или — того хуже — биндюжник в Одессе!

— Вы там бывали?

— Помнится, исполнял свой только что написанный фортепианный концерт, а Сафонов дирижировал. Мы опаздывали на репетицию, нервничали и стгоряча взяли биндюжника, хотя могли бы и пешком дойти. Биндюжники в Одессе! Вот кто ругается! На чем свет стоит!

— Свету стоять недолго осталось, — зачем-то сказал я, хотя лучше было бы на этот счет промолчать. Нам обоим стало неловко. Вернее, мне стало неловко за свои слова, а Скрябину стало неловко за меня. Чтобы выпутаться из создавшегося положения, я вернулся к началу разговора и произнес: — Вам это не грозит.

Александр Николаевич не сразу понял:

— Что именно не грозит?

— Ругаться, как биндюжник.

— А я уж было подумал, что не грозит конец света. Почему вы так считаете?

— Тому порукой ваша деликатность, — отвечал я, опуская глаза, чтобы Александр Николаевич не мог отыскать в моем взгляде чего-то, что дало бы ему повод мне решительно возразить.

Но — нерешительно — он все-таки возражал:

— Ну, уж не выдумывайте. И не льстите мне. К сожалению, меня в детстве избаловали лестью, и это испортило мой *la nature* — характер.

— Вас скорее избаловали лаской.

— И лестью, лестью, мой друг, особенно по части моих музыкальных успехов. Черкну какую-нибудь простенькую мазурку, а тетушки от восторга заходятся и рукоплещут.

— Что с ними было бы, если бы они услышали вашу Мистерию или хотя бы Предварительное действо!

— Действо тетушка Любовь Александровна слышала из-за стенки моего кабинета. Я часто играл отрывки Леониду Сабанееву. Этот действительно понимал. Схватывал самую суть. Мне иногда казалось, что будь он композитором, сочинил бы лучше меня.

— Ну а тетушка? Слышала, и что же?

— Сказала, что чуть было не сошла с ума, хотя сама наверняка подумала, что это я сошел с ума, раз пишу такую музыку. Что ж, такая музыка и такие они, тетушки!

Нам пришлось прервать разговор, потому что нас снова позвали. Нужно было в очередной раз что-то улаживать, устраивать, утрясать, уминать, и тут уж не до разговоров.

Параграф четвертый ТИ-И-И-У

А сколько времени отнимали репетиции — не столько по отдельности с оркестром, хором и кордебалетом, сколько попытки свести их вместе, добиться согласованности и гармонии! «Как в опере, господа! Будьте любезны, как в опере!» — не уставал повторять Скрябин, но это была не опера — Мистерия, что поначалу все отказывались понять.

Поэтому каких они стоили страданий и мук, эти репетиции — знал бы кто-нибудь! Скрябин то и дело обращался — зывал — к оркестру, постукивая палочкой по пульту, чтобы заглушить недовольный шепот, переходивший в ропот откровенного недовольства:

— Прошу учитывать, господа, что мне не нужна приблизительность. Извольте быть точными и хотя бы выполнить то, что написано в нотах. Неужели так сложно, в конце концов, сыграть по нотам!

Оркестранты, уязвленные тем, что им отказывают в умении играть по нотам, возражали Скрябину, что некоторых ремарок, написанных по-французски, они не понимают: не всех учили в детстве французскому языку.

Александр Николаевич бросал на пюпитр палочку:

— Спросите! Спросите, господа! Не постесняйтесь выяснить, если что-то неясно!

В ответ из оркестровой ямы доносились стоны:

— Тут все неясно. Это какой-то ужас! Мы такой музыки вообще никогда не играли!

— А Бетховен с его последней симфонией? А Вагнер? Какие еще нужны примеры!

Тут уж слышались не стоны, не шепот, не ропот: если Скрябин зывал, то оркестранты взывали. Да и как им, в лучшем случае воспитанным на Гайдне и Моцарте, а то и вовсе привыкшим к рутине... как тут было не взывать! И не высказать в лицо Александру Николаевичу то, что можно было счесть за оскорбление и даже плевков:

— Где тут Вагнер и тем более Бетховен? Бетховен! Мы были бы рады, если бы его Девятая симфония с хором и всякими там несурзностями провалилась и оказалась последней симфонией такого рода. Но тут еще появились вы, господин Скрябин, и уже не с симфонией, а с Мистерией! Это же вообще есть что-то немыслимое и невообразимое — черт знает что, апокалипсис в музыке!

— Благодарю за откровенность. С такими мыслями, а вернее, с полным отсутствием мыслей в голове не следовало сюда приезжать.

— Дайте нам билеты на пароход, оплатите все издержки, и мы сейчас же уедем!

Это уже было откровенное неповиновение. Бунт!

Но затем (я сам тому свидетель) словно некое веяние проносилось над оркестром — веяние тихого ветра. Бунтари и спорщики, будто опомнившись, пристыженно замолкали, и все стихало. В тишине слышалось, как на пюпитрах шелестели страницы нот, у скрипки же со звуком «ти-и-и-у» вдруг отчего-то лопалась струна, словно не выдержавшая недавних баталий и столкновений.

Скрябин снова давал ауфтакт, и чуждый некоторым французский язык, а вместе с ним и язык самой музыки Предварительного действия и Мистерии, как по волшебству, становился для оркестрантов родным и близким; они все понимали и старались точно выполнить все указания дирижера.

Точно так же удавалось утихомирить хор, солистов и кордебалет. Поначалу Скрябин страдал от бесконечных ошибок, сбоев, путаницы и неточностей, а главное, от ненавистной для него рутины, которая лезла в глаза и уши, как грязная вата.

Рутины, унаследованной от императорской, а то и вовсе — от провинциальной сцены, на которой многим пришлось выступать.

А тут кто-то с усами, бородкой и взбитым коком взывает к новаторству и новизне! Вместо покорности требует дерзости и непослушания!

Поэтому изнеженные балерины, танцоры, певцы утром напрочь забывали то, что им показывали вечером, и все приходилось начинать сначала. У Скрябина от уныния опускались руки. Мистерия казалась близкой к провалу.

Но затем вдруг — сама собой — достигалась некая согласованность и возникала чудесная гармония всех видов искусств, словно некая длань, простертая над ними, заставляла хористов, танцоров и музыкантов слышать, видеть и чувствовать друг друга.

Параграф пятый

БОГ ВОСКЛИКНЕТ: «LUCES!»

Помимо репетиций, отнимавших столько сил, Скрябину требовалось каждый день хотя бы час-другой уделить роялю (купленному мной и установленному в Храме, ря-

дом со световым органом, детищем Генри Вуда). Иначе он не смог бы исполнить свои прелюдии из семьдесят четвертого — последнего — опуса.

Прелюдии технически, может быть, и не очень сложные, но требовавшие тончайшей нюансировки, замирания, исчезновения, истаивания звука, как говорил Александр Николаевич, а это дается лишь постоянными упражнениями.

— Да, сударь! Дается, как Царство Небесное, оно же, как известно из Евангелия, нудится! — говорил он мне, шевеля в воздухе пальцами и придавая их движению характер упорного вынуживания.

— А вы Евангелие каждый день читаете?

— Увы, каждый день сейчас не успеваю. Но мне в детстве читала тетушка — даже не Любовь Александровна — та была любвеобильна и легкомысленна, а Елизавета Ивановна; хотя она мне, собственно, приходилась бабушкой, я тоже звал ее тетей. Елизавета Ивановна была набожной, даже суровой. Она зазывала меня к себе в комнату с иконами — черными досками на стенах, теплящимися лампадами и читала Новый Завет, водя морщинистым, фиолетовым от старости пальцем по страницам. Я многое тогда запомнил.

— А о Мистерии в Новом Завете что-нибудь сказано?

— Что вы меня спрашиваете! Поищите! — Скрыбин небрежно отворачивался.

— Искал и не нашел.

— Значит, плохо искали. Там сказано об Апокалипсисе, а Апокалипсис и есть Мистерия, — правда, без нот, но зато со световой строкой. Когда наступит конец времени, Бог воскликнет: «Luce!»

От постоянного нервного напряжения у Скрыбина случались жестокие мигрени и несколько раз шла носом кровь. И я не знаю, к чему это все привело бы, если бы однажды он не изрек, запрокидывая голову и прикладывая к носу шелковый платок, подаренный ему когда-то матерью и бережно хранимый как ценная реликвия:

— Ну, хватит! Это невозможно! Хватит этого безумия! Нечего гнаться! Нечего мчаться галопом, закусив удила, как на скачках! В конце концов, само все устроится! Образуется!

— Вы полагаете?

— А вот давайте посмотрим.

И вместо всей этой суеты, спешки, гонки с препятствиями мы стали ходить на пристань и просто смотреть, как прибывают пароходы, причаливая к берегу, и по трапу спускается множество людей с саквояжами, узлами и дорожными сумками.

Не сказать, что это были несметные толпы, как при переселении народов. Нет, все выглядело скромнее, умещалось в некие рамки, и каждого из прибывших можно было различить — вплоть до черт лица.

Вот кто-то выделился из толпы, постоял у воды, обмахиваясь платком, и вытер пот с высокого лба архивариуса или министра теневого кабинета. Кто-то низенький, с курчавой бородой и повязкой на лбу — этакий Али-Баба, утрясая вещи, подбросил на плечах огромный, перетянутый ремнями чемодан и надсадно крикнул от усердия. Кто-то похожий на убежденного борца с курением воровато достал из потайного кармана портсигар, постучал по крышке мундштуком папиросы и с усладой закурил.

При этом людской поток не иссякал, и вся картина оправдывала название, данное ей Скрыбиным:

— Народы мира собираются для участия в Мистерии. Свершилось! Мы с вами — свидетели грандиозного шествия!

— Ну, положим, не такое уж оно грандиозное...

— А вы не полагайтесь на свое мнение, а смотрите дальше.

— Куда? В туманную даль?

— Учтите, что для Бога любая даль — то, что близко. Пароходы прибывают и днем, и ночью. Это лишь на первый взгляд кажется, что пассажиров не так уж много. Господь скрывает истинное множество, умеряет, скрадывает его, чтобы оно не так уж устрашало и подавляло, чтобы лица не теряли своих неповторимых очертаний. Толпа толпой, но Всевышний хочет, чтобы все оставались личностями, поскольку Он и Сам — личность. И вот увидите: каждому из прибывших уготовано место, какое он заслужил, словно над ним уже свершился предварительный суд, и каждый получит по динарию, как работники в винограднике.

И действительно все как-то устраивалось... Во всяком случае, все были довольны, знатные дамы милостиво нам кивали, а те, кто попроще, низко кланялись и пели благодарственные молебны.

И хоть бы кто-то пожаловался — ни один...

Параграф шестой НАПЛЫВАЕТ

Вскоре мы стали замечать, что в толпе людей на пристани как будто замелькали знакомые лица. Именно как будто, поскольку достоверность замеченного странно зыбилась и поэтому оставляла повод для сомнений. Очень могло быть, что Скрыбин как солипсист вновь сорвал и преподнес нам плод своего пылкого воображения...

Иными словами, по некоторым признакам и чертам, впрочем немного смазанным и размытым, Александр Николаевич узнавал в толпе на пристани своих петербургских и московских (но больше все же петербургских) знакомых. Можно даже уточнить: узнавал тех, кого он, пользуясь дипломатическим языком отца, называл официальными или даже протокольными:

— Смотрите-ка, мои протокольные знакомцы к нам пожаловали.

— Где вы их видите? — Я пытался посмотреть туда же, куда и он, но без всякого ощутимого результата.

— Да вот же сходят по трапу. Этот, к примеру, чем-то похож на одного столичного мецената, в таком же пенсне на шнурке, с ухоженной бородкой весь из себя комильфо, — говорил он, недоверчиво приглядываясь к одному господину, но считал нужным тотчас оговориться: — Хотя я могу ошибиться. Может, это вовсе и не он.

— Ну а этот? — спрашивал я, заметив, что Александр Николаевич еще кого-то пристально — изучающе — высматривает.

— А этот смахивает... на секретаря Римского-Корсакова, который все за ним записывает и... подбирает с пола, поскольку тот вечно роняет медяки, спички и носовые платки. Вот только имя не припомню, как бывает во сне: знаешь чье-то имя и при этом — не помнишь.

— А кого еще узнали?

— Вот, к примеру, — полная копия дирижера из Мариинского театра, не первого состава, для тренажа и репетиционных прогонов. Не дирижирует, а машет. Но лишь бы не спал за пультом и хотя бы попадал в такт. Всех как магнитом сюда притягивает. Все устремились в Индию.

Помимо протокольных знакомцев здесь, на пристани, были и те, кто входил в интимно близкий Скрыбину кружок единомышленников и друзей, некогда собиравшихся у него дома, под низко висевшим абажуром. Прежде всего он заметил в толпе умнейшего (и при этом скромнейшего, внешне чем-то неуловимо похожего на земского врача) Леонида Леонидовича Сабанеева:

— Ах, вы только посмотрите! Мы наблюдаем изумительное явление!

— Что вас так изумило?

— Ну как же! Как же! Леонид Сабанеев! Этот кое-что смыслит. Его элегией Массне не возьмешь. Я ведь вам рассказывал, что играл ему наброски Предварительного действия в Москве, когда мы были вдвоем... помнится, он был под большим впечатлением от музыки. Все твердил, протирая и разглядывая на свет стекла своих круглых очков, что узрел, распознал в этой музыке не прежнее мое растворение в ласкающем эросе, а что-то другое, в чем был элемент жуткости. Элемент! В этом весь Сабанеев! Он всегда был не от мира сего. Все у него — сплошные элементы. Сказал бы просто: жуть. Впрочем, он или не он? Леонид Леонидович! — позвал Скрябин, складывая у рта руки на подобие рупора.

Сабанеев тотчас откликнулся, заторопился и сразу к нам подошел. Одет он был странно: в пальто и шляпе, шарф развевался по ветру — словом, скорее по московской, чем по здешней погоде.

— Дорогой мой! Какая встреча! А я думал, как я вас тут найду! — воскликнул он, протягивая руки к Александру Николаевичу и собираясь его обнять.

— Вот и не пришлось вам искать: я сам нашелся. Тут вас поджидаю. Вы по какой надобности к нам? — с участливой любознательностью хозяина, принимающего гостя, поинтересовался Скрябин.

— Вы еще спрашиваете! — Сабанеев стал обмахиваться шляпой, впрочем как-то не замечая жары и солнцепека. — Мистерия! Весь мир потрясен и взбудоражен! Я не мог не приехать и не обняться с вами накануне таких событий. Значит, вот оно... свершилось...

— Да, дорогой друг! Обнимемся, и покрепче! — Скрябин распахнул объятия, приглашая меня в свидетели столь трогательной сцены. — А ведь вы, Леонид Леонидович, не верили...

Старые друзья обнялись, расцеловались, укололи друг друга бородками, и Сабанеев совсем растрогался — растрогался так, что даже немного обмяк и раскис.

— Не то чтобы не верил... я всегда... Но считал, что идея Мистерии шире пределов и возможностей человеческого существования, что она выходит за рамки жизненного круга и вообще выламывается из всяких ограничивающих рамок.

— Вы, как всегда, умны... — Скрябин произнес это так, как врач произносит диагноз перед тем, как вписать его в историю болезни. — Помню, помню наши разговоры там, в Москве... Рад, что мы снова вместе. Рад несказанно.

И тут обмякший и раскисший Сабанеев удивил, озадачил нас (мы даже подумали: умен-то умен, но в здравом ли он уме?), обронив загадочную реплику:

— А разве мы сейчас не в Москве? — Он стал беспомощно оглядываться по сторонам, словно минутой раньше все ему представлялось немного не таким, как сейчас. — Откуда, собственно, эти пальмы?..

— Простите?.. — Скрябин не понял вопроса и даже приблизил ладонь к уху, посчитав, что чего-то не расслышал. — Какие пальмы?

— Ну, те, которые перед нами.

— Как откуда? Они здесь, с вашего позволения, произрастают. Ведь мы же в Индии...

— Да? В самом деле? — Сабанеев протер глаза, словно их забросало песком. — Разве мы не в Москве, не у вас в кабинете? Ах, простите! Сумасшествие! На меня постоянно наплывает... ну, знаете, что-то из прошлого, я словно куда-то переносусь. И иногда на все смотрю, «как души смотрят с высоты на ими брошенное тело». Тютчев! Мне он приходит на ум всегда не вовремя и не к месту. Ха-ха-ха! Вот и засмеялся я тоже не к месту. Наверное, это нехороший признак. По-видимому, я скоро умру.

— И воскреснете, друг мой! Воскреснете! А мы — вместе с вами! — утешил его Скрябин и мельком глянул в мою сторону, уступая мне возможность действовать там, где его полномочия иссякали. Но напоследок все-таки решил нужным добавить: — Мы в Индии, голубчик! Не в России, а в Индии! Сейчас вас устроят в гостинице, и вы немного отдохнете.

Параграф седьмой ЗАГАДОЧНЫМ БЫЛО ДРУГОЕ

После Сабанеева были еще встречи с друзьями, сходившими по трапу на пристань.

Скрябин их издала со свойственным ему энтузиазмом приветствовал, подзывал к себе, заключал в нежнейшие объятия. И даже демонстративно, несколько напоказ христосовался с ними, тем самым придавая происходящему характер Пасхи и желая, чтобы окружающие именно так это и воспринимали. Некоторых из прибывших это слегка озадачивало, вызывало недоумение, но они находили всему одно исчерпывающее объяснение: «Ну, что вы хотите — Скрябин! Скрябин со всеми его причудами! Чего же еще от него ждать!»

Александр Николаевич прощал им это недоумение, как бы говоря себе: ладно, но если не Пасха, то что же вас сюда привлекло? Он пускался с прибывшими в обстоятельные разговоры, естественные для людей, давно не видевших друг друга, и на его вопросы, как и по какому поводу они здесь оказались, все отвечали одним словом, часто даже не произносимым, а подразумеваемым, прочитываемым лишь по движению губ: «Мис-те-ри-я!»

Отвечали так, словно и спрашивать было излишне, и Александру Николаевичу приходилось не то чтобы извиняться, но некоторым образом давать понять, что он здесь устроитель и виновник тех событий, которые влекут сюда толпы народа (имениник на именинах), поэтому положение обязывает его спросить.

Это — в отличие от Пасхи — все понимали и, так сказать, отдавали должное, относились со всем уважением. А посему они старались особо не занимать внимание устроителя: спешили под благовидным предлогом откланяться, отретироваться и исчезнуть. Это было естественно, не представляло собой какой-либо загадки и не нуждалось в объяснении.

Загадочным было другое — то, что Скрябин после встречи с Сабанеевым стал называть пальмами. «Вновь, знаете ли, эти пальмы их удивляют». Повторялась та же история, что и с Леонидом Леонидовичем: некоторые из друзей и знакомых Скрябина либо были уличены в раздвоении сознания, либо же и впрямь раздваивались — одновременно находились и здесь, и в России, которую недавно покинули (а может быть, вовсе и не покидали).

Словом, на мой взгляд, что-то происходило с пространством. Оно зыбилось, двоилось, мерцало, сворачивалось до точки, а то и вовсе становилось мнимым, чтобы затем вновь обрести протяженность, но уже иного рода, не совпадающую с прежней.

Когда я попытался донести свою мысль до Скрябина, он сравнил это с собственной музыкой: «Та же метаморфоза, что и в моей музыке, которая начинается тоном, а кончается исчезающим и тающим обертоном — этим обер-шталмейстером моих сочинений».

Скажем, от одного из друзей Скрябин лишь вчера получил письмо, а он уже тут, на пристани, с узлами и чемоданами. Александр Николаевич его подзывает, хочет обнять, но тот словно не узнает его и, лишь спохватившись, пугливо и словно бы нехотя отвечает на объятия и поцелуи.

Завязывается странный разговор:

— Вы давно из Петрограда?

— Да уж дней двадцать до вас добираюсь.

— А я недавно получил от вас письмо. Да какое там недавно — вчера...

— Не может быть! Какое письмо?

— Ну вот же... вот же... Вы мне писали. — Скрыбин лезет за письмом в карман, куда сам же положил его утром, чтобы перечитать еще раз, но никакого письма там нет. — Простите, какое-то наваждение. Я, по-видимому, что-то перепутал.

— Бывает...

— Нет, извините, такого быть не может! Я же помню, что положил... — Александр Николаевич беспомощно хлопает себя по карманам.

— Мне же сегодня приснилось, что я еду в Индию... Волшебный сон! И так хорошо запомнился...

— А по-вашему, где вы сейчас находитесь?

— Пойдите, пойдите, где же я нахожусь? — Прибывший оглядывается по сторонам, стараясь определить свое местонахождение. — Ах, да! Я собираюсь на почту, чтобы отправить вам письмо. Хотя... это, часом, не Индия? Что-то я совсем заморочился да и заболтался. Несу невесть какую околесицу...

— Индия, дружище! Индия! С чем вас и поздравляю!

— Ах, все-таки Индия! А где же почта?

И вновь что-то зыблется, двоится и мерцает.

Параграф восьмой

ИКС

Еще ненадолго остановлюсь на этой природной (и психической) аномалии — двоеении, мерцании и так далее (не буду повторяться). Возможно, я изобразил все несколько преувеличенно, как дети изображают на своих рисунках всякие странные явления вроде северного сияния или миражей в пустыне, поскольку им непременно хочется показать, что такого не бывает на свете. И в то же время своим рисунком они подтверждают: бывает, иначе не было бы смысла рисовать.

Вот и мой рисунок (хотя и словесный, но все же рисунок) обладает этим свойством — показать то, что есть и чего при этом быть не может: исчезновение положенного в карман письма или убеждение прибывшего в Индию, что он по-прежнему находится в России.

Все эти кажущиеся несуразности и логические сбои имеют лишь одно объяснение, на которое я и стараюсь навести читателя. Они вызваны приближением мистического срока ИКС, совпадающего с началом Мистерии или всеобщего Преображения, пасхальными торжествами — каждый волен трактовать по-своему.

Так бывает во время грозы, когда воздух до такой степени перенасыщен электричеством, что оно приобретает зримые формы проявления. Проскакивают разряды — сначала в виде отдаленных зарниц, разливающихся малиновым заревом по горизонту (так, словно выкипевшее варенье стекает по краю таза и заливает плитку), а затем — магниевых вспышек, фиолетово-сиреневых молний, рассекающих небо.

С ужасающим треском прокатывается по небу гром, словно дюжие молодцы на небе откуда-то сдирают и в клочья рвут рубероид.

Помню, мы двумя семьями близких знакомых снимали дачу в Парголово. И во время сильной грозы, заливавшей пузырящимися потоками стекла, при таком

жутком громе всем было страшно оставаться на террасе, и мы прятались в коридоре, лишенном окон и поэтому казавшимся более безопасным местом, — и дети, и взрослые, напуганные как дети.

Прятались и жались друг к другу, лишь бы не видеть раскалывающегося неба, не слышать всего этого ужаса и иметь хотя бы самую малую надежду на спасение.

Однако я, по обыкновению, немного отвлекся.

Отмеченная мною аномалия заключалась еще и в том, что сходявшие на пристань друзья и знакомые Скрябина выглядели не совсем так, как раньше. В их обликах тоже мерцала какая-то зыбь, словно близость Преображения меняла почти до неузнаваемости их черты. Кто-то другой их, может быть, и вовсе не узнал бы. Но Скрябин неким образом узнавал и мог поручиться, что это они, именно они: безумный Всеволод Буюкли, дерзновенно и упоительно исполнявший его Третью сонату; учившийся у Листа пианист Зилоти, племянник Рахманинова; блестящий дирижер-импресарио Кнушевицкий со своей женой, усвоившей манеры салонной львицы и при своей протекцией грубоватости, которой она иногда бравировала (так же, как и рискованными декольте), любившей разыгрывать и великосветскую любезность.

Вот они чинно проходят со своими саквояжами, панاماми и солнечными зонтиками.

Они... они (те же черты лица и особенности походки), но уже не от мира сего: что-то нездешнее — потустороннее — сквозит в их облике и кажется загадкой, которую нельзя разгадать.

Параграф девятый СКВЕРНЫЙ ПОСТУПОК

Загадка отчасти разрешилась, когда по трапу парохода (я так часто упоминаю трап, поскольку он напоминает мостик между этим и потусторонним миром) сошли на пристань умершие мать и отец Скрябина — Любовь Петровна и Николай Александрович. Скрябин сначала замер, ошеломленный этим видением, а затем бросился к ним, обнял, расцеловал, взял у них вещи, оказавшиеся странно легкими, почти невесомыми.

— Ах, это вы! Мама! Отец! Какое счастье, что вы тоже здесь, что я вас встретил!

— Ты нас узнал? — Мать испытующе строго заглянула ему в лицо. — А мы боялись, что ты нас не узнаешь, ведь прошло столько лет. К тому же меня ты последний раз видел, когда был еще ребенком, лежащим в колыбели, я же так скверно с тобой поступила.

— Почему скверно, мама? О чем ты?

— Но ведь я, помнится, умерла... Я не должна была совершать этот скверный и гадкий поступок. Но я его совершила, чтобы освободить твоего отца и дать ему возможность снова сочетаться браком, как Николаю всегда хотелось, хотя он это всячески скрывал. Словом, я поступила ему во благо, а тебе во вред — взяла и по легкомыслию своему ушла из жизни, хотя ты во мне так нуждался.

— Ты немного преувеличиваешь, — возразил на это Николай Александрович, всегда называвший преувеличением ее ошибки. — Ты вовсе не умирала — в отличие от меня... Я вот по всем признакам мертвец. Ходячий скелет. Клац-клац челюстями...

— Не шути так, пожалуйста. Твои шутки не всегда бывают удачными. И не спорь со мной, ради бога. Я все-таки умерла, и не стоит по этому поводу...

— Нет, мама, что ты! Просто ты уехала... — поддержал отца Александр Николаевич, словно вдвоем им было легче внушить ей, что она не умирала. — Мне, маленькому, так и говорили, когда я о тебе спрашивал: «Мама уехала». А тетушка Любовь Александровна мне однажды шепнула: «Уехала от нас в гробу». Шепнула, правда, так

тихо, что я не расслышал. Я подумал, что тебя унесли на чем-то горбу, как сторож Афанасий носил из сарая вязанки дров.

— Не из сарая, а из серала, — со значительным лицом поправила она, — поскольку сейчас этот сарай мне кажется прекрасным дворцом.

— Да, мама. — Скрыбин принял поправку. — Прости, я оговорился.

— Спасибо, мой мальчик. — Любовь Петровна с некоторой задержкой оценила его искренние старания разубедить ее в собственной смерти. — А сейчас видишь: мы приехали, чтобы участвовать в этом торжественном и грандиозном событии — Мистерии, как ты его называешь. К тому же ты написал музыку... Музыку к этому событию, как раньше писали музыку к дворцовым празднествам и увеселениям.

— Дорогая, ты выбрала не совсем верное слово... — шепнул ей на ухо муж.

— Я намеренно его выбрала! Я хочу веселиться! И не мешай мне в этом! Ты веселиться никогда не умел!

— Прости...

— Вот так-то лучше... — Она почувствовала себя победительницей и вновь обратилась к сыну: — Я и не знала, что ты станешь знаменитым композитором, поклонником Блаватской. Кстати, Леночка Блаватская — наша близкая подруга, очень смешливая, любит пофлиртовать, а блаватка, между прочим, — обычный василек.

— Приехали откуда? Из Берлина? Из Парижа? Где вы были до этого? — спросил Скрыбин, стараясь закрепить свой успех: ему казалось, что мать готова была поддаться его уговорам о мнимости собственной смерти — так же, как и смерти Блаватской.

— Не спрашивай, Саша. Далеко, очень далеко. Но мы слышали, что ты, этаким проказник, тоже... умер, — сказала мать так, словно речь шла о его очередной шалости. — Или об этом нельзя говорить? — Ее лицо приняло страдальческое выражение, свидетельствующее, что Любовь Петровна жалеет о сказанном.

— Но ведь я жив. Вот он я — стою перед вами... — Александр Николаевич произнес это как нечто очевидное, но мать не особо приняла к сведению то, что он и впрямь перед ними стоит.

— Саша, мы должны сказать тебе важную вещь. Собственно, мы для этого и делегированы. Впрочем, не совсем удачное слово: не делегированы, а посланы. Делегировать будут еще лет через пять, а то и десять. Сейчас же просто посылают с определенным поручением. Вот и нам с Николаем поручили... — Любовь Петровна вдруг недоуменно замолкла, словно обнаружив пропажу предмета, который только что держала в руках. — Ах, я забыла! Я стала такой забывчивой с тех пор, как умерла! Николай, будь любезен, подскажи, что нам поручили.

— Я, право, тоже не помню...

— Но ты же дипломат. Дипломаты должны помнить о таких поручениях.

— Кажется, нам поручили сказать, что эта самая Мистерия, как ты ее называешь — свершится она или не свершится, — зависит от одного обстоятельства. Это обстоятельство должно скоро выясниться.

— От какого именно, Николай? От какого обстоятельства? Напрягись. Или давайте лучше поговорим о чем-нибудь другом, а оно само вспомнится, — предложила Любовь Петровна, как предлагают игру, способную развлечь скучающее общество. — Вот, к примеру...

— Нет, нет, — как дипломат, умеющий отделять главное от второстепенного, Николай Александрович решительно воспротивился попыткам искать другую тему для разговора, — это все, что нам было сказано. Обстоятельство! Никаких разъяснений на этот счет не последовало, и было бы ошибкой нам самим здесь что-то изобретать.

Параграф десятый

БЕЗРАЗЛИЧНОЕ НЕДОУМЕНИЕ И ЦИФРА НА БЛАНКЕ

— Бланк! Дайте мне бланк! — раздраженно воскликнул Скрябин, когда мы — после разговора с его умершими родителями — вошли в комнату. Причем, мельком взглянув на часы, я обнаружил, что стрелки сдвинулись лишь на минуту с того момента, как мы ее покинули и направились к пристани. Но я не удивился подобной странности, поскольку стал уже привыкать к различным аномалиям такого рода — в том числе и к тому, что время явственно сжимается в точку.

— Какой бланк вам нужен? Для официальной переписки?

— Ах, боже мой, что вы изображаете непонимание! Ну, не бланк, не бланк, если вам не нравится это слово, а тот самый пустой лист бумаги, который вместо телеграммы принес почтальон. Он у вас сохранился? Надеюсь, не выбросили? — Скрябин имел привычку сам ничего не выбрасывать и с неодобрением относился к тем, кто вместе с ненужными бумагами способен был по рассеянности выбросить в корзину и что-то нужное.

Я стерпел незаслуженный упрек и сказал, чтобы проверить, как он стерпит ответный упрек, им вполне заслуженный:

— По-моему, он у вас в столе... — При этом я не мог не добавить с насмешливым безразличием: — Для упрека же в мой адрес у вас есть более весомый повод... Могли бы им воспользоваться, а не мелочиться.

— Да? Извините... — Скрябин стал с грохотом выдвигать — выдергивать — из стола ящики, поочередно заглядывая в каждый из них и вороша сложенные там бумаги. — Какой же это... м-м-м... повод?

Я хотел ответить со всей прямоотой, но Скрябин меня бы не услышал, целиком захваченный поисками бланка. Поэтому я лишь произнес загадочно:

— Да мало ли всяких поводов... вам они не интересны.

Скрябин и этого не расслышал.

— Вот он, нашел! Будьте любезны, взгляните! — воскликнул он, протягивая мне обнаруженный в ящике листок и отказываясь на него смотреть, словно это могло помешать мне вынести независимое суждение.

Я изобразил отрешенное и отчасти безразличное недоумение.

— На что, собственно, вы предлагаете мне взглянуть? Там как ничего не было, так и нет. Никакие водяные знаки на этом листке не проступили. Пусто.

— В самом деле? — разочарованно спросил Александр Николаевич и взял у меня листок, чтобы самому во всем убедиться. — Да, действительно... ничего. В таком случае у меня к вам вопрос, который, наверное, следовало задать ранее, пока мы сюда шли.

— Я весь внимание...

— Как вы расцениваете встречу с моими родителями?

— Никак не расцениваю. Вернее, расцениваю в копейку.

— Это почему же?

— А потому, что это всего лишь галлюцинация. Помрачение рассудка. Мираж.

— Вы исходите из того, что...

— Мираж рассеялся, и никаких родителей нет.

— Но позвольте, галлюцинация — вещь субъективная. Со мной такое не раз бывало, когда я оставался один в сумраке моего кабинета. В одиночестве кого я только

не лицеизрел — хотя бы чертей с их кошачьими мордашками и даже самого сатану. Но ведь моих родителей видели мы оба. Вы же не станете отрицать, что тоже их видели.

— Что ж, бывают и массовые галлюцинации. Им подвержены толпы людей. Изнемогающие от жажды караваны в пустыне, как вам известно, видят вдали цветущие сады и журчащие родники.

— У вас на все готово объяснение. Мой отец и мать... они говорили о каком-то обстоятельстве... — Скрыбин щелкнул пальцами, делая акцент на этом слове.

— Вам послышалось. Не придавайте значения.

— Но ведь и вы тоже слышали...

— Повторяю, журчание родника в пустыне слышат...

— Вы нарочно так говорите, чтобы меня успокоить.

— Зачем мне вас успокаивать! Вы и так спокойны.

— Нет, я не спокоен. Мне тревожно и как-то даже жутковато.

Я решил обратить это признание в свою пользу и привлечь внимание Скрыбина к тому, о чем давно собирался ему сказать, — тоже признаться, хотя масштабы наших признаний были несопоставимы.

— Значит, пора поставить вас в известность, что мне дано известное поручение...

— Ну вот... нате вам! Мать и отец говорили о каком-то поручении, но вы называли это галлюцинацией, а теперь сами, извините меня, галлюцинируете.

Я уже хотел поведать Скрыбину, что мне поручено взять финальный аккорд во всей этой затянувшейся истории — выстрелить, когда он будет исполнять свои последние прелюдии из семьдесят четвертого опуса, чего я, конечно, не сделаю, если палец случайно не дрогнет и не спустит курок. Но тут до нас откуда-то — словно со стороны — донесся слабый голос его матери:

— Мне кажется, я бы их хорошо сыграла. Когда-то я имела успех как пианистка. Меня хвалил сам Антон Рубинштейн.

— Слышали? Слышали? — Скрыбин схватил меня за руку. — Она здесь! Это вам не караван в пустыне! Это реальность!

— Допустим... — Я не знал, что на этот раз возразить.

— Дайте мне этот пустой бланк! Где он?!

— Он у вас в руках.

— Ах да! Простите! Видите, на нем проступают какие-то знаки! То ли слова, то ли цифры!

— Это и есть обстоятельство, — произнес тот же знакомый нам слабый, изнемогающий, истаивающий голос. — Цифра двадцать пять — начало Мистерии. А цифра семьдесят пять — твой последний опус. Значит, ты будешь жив. И Мистерия должна состояться.

Параграф одиннадцатый

СЕСТРА

Нет, палец не дрогнул, и я, конечно же, не выстрелил в Скрыбина.

За все время, проведенное нами вместе, он стал для меня близким другом, наставником, учителем — не только в искусстве, но и в жизни. И даже более того, уподобившись его восторженным поклонникам, я мог бы назвать Скрыбина своим божеством, кумиром, но... не буду уподобляться и останусь самим собой с моим личным отношением к Скрыбину, заставившим меня... выстрелить в тот вечер двадцать четвертого октября, когда он играл свои прелюдии под сводами Храма. Причины этого станут понятными из его собственных слов.

В дневнике я собрал разрозненные высказывания Скрябина о своих последних прелюдиях, и особенно о второй, названной им Белой смертью. Записал я эти высказывания со слов Леонида Сабанеева. Он помнил их почти наизусть и лишь изредка сверялся с собственными беглыми записями. Записи были сделаны сразу после откровенных, доверительных, интимных бесед там, в Москве... в полутемном кабинете с задернутыми портьерами, у рояля, за которым сидел Скрябин, перебирая клавиши. Сабанеев их впоследствии опубликовал, но мне повезло быть первым, кто эти высказывания слышал.

А слышавший первым — слушатель особый, некоторым образом посвященный в то, что ускользает от читателя напечатанных строк.

Итак, после короткой прамбулы Сабанеев приводит слова Александра Николаевича:

«На этот раз это были сначала некоторые „гармонии“ или „новые ощущения“, которые он производил, заставляя меня держать в басу двойную квинту... Потом он наиграл мне недавно им созданную Прелюдию ор 74 № 2.

— Тут у меня совсем по-новому и очень просто, — комментировал он, по своему обычаю, исполнение. — Вот эти квинты — правда, они дают новое ощущение?..

— Тут у меня совсем нет многозвучных гармоний, а смотрите как это психологически сложно... Это будет прелюдия. Тут есть такая знойность, пустынная знойность, это, конечно, не пустыня физическая, а астральная пустыня... и вот эти томления (он играл хроматические мелодические ходы вниз)... вы знаете, в этой прелюдии такое впечатление, точно она длится целые века, точно она вечно звучит, миллионы лет...

— Ее можно по-двоному играть, раскрашивая ее, с нюансами, и наоборот, совершенно ровно, без всяких оттенков. И то и другое возможно... Тут такая гибкость: в одном произведении как бы заключено множество их — это многогранность композиции...

— До сих пор я так писал, что одно сочинение можно играть только по-одному... А вот я хочу так, чтобы можно было играть совершенно по-разному, чтобы один кристалл был бы в состоянии отразить самые различные света...

Сабанеев подчеркнул, конечно, „астральную пустыню“ — подчеркнул и голосом, и жирной линией в своих записках, призванной придать особую значимость, особый смысл этому выражению. Смысл, до конца ему, может, и неясный, но угадываемый, соотносимый с тем опустошением, которое должна вызвать Мистерия — вызвать перед тем, как наступит „воскресение мертвых и жизнь будущего века“.

Столь же близка ему мысль Скрябина о том, что одно сочинение можно играть по-разному, поскольку (добавлю от себя) сочиненная музыка — это не столько ноты, сколько то, что между нот, что не поддается никакому нотному обозначению, не прочитывается, а только угадывается.

Затем Сабанеев снова приводит слова Александра Николаевича, сказанные ему, очевидно, вполголоса, даже шепотом, и расслышанные им лишь благодаря особому наитию слуха:

— Что это такое? — продолжая играть, спросил меня Скрябин.

Я молчал. Впечатление было новое, жуткое и магически-чарующее. Он играл ее непрерывно уже несколько раз, сам как бы впиваясь в эти звуки в тишине глубокого вечера. Мы были вдвоем в кабинете...

Александр Николаевич и не ждал от меня ответа. Он сам сказал таинственно и тихо: „Это смерть“.

— Это смерть, как то явление Женственного, которое приводит к воссоединению. Смерть и любовь... Смерть — это, как я называю в Предварительном действе, Сестра. В ней не должно уже быть элемента страха перед нею, это — высшая примиренность, белое звучание...

Александр Николаевич сам казался потрясенным своим творением, столь для него необычным. „Здесь бездна“, — проговорил он таинственно».

Зов этой бездны и заставил меня спустить курок.

Параграф двенадцатый ЭПИЛОГ

Но то ли мой револьвер дал осечку, то ли его успели выбить у меня из рук, то ли Скрябина заслонил Генри Вуд, то ли я вообще не стрелял, а из-за моего плеча выстрелил граф Арбенин.

Выстрелил и промахнулся (мазнул, по его собственному выражению, поскольку держал револьвер в левой руке, некогда обожженной поставленным на нее утюгом) — случайно или, может быть, намеренно, но двадцать пятого октября Мистерия состоялась.

Я сам был тому свидетелем, хотя мне связали руки, меня заперли и держали под стражей (версия с выбитым из моих рук оружием). Но я все видел сквозь узенькое, зарешеченное окно с мышиным гнездом между ржавыми железными прутьями.

Не буду описывать всех ужасов конца времен — того, как с хрустом раскололось небо, словно сахар в чьих-то гигантских щипцах; сотряслась и расселась земля, будто рассеченная зловещей секирой по самый пояс гигантская кукла; построенные англичанами дома содрогнулись и стали оседать, поднимая тучи пыли; из-под вздыбившихся глыб вырвались языки пламени и так далее и тому подобное.

Все это и без меня описано в разных священных книгах (описано так, как мне никогда не описать, сколь я ни тужься). Книги эти уместно будет назвать специальной литературой по этому случаю. Я же ни в коей мере не специалист по Апокалипсису, хотя и пытался что-то прокукарекать. Избави бог — не претендую. Со своим-то суконным рылом (и петушиным горлом) в калашный ряд — негоже, никак негоже.

Хотя мою скромность могло бы умерить то, что среди русских подобных спецов хоть отбавляй. Какого русского ни возьми, он преуспел по части коня бледного и скачущего на нем всадника, сеющего смерть. Достаточно назвать такого персонажа, как уже не раз помянутый здесь Лебедев из романа писателя Достоевского, не только интригана, ерника и скабресника, но и при этом порядочного семьянина, уважающего себя господина серьезных занятий, что возводит его чуть ли не в святые.

Скабресника-то — в святые? Не слишком ли? Но на то и Апокалипсис, исконно русская книга, не знающая чинов и рангов. Против нее не попрешь.

Я же, слабоватый по части толкований, замечу лишь, что Мистерия отозвалась на другом конце света, в нашей несчастной (и нечаянно счастливой) России, где двадцать пятого октября по юлианскому календарю произошли известные события, но я их тоже описывать не буду.

Тут описатели и без меня нашлись, мигом понабежали, тесным кольцом окружили — и мышь не проскочит, а тем более такого чужака, как я, и близко не подпустят.

Не подпустят, чтобы он тут залпы «Авроры», взятия Зимнего, аресты Временного правительства не живописал, не расписывал и чужой хлеб не отбивал. Станет же проталкиваться, протискиваться, кого-то плечом оттирать, руку совать, норовить кусок со стола ухватить — так можно и по зубам или юшку из носа пустить, чтоб не рыпался. А то много таких охотников...

Поэтому и я на сей счет благоразумно промолчу: своя голова дороже. Упомяну лишь, что при всех этих катаклизмах возведенный нами Храм чудом уцелел, хотя и местами был рассечен молниевидной трещиной, штукатурка осыпалась и прочее. Но белый купол, отражающийся в водах священного Ганга, не пострадал — целехонек...

Сохранились и листы партитуры на дирижерском пульте Скрябина, хоть и обгоревшие по краям, но что-то можно разобрать и даже попытаться воспроизвести, по слуху напеть...

Впрочем, музыку разве опишешь — тем более музыку Скрябина! Безнадежное это дело — тем более для такого новичка и дилетанта, как я. Куда уж мне с суконным-то рылом и такой же суконной обивкой — врезом — на крышке стола!

Суконным (зеленого сукна), да еще заляпанным чернилами!..

Поэтому единственное, что я себе позволю отметить: двадцать пятого октября утром моросил мелкий, почти невидимый, неразличимый дождь, паутинкой заткавший просветы меж пальмами. И когда раскололось небо, как сахар, когда расселась земля, дома и всяческие постройки стали оседать и проваливаться в преисподнюю, последней отрадой было взглянуть на дождливую аллею, на лужи, отражающие пегие, обложенные войлоком стволы пальм, серые клочья облаков, на мутную, вспухшую от дождя, горчичного отлива желтую реку, покрытую рябью мелких капель.

ОГЛЯДЫВАЯСЬ НАЗАД

Вот уже сорок пять лет, как я предаюсь одному из самых странных, загадочных и прихотливых (кропотливых) занятий, изобретенных человечеством.

Предаюсь не от случая к случаю, а постоянно, упорно и терпеливо, так что в итоге (пусть лишь предварительном) пройден некий путь, с которого я, во всяком случае, не сворачивал. На побочные приманки не бросался, не шарахался вправо и влево, не принимался к каждой кочке, как лиса, готовая себя перехитрить, лишь бы где-нибудь урвать добычу.

По жизни так выходит, что путь этот — самый важный для меня, хотя пришлось быть главным редактором издательства «Столица», ректором Института журналистики и литературного творчества (ИЖЛТ), вместе с Татьяной Земсковой вести телепередачу «Книжный двор», а вместе с Ириной Кленской передачу «Запад и Восток» на радио «Говорит Москва». Многим другим пришлось заниматься, но все-таки проза всегда оставалась главным занятием.

Словом, вышло все по Пушкину: «не для житейского волненья, не для корысти, не для битв... для звуков сладких и молитв...» Так что занятие и впрямь странное, а уж про кропотливость я и не говорю. Мало того, что сиднем сидишь за столом с мигающей лампой (у меня и вправду мигает, а то возьмет и вовсе выключится, а затем сама собой включится), но потом еще и думаешь весь день.

Вернее, учишься не думать, дабы кто-то неведомый вместо тебя ловил, словно порхающих бабочек марлевым сачком, мысли, подыскивал и нанизывал на нитку слова, пунктирной отстрочкой швейной машинки намечал сюжетные ходы, но это уже уловки и секреты — из числа тех, на которые способен «хитрый глазомер простого столяра».

Так я «надумал» около сорока книг прозы, из которых главной считаю двухтомный роман «Сад Иосифа» — о второй половине двадцатого века в России. Есть романы и поменьше: «Отражения комнаты в елочном шаре», «Мох», «Тайное общество любителей плохой погоды», «Костюм Адама», «Оскомина» — всего не перечислишь.

Ну и, само собой разумеется, рассказы, повести и эссе из сборников «Колокольчики Папагено», «Орден собирателей пыли», «Как приятно разрезать ножом спелую дыню на красном блюде» и многих других.

Написал книгу «Ду Фу» для серии «ЖЗЛ», занимался китаистикой, переводил китайскую классику, и все это книги, книги, книги.

Пробовал себя в драматическом жанре и сам играл в спектакле по моей пьесе «Чердачный человек с воспаленным воображением».

Предлагаемый роман «Дождливая аллея» — с оттенком некоей мистики, недаром писательское уединение иной раз приравнивают к отшельническому, кабинет же с письменным столом нет-нет да и назовут кельей. В романе я рассказываю о Мистории Скрябина, о которой все слышали, но никто толком не знает, что это такое. Александр Николаевич Скрябин после своей смерти в 1915 году является вновь, едет в Индию со своими единомышленниками, там строит величественный Храм на берегу Ганга и ставит семидневную Мистерию.

Словом, таков сюжет, а к сюжету всегда что-нибудь да и присочинишь по врожденной склонности сдабривать сахаром вымысла кислую клюкву фактов, собранную под ногами, в лесу, на болотных кочках и наполовину раздавленную сапогами.

Присочинишь, а то и, нарушая все приличия, позволишь себе этакую залипуху, эпатажную выходку, буффонаду, если наскучит чинно и благопристойно вышивать гладью по канве словесные узоры.

Иными словами, надо не просто перечислять, а описывать факты, отдавать их во власть языку. Русский же литературный язык — это уже не белые кубики в сахарнице, не облепившие ложку и тающие в чае крупинки, а богатство потаенных лесных кладовых, пчелиных дупел с медовыми сотами, настоящими на луговых травах, напитанными запахами цветочных полей.

Язык — наше чудо из чудес, отрада, блаженство, сокровенное безумие, недаром о нем сказано: «За блаженное, бессмысленное слово...» (Мандельштам).

Владимир ПЕРЦЕВ

В начале нулевых годов этого века я как-то председательствовал в жури поэтического конкурса. Действо разыгрывалось в просторном салоне речного теплохода, плывущего по Неве. На палубе в бой за первое место рвалось до ста поэтических единиц разного калибра. Какие экземпляры там только не попадались! Были и завыватели с закатывающимися от экстаза глазами, и притоптыватели, прихлопыватели да приплясыватели с шаманскими бубнами, и едва ли не чревовещатели. Был даже один такой, лет сорока с хвостиком, который, когда пришла его очередь, с чайным криком бросился на палубу и потом, изрекая что-то невразумительно-пронзительное, катался под ногами членов жури. Победил тогда обыкновенный стихотворец с традиционными стихами, хотя и не без чудинки в облике. На фотографии, которая представляла поэта в Интернете, он обнаружился почему-то в очках-велосипедах с желтыми стеклами, хотя очков не носит. Мол, кто ж обратит на тебя внимание, если ты хотя бы не носишь на носу очки-велосипеды с желтыми стеклами?! Я тогда засомневался: может, и впрямь без чудинки, без сумасшедшинки в облике поэта массам трудно проглотить его поэзию?

А вот у Владимира Перцева ничего сверх нормы ни в облике, ни в поведении. Не то репетитор, не то реставратор идет себе по улице, и никому в ум не придет, что это поэт возвращается домой со своего выступления в библиотеке, потому как не приплясывает, бубня себе под нос стишки, не заглядывает каждому встречному в лицо лихорадочно горящими глазами. Нет, не городской сумасшедший, а самый обычный человек, самый что ни на есть. И в магазин ходит, как все, и в парк культуры и отдыха. И вместе со всеми в очереди стоит, если требуется. И может даже отказаться от выпивки, если есть дело. Он не дрейфовал на льдине, не сидел в тюрьме, не покорял восьмимысячники, не болтался месяцами в Атлантике, страдая от качки и тоски, и вообще, кроме как по Волге на теплоходе, не ходил. Но откуда-то в нем берутся стихи. Откуда-то в нем появляется тот керосин, который горит в каждом подлинном поэте. Для меня это загадка. Хотя каждый поэт — загадка. И почему, скажем, в бухгалтере вдруг однажды просыпается поэт, никто до сих пор сказать не может. И еще: Владимир Перцев, как это принято у крепко выпивших поэтов, не бьет себя кулаком в грудь, не рвет у себя на груди рубашку и, вскочивши на стул, не читает взхлеб без остановки собственные стихи публике, которая готова убить его за это. Напротив, Перцев честно слушает других поэтов и при этом хитро улыбается, словно знает что-то такое, чего не знает никто больше. Знает, да только никому этого не скажет. Смотрю на Владимира Перцева, читаю его стихотворения и еще раз убеждаюсь в том, что очень даже возможно быть поэтом, не приплясывая и не бросаясь, словно в припадке, под ноги ценителям искусства. Все же поэт — вовсе не то, кем он представляется людям при жизни, а то, что остается от него людям после смерти.

Так что очки-велосипеды на носу поэта не играют никакой роли.

Евгений КАМИНСКИЙ

Владимир Перцев родился в 1963 году в городе Гаврилов-Ям Ярославской области. Окончил Ярославское художественное училище, преподавал. Поэт, прозаик, автор нескольких книг, член Союза российских писателей, лауреат нескольких международных литературных конкурсов. Публиковался в журналах «Литературная учеба», «Юность», «День и ночь», «Континент», «Нева», «Урал», «Плавучий мост», «Этажи», «Казань» и др.

* * *

Держит покойник свечку в руках.
Храм, отпевают.
Батюшка ходит, поют на верхах,
люди вздыхают.

Только вчера попивал коньячок,
чувствовал запах.
Крепкий вполне был еще старичок.
Умер внезапно.

В лодочку лег и поплыл по реке
лагерник, воин.
Жизнь за плечами и свечка в руке.
Вольный.

Может, убогую лодку твою
выхватит Сплавщик,
и наградит, и пристроит в раю,
выделит шкафчик.

* * *

Причаливай, дружок,
пивасом угостим.
У нас тут свой кружок,
не то чтобы интим...

Здесь всех угомонят,
здесь каждому приют,
о каждом позвонят
и каждому нальют.

Дождись, пока Харон
причалит за душой.
Не будет похорон,
вон Днепр какой большой.

Кто прав, кто виноват,
не станут выяснять.
Солдат везде солдат,
отправлен умирать.

Прикусывал усы,
когда пускался в бой.
Причаливай, не ссы,
неважно, свой — чужой.

Устраивайся, друг,
у нас тут водки схрон.
Подходит по Днепру
На катере Харон.

* * *

Мучительно опять припоминаю
мелькнувшие знакомые равнины.
Коровье стадо движется по краю
у озера, копыта месят глины.

А люди все, наверно, на покосах.
И ливни, словно синие гребенки,
равнины те расчесывают косо,
заботливо, как волосы сестренки.

Храм Рождества — сиротская церквушка
с пятнадцатого века в запустенье,
забытая красивая игрушка
в прибрежные уронена растенья.

Томительны мои воспоминанья —
попытки многократные причалить,
встречающие на краю сознания
беспомощные поручни причалов.

Я помню это серенькое небо
и озера обманную свободу.
Я прежде никогда здесь не был. Не был?
Но я же помню этот луг и воду...

* * *

В июле слепили стеклянно поля.
И облаков глянца скользили за край
бескрайнего полдня. И солнце, паля,
стекало куда-то за дом, за сарай,

за тополь, осыпанный осами блеск,
за черный вознесшийся трепетный рой
листвы ослепленной. И слышался треск
сухой и рассыпчатый над головой

пастушьих кнутов, заводящих стада
податливых рыжих и пестрых коров
к нам на полдни. И подходили туда,
с подойником каждая, с вязанкой слов

женщины в белом. И я прибежал
смотреть, как ударит в звенящее дно
тугая струя и пробудит металл
и пена глазастая вылезет. Но

робел и не смел подойти. Голова
рогатая вдруг отворялась, как дверь,
и долго смотрела в упор. И слова
вставали тревожные: «вервие», «зверь»...

И вот, отворяя тяжелую дверь
и выпуская на волю июль,
вижу, что жизнь не прошла без потерь,
что скуден судьбою мне сунутый куль.

И в голову лезут мне: «вервие», «зверь»...
Но солнце июля стоит высоко,
и женские руки суют молоко
в стеклянном стакане — тогда и теперь.

* * *

Вставил я новую раму
(ель ли, иная порода) —
раздвинул себе панораму
собственного огорода.

Вижу сквозь сетку веток
и капли весенней влаги
сараев утиль и ветошь,
заборы, бурьян, овраги.

Нахохлясь, гуляют куры,
и плещет струя над баком.
Сосед в засаленной куртке,
присев, говорит с собакой.

Ему не хватает совета,
любви ему недодали,
как мне не хватает света
и перспективы далей.

Приятно — новая рама!
Расширился вид на лето.
Среди барахла и хлама
стало чуть больше света.

* * *

На что ни посмотрю — от умиленья плачу.
Всю жизнь свою терплю и ничего не значу.

Душа моя темна, а плоть моя — короста.
Лишающий ума наказывает просто.

Не язвой моровой, переходящей в бойню, —
печалью мировой, сладчайшей нежной болью.

Не сутки и не год не просыхают очи.
Я, Господи, юрод, я — слезы твои, Отче.

Не алчу, не ропщу, грехи свои не прячу.
На что ни посмотрю — от умиления плачу.

ПРЕОБРАЖЕНИЕ

Весь сад усыпан яблоками. Боже
наш праведный, такого урожая
лет десять мы не видывали. И
случился ветер на Преображенье
и дул весь день порывами. И вот
усыпал сад тяжелыми плодами.
Повсюду яблоки: на тропке, на траве,
на крыше шиферной дощатого сарая.
Не соберешь, не выберешь, не съешь.
Наполнены корзины, ведра, сумки,
кадушки, ящики, тазы, кастрюли...
А яблоки все падают. Их стук
пугливых птиц на ветках не пугает.
Весь день, всю ночь поодиночке, градом,
гремя о шифер, доски, тычась в грунт,
в крапиву, в лопухи, текут шары тугие
медлительно, солидно, не спеша.
Спадают, вызрев. Разве их удержишь?!
Как чудо, вызревавшее по капле
и вдруг преобразившее в минуту
земную плоть в сияющий эфир.
И слез еще не вытерли — одежды
готовы новые, что чище серебра,
торжественней тяжелого атласа,
воздушнее ажурных кружев. Это
за каторгу, за мшелые землянки,
за срубы черные, за пост, за схиму, за...
Минует все, и только торжество
минутного того преображенья
нетронутым останется. За чудо
благодарят ли? Ведь оно неожиданно.
Чем дольше ждут, тем все-таки неожиданней,
как дар, как озарение и как
ребенка долгожданного рождение —
банально и торжественно, как все,
что Бог дает. Благодарю же, Боже!
Я терпкий плод и тот еще орешек —
все это так, но нынче торжество.
И новые одежды раздают,
и старые заканчивают счета,
и слезы превращаются в вино.

РАССКАЗЫ

Метафизическая география

Павел Пономарёв живет в провинции, на Алтае — о провинции вроде бы и пишет. Но внешнее совпадение того, что мы читаем у Пономарёва, и черт местности (что географических, что, так сказать, этнографических) совершенно случайно. Пономарев устремлен в иную, метафизическую реальность. Ему нравится не описывать провинциальную обыденность, но раскрывать ее, как бутон цветка (то есть не без сопротивления, создающего напряженность этих текстов — какому же цветку понравится такое обращение с ним?). Что внутри? Боюсь, этот ответ мало кого обрадует, потому что автору близки традиции Юрия Мамлеева и Михаила Елизарова. То есть перед нами радужная пленка, покрывающая бездны. То-то милый очерк о родном городе Рубцовске кончается угрожающе: «...голубенькие трогательные цветы — у бара и вдоль территории бывших заводов, как небо, просвечивающее сквозь асфальт, сквозь битый кирпич и пережеванное временем железо». А наблюдение за воробьями (привет доброму натуралисту Бианки, много лет прожившему на Алтае) оборачивается рассуждениями о неведомых тайных силах и жертвоприношениях. Что ж, наша провинция — она и такая тоже.

Михаил ГУНДАРИН

ВАРЕЖКА

В детском саду я потерял чужую варежку.

Зима. Мы, дети, тепло одетые, спускаемся по внутренней лестнице на прогулку. Уютно пахнет кухней, на стенах подъезда тихо шевелится новогодний серебряный «дождик», приклеенный месяц назад и осыпающийся от ненужности. Над нами колышутся воспитательница и няня. Воспитательница — смуглая пожилая женщина с усталым лицом и черными усиками — идет молча. Няня — робкая и красивая, с пышной химической завивкой — неумело покрикивает на нас, придерживая за шарфы. Всем, кроме женщин, весело, все порядком соскучились лежать в душевной палате на тихом часу, всем хочется резвиться и шуметь. Такой безобидный детсадовский анархизм. В детстве я был расторопным и задиристым ребенком, поэтому шумлю вдвойне. Это потом я полюбил прятаться в четырех стенах и смотреть в потолок, а тогда стремился на свет — в сказочно-белый, с гигантскими сугробами и тополями детсадовский дворик.

Я потерял чужую варежку нечаянно.

Павел Пономарёв родился в Рубцовске в 1984 году. Окончил филологический факультет Алтайского государственного педагогического университета. Работал преподавателем русского языка и литературы. Публиковался в литературных журналах «Сибирские огни», «Алтай», «Нижний Новгород», «Урал», «Юность» и др. Лауреат премии «Лицей» (2019) в номинации «Проза». Автор книги прозы «Мышиные песни». Живет в Барнауле.

Как-то вышло, что еще на лестнице я принялся «доставать» и побуждать к всеобщей радости одноклассника Пашу — малокровного неуклюжего мальчика с лицом Пьеро, у которого варежки были почему-то не на резинке, как у прочих детей, а сами по себе, в карманах. Одна из его шерстяных варежек, связанных родной бабушкой, очутилась у меня, а потом выпала и улетела в узкий межлестничный проем. Как мне казалось — в тот самый темный и неудобный закуток, имеющийся под всеми лестницами первого этажа: для старой мебели, кошек, спящих людей, оставленных ими окурков, ну, и варежек. Неприятен этот закуток был еще и тем, что находился по соседству с железной дверью цвета запекшейся крови, ведущей в подвал.

В дворик мы вроде бы вышли. Все веселые и задорные, а я не очень, потому что Павлик начал противно ныть в голос из-за потерянной варежки и страшать бабушкой: «Я все-о ба-бушке расскажу-у-у, я все-о ба-бушке...» Особенно неприятно звучало утробное и какое-то животное «у-у», так не идущее его хлипкому тельцу. После чего он делал паузу и с детским хрипом, как если бы выкуривал по пачке «Беломора» в день, вбирал в себя ледяной воздух, чтобы ныть заново.

Печаль моя усилилась, потому что день выдался, как назло, солнечный: над поселком широко и весело синело небо, на крышах веранд искрился снег, маняще блестя стальные горки... Сама природа требовала игры и безоглядного счастья. Но вся эта зимняя благодать вдруг отдалась, затмилась безудержным воем Павлика, стала не для меня.

Что может быть проще, чем найти варежку под лестницей первого этажа. Ведь я точно помню, что она упала туда — в пустую гулкую темноту. Как мне думалось, на чистую, хоть и малоосвещенную бетонную площадку, не обремененную ни кошками, ни старой мебелью (куда бы варежка могла задеваться), ни тем более спящими людьми. Да и зачем взрослому человеку скукоженная, с узором снежинки варежка психически неуравновешенного ребенка? Теряли и находили детали конструктора (на коробке которого был изображен красный гусеничный трактор), деревянные волчки, шашки, всех размеров пуговицы, закатившиеся под всеядные батареи и шкафы, а тут какая-то варежка.

Варежку стали искать.

Сценарий: воспитательница и няня реагируют на вой Павлика, всплескивают руками, хмурятся, выявляют причину конфликта, хмурятся на меня, опрашивают свидетелей, идут искать варежку и находят. Возможно, так все и было. Нечто подобное должно было происходить, потому что не действовать в такой ситуации двум хорошим педагогам просто нельзя. Скажем, притвориться, что не заметили, а там, глядишь, Павлик и приутих бы, переключился на деревянную лопатку и снежок. Или молодая и, судя по всему, влюбленная няня сказала бы: «Пройдет время, Павлик, и ты поймешь, что потеря варежки есть благо — ощутить близость того, кто с тобой рядом». Или: «Когда в школьной раздевалке тебя прижмут плохие ребята, ты будешь радоваться отсутствию варежки, Павлик, которой так удобно затыкать воющий рот», — устало заметила бы прозорливая женщина с усиками.

Но вышло иначе. Павлик упражнялся в нытье, увлеченно испытывая непознанные регистры своего ломкого голоса. Его вой возбуждал в женщинах деятельность и тревогу. Детсадовская ребятня, моргая из-под мохнатых шапок, сиротливо перетаптывалась на снегу. В их руках ненужно болтались деревянные лопатки и легко одетые безглазые куклы. Надежность детсадовского мирка мелкими шажками отступала к зеленой калитке, чтобы затеряться среди однообразных домов и голых деревьев.

Я отрешенно смотрел в белизну зимнего солнца и не понимал, зачем оно так приветливо светит, когда такая тоска. Незаметно подступил страх в облике бабушки Пав-

лика. Я видел ее пару раз: обычная бабушка, в валенках и платке, как у всех. Порой она угощала детей конфетами — не затем, чтобы заманить в детсадовский подвал, зажарить и съесть. Она не была похожа на Бабу Ягу. Но тогда, среди не разрытых детской игрой сугробов и чуждого солнца, мне казалось, что бабушка вот-вот появится из калитки, в валенках и платке, страшнее, если с конфетами, подойдет ко мне и... «Вы точно хорошо посмотрели?» — строжилась воспитательница в темноте подъезда. «Разумеется», — отвечала няня. «Как если б шкалик искал», — отвечал дворник. «Каждый мышиный уголок», — отвечали зачем-то прибежавшие на шум повара. «Не верю, — говорила терпеливая женщина с усиками, — не верю, смотрите лучше...» Варежку не нашли.

Быть может, если бы в пожилой цыганке, выхолощенной неравными боями с детством, осталось что-то от предков, кроме смуглой кожи и усиков, она бы поверила в то, что варежка просто исчезла. И мне бы не пришлось постигать долгие недобрые взгляды больших добрых людей, кормивших меня кашей и защищавших от враждебного мира за зеленой оградой. Прежде мне было неинтересно то, что за оградой. А после случая с варежкой я стал чаще висеть на железных прутьях, заметил, что не все они ровные, а многие кем-то грубо изогнуты; что между ними змеится пахучий хмель, а внизу блестят зеленые бутылочные осколки. Я смотрел сквозь прутья в зарешеченный взрослый мир, не зная, по чью сторону свобода, а по чью тюрьма. Вглядывался в лица прохожих: многие казались отчего-то грустными, наверное, им тоже на завтрак дают какао с пенкой или мама вовремя не забрала... Мое наблюдательское зрение окрепло настолько, что однажды я разглядел парня в дальнем дворе с яблоней. Он каждый день, как и я, висел на дощатом заборе, мычал и размахивал в воздухе руками, словно отпугивал невидимых пчел. Должно быть, родители забрали у него опасный пугач, и теперь он им назло мычит и кривляется на людях. Я решил поддержать странного парня в беде и помачал ему рукой, взобравшись на верх ограды, а он помачал в ответ.

Взрослые не простили мне пропавшей варежки. Похоже, я надломил в них что-то важное для спокойной жизни. Лучше бы оставляли на тихом часу дольше всех, чем смотреть так, будто я наплевал им в лицо. Я замкнулся и стал играть роль мальчика, который этого не понимает. Нужно лишь поверить, что она исчезла. Это ведь так просто. Взять и поверить...

Однажды Павлик принес черно-белую фотографию с Брюсом Ли. Ту, классическую, где китаец запечатлен в угрожающе-изящной боевой стойке, а щеки и грудь его располосованы тигриными когтями. Пацаны скучились вокруг Павлика, но ему их внимание было неинтересно. Он искал взглядом другого. А когда нашел, наставил фотографию каратиста, словно икону на одержимого, и мстительно улыбнулся тонкими обветренными губами. Я надолго запомнил его выражение лица. Оно будет появляться на нем все чаще — в школе, затем в профтехучилище и далее «по жизни», пока не застынет посмертной маской в бараке одной из сибирских зон.

Я потерял варежку там — в детстве, в темном закутке под лестницей, а нашел в себе: маленькую, лохматую, гадкую, с дурацким узором снежинки. И кажется, до сих пор сплевываю ее горький шерстяной волос.

БОТИНКИ

Накануне 1998-го мои старые ботинки пришли в негодность, и я начал мечтать о новых: кожаных, теплых, с натуральным мехом. Купить обувь значило

месяц кормиться из погреба. Купить обувь значило событие бытия и праздник. Купить обувь значило не облажаться.

В школе могли простить немодный портфель (ходили с пакетами), спортивные штаны в паре со свитером — пофиг, как у всех. На обувь же, особенно зимнюю, всегда обращали внимание. Хороша ли, каков материал, фасон. Высунут ли меховой язычок наружу для понта. Куда вдеаются шнурки: в ушки обычные или металлические с клепками, имеется ли система быстрой шнуровки с крючками вверх. Протектор на подошве — отдельная вселенная и тема эстетических споров: с обычными ли полосками или елочкой, с замысловатыми ли лабиринтами или почти голый со стрелеными пупырышками... Смешно подумать, но выпавший снег для кого-то мог стать поводом для торжества, а для кого-то — серьезной драмой в жестоком подростковом мире. Каков след, таков и ответ.

Обувью в Рубцовске торговали на северной стороне центрального рынка. Валенки, бурки, сапоги, ботинки всех мастей стояли на ступенчатых прилавках, закрытых тентом от снега. Стал присматриваться. Разумеется, кожаные, разумеется, с натуральным мехом, потому как и сумма вроде бы позволяла. По возрасту мне давалась полная свобода выбора. «Главное, чтоб тебе нравились».

Я уже знал, как отличить натуральную кожу от искусственной, пацаны научили: затупить об нее спичку или пройтись зажигалкой. Если прожжешь — липа. Но такой эксперимент, коту понятно, на рынке невозможен. Тут либо смотреть на цену, либо довериться уверениям торгаша, на заросшем лице которого не читалось ничего, кроме похмелья. Мех тоже следовало подпалить, но его природу легче определить на глаз.

В условиях естественного отбора, усиленного предновогодней суетой, запахом хвоя и смутными надеждами на будущее, следовало быть особенно осторожным. Как известно, плоды лоха серебристого — даже после крещенских морозов — значительно уступают ближневосточным финикам.

Однако ясному и беспристрастному выбору мешала «мечта». То, растревоженное возможностью человеческого счастья ожидание, готовое сорваться ломающимся подростковом «ура». Пока мечта поживала себе в сторонке, мозг работал и анализировал, отбирал возможные варианты. Когда же я увидел прилавки с обувью, почуял на морозе едковатый запах крашеной кожи, рассудок уступил сомнительным ощущениям. Мне вдруг взбрело в голову, что ботинки непременно должны быть черного цвета, с клепаными отверстиями для шнурков, на толстой узорчатой подошве. Суровые, производящие впечатление ботинки (типа «гриндерсы», о которых тогда не знал), чтобы каждый снегопад был непременно моим с уходящими вдаль глубокими многозначительными следами. Практически сотканые из грез ботинки тут же попались мне на глаза, и выбор пал на них.

Я был уверен, что черным ботинкам с мощной подошвой, оставляющей внушительный тракторный след, не то что сносу нет, а я просто вырвал из рук того мутного торгаша удачу. Может, он даже тосковал потом, наблюдая с табурета в товарную прореху медленный снег. Ботинки я носил всюду. Вozил на санях воду из колонки за две улицы — домой и в баню, а в баню требовалось не менее пяти ходок. Чистил в них снег, тогда как были рабочие валенки, лазил по сугробам в забоке. Никто не препятствовал моей безоглядной щенячьей радости.

В школе пацаны уважительно и немногословно заценили покупку, не переставая долбить ладонями по жвачным вкладышам на столах в целях перевернуть. Такая была игра. В ботинках стало проще выходить к доске на нелюбимых уроках, «почва» не терлась под ногами, но ощущалась, как никогда. Так продолжалось какое-то время, по-

ка однажды на изгибе ботинка, образовавшемся от частой ходьбы, не обнаружились мелкие подозрительные трещины. Не естественные и где-то даже стильные морщинки, подтверждающие качество натурального материала, а подлые злокачественные трещины. Да и сам изгиб больше походил на излом, будто след тупого колуна, что никак не свидетельствовало в пользу эластичности вещества, если бы то оказалось кожей.

Эйфория мигом улетучилась. Хотелось поскорее сбежать из школы, оказаться дома, уединиться и тщательно осмотреть ботинки, чтобы оценить, насколько там все печально. Или показалось... Бывает же так, что показалось, налипло что-то, а вовсе не белые тканевые волокна, наспех крашенные китайским рабочим, ехидно торчат. Давление там после шести-то уроков, усталость лютая, аж в глазах рябит, как «Апокалипсис сегодня» на «Горизонте»... Опасения подтвердились. Стоило лишь немного согнуть ботинок, как он шерился дрянным изломом, носком указывая на перспективу долгой сибирской зимы, которую следовало как-то проходить.

К весне я стал неплохим танатопрактиком, колдуя с обувными кремами, красками и клеем, так что мои «франкенштейны» выглядели хоть и подозрительно, но сносно, как улыбающийся терминатор. В школе, когда не прятались под партой, ноги освоили все возможные хореографические позиции, уклоняясь от чужих глаз.

Дотянув до первого тепла, ботинки рассыпались в прах. Я переобулся в надежные демисезонные туфли, но осадочек остался. И когда много позже, студентом, я получил первую зарплату дворника, подметая осенние барнаульские дворы, то решил потратить ее на хорошие ботинки: кожаные, теплые, с натуральным мехом. Нужнее были дорогие французские струны для академического концерта, но прошлое не оставляло. Прокуренная бородавка торговца где-то там трепыхалась на морозном ветру, шелестели миновавшие младшую сестру гостинцы, белели указующие персты одноклассников... «Такие глупости, когда под шум куцей метлы в голове звучит „Чакона“ Баха», — оправдывалось настоящее.

Ботинки я купил удачно и просто на старом барнаульском рынке. Приценился, ощупал обувь, хитро переглянулся с продавцом для общего удовольствия, упаковал в сумку обнову и похрустел дальше. (Ботинки отслужили три года с хвостиком.) Оставалось немного денег, зашел в закусочную, выпил стопку водки, согрелся, порозовел. Подумал: «Может, оно и ничего, что струны старые? Как-нибудь обойдется...»

БЕСКОРМИЦА

Ветер горстями бросает в снег маленьких серых птиц. Солнечная метель куролесит во дворе, словно у влюбленной девицы, открывшей кухонной гари окно, выдуло всю муку наружу.

Маленькие серые птицы шныряют в ногах прохожих. Ноги — худые и толстые, в кроссовках и валенках, с палочками и без — приплясывают на льду. Лед — коварный и насмешливый хореограф. Люди, которые с палочками, не ведая, носят имена птичьих богов. Чирикус на птичьем — бог.

Чирикусы ходят с одноразовыми пакетами до тех пор, пока от логотипа не останется одно бледное «мра». Затем, тщательно наклюнив кончик химического карандаша, подрисовывают в конце жирное «к» и, перекрестившись, сжигают в печи. Некоторые, впрочем, складывая изношенные пакеты «матрешкой», продолжают хранить в них летнюю землю для рассады, пока с балкона не зазеленеет от любопытства клен или береза.

Маленькие серые птицы похожи на разбросанные ветром прыгающие угольки, в сердцевине которых чудом сохраняется тепло для жизни. Пернатые, набожно кланясь, ожидают чирикуса у старого дворового капища — безрукого, спиленного до черыжки тополя, покрашенного детьми в синий цвет. Дети — празднорастущие чирикусы, они веселы и жестоки, как античные боги. Могут высыпать в стаю упаковку семечек, купленную на последние деньги, а могут скормить раненого воробья подвальному коту. С одинаковым трепетом наблюдая, как происходит жизнь.

Чирикус идет не спеша, смотрит безучастно и кротно на зимний двор, как на выцветшие сорокалетние обои в прихожей. Когда становишься частью двора, его шаркающим призраком, действительность, призванная удивлять, уходит на время покурить за гаражи. Ей хватает подростков, топчущихся там же, за гаражами, и требующих хриплыми голосами немедленных чудес.

Птичий же бог бесстрастен. Лишь когда покажется синее дерево, чирикус немного ускорит шаг и сожмет в дугу бескровные губы выражением радости или боли. Или радости и боли разом. Улыбкой это не назовешь, поэтому дети с криком разбегаются и прячутся кто куда. Птичий бог долго развязывает пакет с хлебными крошками, поднося узел ко рту, чтобы отогреть скрюченные холодом пальцы. Прислоненный к дереву костыль соскальзывает и падает... Дети выглядывают из укрытий — сугробов и кленов. Им жаль чирикуса, но подойти боятся. Лишь вопросительно по-птичьи переглядываются и смеются своей дурацкой неловкости.

Жертва чирикусу — мелкие серые перья, оставленные птицами после ритуального танца с посвистыванием и поклевыванием друг друга. Эти перья чирикусы собирают в желтый пакет и уносят домой. Наполняют жертвенными перьями вышитые цветами наволочки и спят на них, не зная боли и страха. Уснуть удастся не всем. И поздний одинокий ужин за голыми окнами (страшно, думает из дома напротив, когда нечего больше скрывать) сменяется бесцельным хождением из комнаты в комнату между тенями тех, кто напомнил бы тебе твое имя. А покусившийся на сокровенность чужой жизни и свой хрупкий покой наблюдатель еще долго не сможет уснуть, видя перед собой кивающую над кухонным столом белую голову.

Чирикус надевает мышинного цвета пальто, сует в карманы пакеты, берет палку и сам оборачивается птицей. И порой случается у двери, что вынутый морщинистой рукою ключ вдруг выскальзывает из серого большого крыла и прячется с помощью валенка под коврик.

Ночь принимает чирикуса, как верная подруга всех иных и безродных, умеющая хранить тайны. Она приглушает ветер и гул городской возни, чтобы обнаружить глухое постукивание картонных кормушек о кроны деревьев. Угодить тем самым чирикусу, его слуху и увидеть в его потухших глазах желание будущего дня.

Один за другим на темных тополиных тропках появляются чирикусы в птичьем обличье. Молча, по-монашески, кланяются друг другу и подходят к железным бакам. Если палка выбивает погребальный звон — плохо, не повезло, нужно идти к следующей кормушке. Вязкая тишина — хорошо, только бы удержать тяжелые пакеты слабыми крыльями...

Впечатлительный мальчик, всю ночь смотревший в окно, наутро спросит у мамы: «А птицы разве бывают в валенках?» Мама обеспокоится чутким воображением ребенка, прольет кофе на скатерть, но, как педагог со стажем, ответит, что иногда встречаются. Потрогает мальчиков лоб и убедит выпить горькие таблетки от нервов. Мальчик и после таблеток втайне станет поглядывать на двор, но увидит лишь снег — мелкий и усыпляющий... скучный. Снег заметет ночные следы.

ЦИКОРИЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ

Сумерки, пыль, тополя. Широкое землисто-серое степное небо похоже на зеркало, отражающее лицо умирающего. Синий троллейбус. Горький запах полыни в окна и билетик, что дешевле на два рубля. Вот я и дома.

Еще не отмелькали в глазах огненные подсолнухи и порыжевшие дремучие лесополосы с непонятно зачем выходящими из них одинокими людьми. Люди появляются из густого темного кустарника и жадно, не шевелясь, смотрят на проходящий, с размазанными по горизонтали усталыми лицами светящийся поезд. Будто кино.

Троллейбус гудит вечерней пчелой. Жмущуюсь, колеблюсь в тесном пространстве, держась за металлический поручень, где прежде была пластмасса. Истертость. Дачница с загорелым добрым лицом, с полными ведрами урожая спрашивает меня, скоро ли святить яблоки и мед, принимая меня за батюшку. Я охотно отвечаю на ее доброту, что, должно быть, скоро, и чудом отнекиваюсь от ведра огурцов.

Люди в моем городе грустные и доверчивые, как приемные дети. Их глядят по голове, утешают, говорят с красочных баннеров об отеческой любви. И все понимающие детские глаза отзывчиво моргают, но смотрят куда-то вкось, на солнышко, что ли, и каждое утро прорастают голубенькими цветами сквозь разбитый асфальт. Жидкий чай, заначка на автобус, сумки, ведра, вот ты уже и на даче. Почерневший домик, грядочки, пугало в дырявой тельняшке, синее небо над головой и килограмм спелой малины внутри меня. И никакой философии.

Утром я отправляюсь общаться с городом. Дурацкое, впрочем, название для прогулки, если бы это занятие не таило в себе скрытого диалога. Маршрут построен, но мой внутренний навигатор, как правило, дает сбой: школьная поселковая тропа, сама школа, улица Тракторная, близ бывших заводов, площадь, набережная Алея, старая церковь, а там по вдохновению...

Серебристая пыль над дорогой, дурманящий запах полыни, две заводские трубы на фоне акварельного неба. Достая телефон, чтобы в сотый раз запечатлеть облупленный и драматичный угол родной школы. Как неудачливый следователь из сериала, бьющийся над преступлением двадцатилетней давности.

Потеряй я телефон, нашедший его, пролистывая фотки, пожалуй, счел бы меня ненормальным и, быть может, вернул вещь обратно. Из жалости. Какие-то трубы, тополя, печальные продавцы арбузов на рынке, стены... Зачем? Языком этих фотографий отвечает мне город. В этом и заключается диалог. И потом, вернувшись в Б. и рассматривая изображения, я нахожу новые ответы и новые смыслы.

Тенистая тополияная аллея с пожилым, но бодрым велосипедистом, проезжающим мимо разрушенного дома под шпилем — поверженного архитектурного символа города. Но город иронизирует, говоря: это не повод для грусти, ведь прогуливающийся на велике старичок пережил эти руины. А вот легендарный бар «Омут» на набережной Алея — для тех, кому есть на что нечего терять. Но город снова успокаивает меня, убеждая, что ужаснее Моргенштерна там ничего не случается. И вновь эти голубенькие трогательные цветы — у бара и вдоль территории бывших заводов, как небо, просвечивающее сквозь асфальт, сквозь битый кирпич и пережеванное временем железо.

Не пьян ли ты, мой город? Столько светлой надежды в твоих словах, что мне вряд ли кто поверит... «А не все ли равно — поверят или нет?» — подмигивает он из-за бетонной стены с изображением кудрявого урбаниста со скупой, но увесистой слезой под глазом, оплакивающего мой город.

Ахат МУШИНСКИЙ

МОЙ ДРУГ АДАМ

Повесть

Дочери Лии посвящаю

1

Мой друг Адам, а полностью Адам Ремович Киссин, был странным для всех не только своими ФИО, а вообще...

Впрочем, что странного в имени Адам? Редкое — это да, но происхождение всем известно. Отчество вот посложнее будет. Рем — имя-акроним от «революции мировой» и получило распространение в нашей стране в первой половине двадцатого века. Правда, есть и другое объяснение: это сокращение от мифологического Ремигия (гребца — *лат.*), но кто у нас, скажите, больно-то знает культуру античности?!

А вот значение довольно редкой фамилии Киссин... — вообще никто у нас ни сном ни духом. Куда деваться, когда астрономию еще в годы нашего ученичества из школьной программы изъяли, а планетарий в центре города закрыли. Но я просвещу. Киссин — это видимая с Земли звезда Северного полушария в созвездии Волосы Вероники.

Был Адам Киссин, кроме как моим другом, еще и доктором философии, профессором государственного университета, который находился в двух кварталах от его дома. И вся жизнь его происходила в радиусе этих двух точек, в ежедневной ходьбе между ними и в пребывании в них. Ему было сорок восемь от роду, собою был он рослый, прям, как аршин проглотил, виски подернуты легкой поземкой, ниточкой пробора на черной, будто крашеной стрижке и такого же черного цвета неизменный костюм-тройка. Да, чуть не забыл: и отутюженная белоснежная рубаша в любую, что называется, погоду с галстуком.

Адам жил на верхнем втором этаже кирпичного дома постройки конца девятнадцатого века. Вернее, занимал весь этаж, состоявший из четырех комнат, который оставил ему отец, физик-теоретик, перебравшийся в свое время в Москву, возглавивший там Институт квантовых систем и свивший новое семейное гнездо. Восьмидесятилетний отец держал с сыном постоянную почтово-телефонную связь, но встречаться после отъезда они больше не встречались. Мама оставила земную юдоль еще при его ранней юности.

Я знал Адама с первого класса средней школы, а затем мы вместе учились в одном университете, правда, на разных факультетах: я протирал штаны на историческом, он грыз науку по стопам отца на физико-математическом. Каким образом после физмата стал он доктором философии, многим представлялось удивительным, для ме-

Ахат Мушинский — прозаик, директор Татарского ПЕН-центра, главный редактор «Казанского альманаха». Родился в 1951 году в Казани. Окончил энерготехникум, Казанский университет (отделение журналистики). Автор романов «Шейх и Звездочет», «Записки горбатого человека», «Белые Волки», повестей, рассказов, публицистики. Лауреат литературных премий им. Г. Державина, «Заветная мечта», им. Ф. Искандера.

ня же было все ясно как белый день: философом Адам родился и демонстрировал это с первого класса, а может быть, и раньше, до нашей с ним эры.

Доктором философии его, тридцатидвухлетнего испытателя судьбы, наперекор всему зарегистрировал официально ученый совет Московского университета после блестящей защиты диссертации. Но была одна особенность и главная: Адам считал себя не просто философом, а астрофилософом. Как это? — спросите. Очень просто. Почему имеют право быть на свете астрофизики, астробиологи, космохимики, а астрофилософы — нет?! В нашу космическую эпоху философия не может ограничиваться одними лишь подлунными делами. Хвала Канту, Гегелю, Шопенгауэру, Ницше, но они по объективным причинам не могли вырваться из объятий земного притяжения, хотя и размышляли о природе света, значении Солнца, движении созвездий... Древнегреческие философы первыми заговорили о Вселенной, о зарождении всего и вся, ввели в обиход понятие космоса, но у них Земля была центром мироздания. Какие тут разговоры!

Постепенно звезда Адама Кисина взошла на небосклоне и заблестала мерцающим светом на весь мир. Почему мерцающим? Да потому, что где-то его признавали, а где-то по-прежнему увещевали: «Адам, спустись с небес на землю!»

После издания брошюры «Астрофилософия и время» на английском языке его стали приглашать ведущие университеты мира на международные конференции, «круглые столы», просто с лекциями, но он никуда не ездил. Зато к нему зачастили мировые светила философии, астрономии, астро... — в сочетании с познаниями различных других направлений. Понятно, в наш век практически не осталось чистых наук. Бывало, зайдешь к нему, а у него очередной гость. И вот сидят они и самозабвенно гутарят то на английском с одним, то на французском с другим... Поставлю, бывало, чайник на плиту, посижу-послушаю, допью свой кофе и на цыпочках за дверь, пойду дальше по своим делам.

Нередко, однако, заставал его одного, без гостей, без тетки по материнской линии, которая помогала ему по хозяйству. Семьи-то у него не было. Он никогда не женился и не женился... Говорил, что философы должны быть всю жизнь один на один с самим собой и наукой. И в подтверждение своей житейской философии приводил в пример Гераклита, Платона, Декарта, Спинозу, Лейбница, Канта, Гегеля, Шопенгауэра, этих столпов одиночества и уединения, которые никогда не имели ни жен, ни собственных семей.

— У них была одна и преданная любовь — Ее Величество Философия! — и далее вспоминал Фридриха Ницше: — Женатый философ уместен в комедии.

— Ну, ну... — только и мычал я в ответ.

Спорить с ним, переубеждать не имело смысла. На заре туманной юности пытался я знакомить его с приличными умными девушками, которые могли и разговор поддержать, и помочь технически в его научной работе, и по хозяйству тоже... И потом это самое, то есть любовь, по большому счету ведь и для здоровья необходима. Но мои, вернее, наши вместе с очаровательными созданиями потуги разбивались, как морские волны о скалу.

— Любовь, — философствовал Адам, — это половой инстинкт, неудержимая и замаскированная тяга к продолжению рода. Влюбленный безумен, он не имеет себе равных по идеализации любимого существа, а между тем все это «военная хитрость» природы, в руках которой влюбленный является слепым орудием, простой игрушкой. После рождения потомства иллюзия рассеивается, как дым, и индивид начинает озираться и очаровываться новыми кандидатами на соитие.

— Значит, любви в научном смысле слова нет?

— Она в полной мере существует в художественных произведениях, в поэзии... Люди же читают в большинстве своем любовные романы, а не научные трактаты. Да и вся культура — кино, театр, песни, танцы — вся-вся построена на сладостном эфире художественного творчества и его безальтернативном восприятии. Как такому сонму красивой пропаганды не поддаться! Любовь — это животное влечение, завернутое в цветастый фантик, это широко распушенный павлиний хвост. Нет, я не против природы, влюбляйтесь, размножайтесь, но я против того, чтобы половая пружина сводила на нет значительную часть сил и мыслей молодых ученых, чтобы непрошеной гостьей она прерывала самые серьезные занятия, тормозила науку. Не говорю уж, что любовь порой поощряет самые дурные дела, разрушает самые близкие отношения, разрывает самые прочные узы, требует себе в жертву целые состояния, здоровье и даже жизни.

— Откуда ты всего этого набрался? — недоумевал я. — Не на личном же опыте?

— Бог миловал! Но данная проблема — а любовь, безусловно, проблема — препарирована в классической философии, которую народ не читает. Я бы сказал, в элементарной з е м н о й философии.

Иногда я и с женой к нему заходил, которую он хорошо знал и очень любезно принимал. И тогда уж с его уст не слетали сентенции о безумствах основного инстинкта. Мы пробовали различные вина из его коллекционной кладовой, ужинали (Адам любил готовить немыслимые блюда), играли в карты, и было весело, когда доктор наук удостоивался звания «дурака». Он как-то чрезвычайно серьезно относился к игре и не на шутку переживал, проигрывая.

Его квартира представляла собой огромную библиотеку и камерную, но весьма ценную картинную галерею. Здесь были полотна Цорна, Серебряковой, Фешина, Бенькова, собственные художества. Да, он совсем недурно работал кистью и маслом. Здесь и мой небольшой портретик висел, где я молод, лохмат и демонстрирую улыбку Джека Лондона.

До игры в карты жену мою, преподавателя консерватории, Адам усаживал за фортепьяно с бронзовыми подсвечниками и, опустив голову на грудь, погружался в состояние умиротворения и покоя. Слушать он умел. Потом благодарил и вспоминал, что при градации видов искусства все философы выше всего ставили поэзию, только Шопенгауэр пальму первенства отдавал музыке. И добавлял:

— С чем я тоже согласен.

Но сам ни на каких инструментах не играл и не пел, зато читал нараспев многие вещи Пушкина, Блока, Ахматовой, которые знал наизусть. Поэзия, живопись были его страстью и продолжением философской мысли. Музыка, впрочем, тоже.

Гостей Адам Ремович принимал в белоснежной сорочке, при галстуке, чувствовалась в нем белая кость потомственного аристократа. Так, при параде, и в карты играл, и на кухне ворожил над новыми кулинарными изобретениями, только рукава засучивал, и после нас, еще и в строгом пиджаке, садился за письменный стол поработать. С книжных полок смотрели на него любимые философы, историки, писатели, несколько их бюстов замерло в раздумьях на столах и там же, на полках среди бесчисленных книг. Великие мужи точно своим согласным безмолвием поощряли потомка, продолжателя их жизни и дела.

Огни на втором этаже его дома гасли, наверное, последними на улице, а порой смешивались с лучами рассветного солнца. Однако нередко после трудов праведных, задолго до рассвета, пока не встала из мрака молодая с перстами пурпурными Эос, мой друг выходил на балкон, чтобы еще раз убедиться, что нет ничего красивей океана

звездного неба. Зрачки его в те благодные минуты вдохновенно расширялись и принимали такие далекие созвездия, которые и в наш с ним телескоп было не разглядеть.

Да, на день рождения, когда он еще не был профессором, я подарил ему, близнецу по знаку зодиака, любительский, но мощный, немецкого производства телескоп, сказав:

— Вот будешь подтверждать свою астрофилософскую теорию практикой. Дом твой находится пусть и на городской, но все равно возвышенности, до звезд тут рукой подать.

Адам тогда сердечно поблагодарил меня, но позже заметил, что необязательно видеть то, что не видно, но доказуемо теоретически. И добавил:

— Не обижайся, это я не о твоём замечательном подарке, а так... отвлеченно.

— Понимаю, — ответил я и спросил: — А телескоп в университетской обсерватории только для специалистов?

— Да, только для внутреннего пользования, но давай как-нибудь свожу тебя, глянешь, как кремнистый путь блестит.

— И звезда с звездой говорит, — невесело пошутил я, вспомнив, как меня однажды без лишних слов выставили из астрономической башни, когда я был уже близок к заветному окуляру.

Ближе к двадцати часам мы настроили на балконе свой новый прибор для астрономических наблюдений. Майское небо было безоблачным, и наша праздничная ночь выдалась блестящей мириадами звезд и освещаемой полной луной, как лампой в большом белом плафоне.

— Ну, дорогой Киссин, давай показывай, где твоя родная звезда. Или тезка?

— Родословная, — конкретизировал Адам и продолжал: — Созвездие Волосы Вероники не очень яркое на взгляд, но все равно хорошо просматривается. — Он освободил окуляр телескопа для меня и стал объяснять: — Там шестьдесят четыре звезды и моя самая яркая. Она двойная, то есть, как и я, принадлежит к Близнецам.

Созвездие больше походило на медузу с длинным хвостом, чем на волосы — как ее? — Вероники. Я смотрел, и все звезды созвездия были для меня одинаково блеклыми. Он объяснял, я слушал, кажется, я понимал, кажется, разглядел, но вроде бы и не совсем.

Но все равно праздник удался. Я переночевал у него (тогда еще не был женат), а утром мы вместе пошли в университет, но в разные корпуса. Я тоже читал лекции, но не был так популярен.

2

Лекции свои профессор Киссин начинал с цитаты какого-нибудь классика философии, соответствующей его собственным воззрениям. На тот раз с Шопенгауэра:

— Ценность и величие философии заключается в том, что она отвергает всякие допущения, которых нельзя доказать.

Аудитория на лекциях Адама Ремовича была всегда переполнена. Люди заполняли второй ярус, толпились в дверях... В партере же сидели полноправные слушатели — его студенты. Он хорошо знал их и нередко давал им слово, включая тем самым в процесс раскрытия темы. Но нити процесса из рук не выпускал:

— Эстетика Гегеля оказалась удивительно востребованной в разные периоды жизни человечества, в том числе и в наше время. Что стоит одна его фраза: «Какая-нибудь жалкая выдумка, пришедшая в голову человеку, выше любого создания природы». О чем это? А о том, что в художественном творчестве главное — фантазия, а само творчество — венец всей нашей действительности.

Он окинул взглядом своих студентов и в третьем ряду у окна увидел незнакомого слушателя. Вернее, слушательницу. Профессор продолжил лекцию, но через некоторое время опять взглянул на нее, поскольку не взглянуть было невозможно: осеннее, но удивительно яркое солнце вышло из-за темно-вишневой шторы, и копна ее волос вспыхнула ярким костром. Девушка пыталась прикрыться ладошкой, но это было бесполезно. Профессор разрешил поправить занавесь. Она встала, дернула за вишневое крыло, и штора вместе с карнизом повалилась на нее.

Слава богу, девушка не пострадала, ребята героически полезли восстанавливать конструкцию, и через десять минут штора заняла привычное место. Однако темп выступления был сбит, и он перешел на вопросы и ответы, на непринужденную и в то же время содержательную беседу, все-таки студенты готовились, и среди них были довольно интересные его ученики.

Первым слово дал главному починщику аварии с гардиной Булатову. Тот спросил:

— Почему в классической философии так часто упоминается хаос?

— Потому что с хаоса все начинается и хаосом заканчивается, — сказал Адам Ремович. Он возвышался над кафедрой, как верстовой столб, неподвижен, прям, ни один мускул не дрогнул на его лице из-за поломанной лекции. — Наша Вселенная, Галактика, Солнце, Земля — все родилось из хаоса.

— Хаосом, значит, и закончится, — ответил с места, не вставая, Булатов.

— Верно, но хаос — предтеча новой жизни. Вспомним Ницше: «Нужно носить в себе хаос, чтобы быть в состоянии родить танцующую звезду». Вы еще не родили танцующую звезду?

— Еще нет, но надеюсь.

После него другой студент, который любил слушать лекции, но не любил заниматься самостоятельно, спросил:

— В чем основная разница философии Гегеля и Канта?

— Да-а уж, дорогой Тетушкин, вы спросите, так спросите! — Профессор был со студентами на «вы». Казалось, если бы он читал лекцию в детском садике, то и к малышам обращался бы таким же образом. — Я понимаю, упрощения помогают в изучении наук. Но существуют же какие-то пределы. Кант и Гегель... Это две галактики, две вселенные, и так просто назвать различия их учения?.. Извините, но для этого потребовалась бы специальная лекция, а то и цикл лекций. Однако все-таки если взять одну из волнующих во все времена тем, то скажу: Гегель считал, что человечество без войн существовать не может. Кант же утверждал: людское племя на Земле эволюционирует в сторону гуманизма, человечности взаимоотношений, где войнам не будет места. Один из его трактатов так и называется «К вечному миру». Почитайте, советую! Например, Толстой зачитывался Кантом. Писатель был уверен, что их воззрения совпадают. Лев Николаевич самолично собрал и издал максимы и афоризмы Иммануила Канта и говорил, что сама жизнь философа, казалось бы, небогатая на внешние события, производила на него сильнейшее впечатление. — И профессор повторил насчет названного им трактата: — Советую, советую... Вернее, требую!

Наравне с другими тянула руку рыжая девушка в тени поправленных гардин. Адам Ремович кивнул ей. Она не поняла, тогда он помог... Нет, конечно, не указав пальцем, а развернув в ее сторону ладонь:

— Простите, не знаю вашего имени.

— Вероника Северская, — ответила та, убирая волосы с плеч за спину.

— Пожалуйста, ваш вопрос, — сказал профессор, и тут же какая-то непонятная волна накатила на солнечное сплетение, на секунду сбив его всегда ровное дыхание.

Красавица на этот раз не заставила себя ждать:

— Адам Ремович, расскажите, хотя бы кратко, о своей теории астрофилософии, а то вокруг нее ходят противоречивые суждения. Одни восторгаются, другие — наоборот. В чем ее суть?

Неведомого происхождения волна никоим образом не отразилась на внешности профессора, лишь заморгал чаще обычного. Он подумал: «Моя родная звезда на северном небосклоне в созвездии Волос Вероники опять агрессивна. Как только начинает свои термоядерные выбросы, так на меня сразу накатывает». Подумал и кратко ответил на вопрос:

— Это не предмет университетской программы. Если вас интересует, приходите на мои частные лекции в Доме искусств. А для начала приобретите мою книжку «Астрофилософия и время». Она небольшая и, по-моему, весьма доходчивая, если не считать, что издана на английском.

— Где же ее взять?

— В университетской или центральной городской библиотеке. В продаже, к сожалению, было ее ничтожно мало.

Вечером я посетил друга и по совместительству профессора. Он во всех подробностях рассказал мне о событиях минувшего дня — и про гардину, и про вольноопределяющуюся в ряду его студентов, и про волну, ударившую его под дых. Я слушал, меняя в кабинете перегоревшие лампы на новые, принесенные с собой. В быту, в общении с домашней техникой и прочей современной утварью Адам был явно не профессор.

Я спросил:

— При чем тут твоя звезда в каком-то далеком созвездии? Пусть себе дышит огнем и извергается термоядерным газом на здоровье, мало ли подобных! Вон наше родное Солнце... И вспышки на ней, равные взрывам миллионов водородных бомб... И ничего!

— Как это в каком-то далеком созвездии?! Это в нашей Галактике. Это мое родное созвездие. И оно влияет...

— Да, в нашей, но все-таки на Северном ее полюсе. Эта — все забываю, как звать, — Вероника захватила товарища Кисина, самую красивую звезду на небесах, — пошутит я по-дружески, — и не отпускает ее поближе к нам.

Однако шутки моей Адам не принял. Лишь поправил, задумавшись:

— Не Вероника, а Волосы Вероники, если быть точным.

Сказал и глубоко замолчал.

— Что с тобой? — через некоторое время спросил я.

— Понимаешь... — наконец откликнулся он. — Ту сегодняшнюю девицу вольноопределяющуюся Вероникой звать.

— Вон оно что!

— Вероникой Северской.

— С того самого Северного полушария, значит. Да, совпаденьице! Может, у тебя из-за нее дыхание сперло, а не из-за своего звездного братца? Скажи, твоя волна в груди совпала с моментом, как она назвала себя?

— Не помню, но все равно совпадение неприятное. Чтобы какая-то девица была причастна к моей именной символике!.. Несуразная какая-то мистика!

— Адам, брось, ты, в конце концов, астрофилософ или астролог?

3

На лекции через неделю Вероника Северская сидела на том же месте у окна. К вольным слушателям другие профессора относились строже: или официально допуска-

ли, или безоговорочно выставляли прочь. Профессор Киссин привык, что на его лекциях всегда много посторонних, но они не имели привычки втискиваться в ряды штатных студентов, а эта... Тем не менее он не собирался устраивать разборки: каким образом она здесь, среди полноправных студентов, кто разрешил? Не в его прерогативах это было.

День выдался пасмурный, и проблем со шторой не было. Девушка слушала, опустив голову так, что рыжая прядь закрывала пол-лица, и быстро-быстро что-то писала, будто и не слушала его вовсе. Раз за разом она поправляла непослушные волосы, убирала прядь за ухо, а та своевольно возвращалась на место. Наконец она подняла взгляд на лектора, а тот, напротив, отвел.

«Отводить взгляд — пусть будет и в дальнейшем самым большим моим недовольством», — вспомнил профессор слова одного из великих, говоря с кафедры совсем о другом. А недовольство кем? Собою, конечно, только самим собою.

После лекции его, как обычно, сопровождали по коридорам до самого выхода неутомимые студенты. Терпеливо ответив на вопросы, профессор вышел на свежий воздух.

Был теплый сентябрь — бабье лето. Из-за облака выглянуло ласковое солнышко. Прямо перед ним стояла Вероника Северская.

— Еще раз здравствуйте, Адам Ремович! — как-то даже весело произнесла она.

— Здравствуйте, — заторможенно ответил он.

— Я Вероника Северская, помните? — представилась она, поправляя непослушные волосы.

— Да, память у меня хорошая.

— Я добыла вашу книжичку! — И она достала ее из сумки.

— Что значит: добыли?

— То есть помимо библиотек, помимо книжных магазинов...

— Каким же это образом? — поинтересовался профессор.

— Нашла!

— Когда по грибы ходили?

— Неважно! А важно то, что она мне понравилась. — Северская взглянула, прищурившись, на выглянувшее солнышко. — Правда, читать ее непросто. Но я давно для себя усвоила, некоторые непонятные вещи мне нравятся больше простых и понятных.

— Владеете английским? — В глазах профессора шевельнулись отсутствовавшие до этого живинки.

— Преподаю. — Вероника спрятала брошюру. — Мне ее, к сожалению, ненадолго дали. — Она непроизвольно вздохнула. Кто-то с ней поздоровался. Она ответила. Опять ее поприветствовали, и она предложила:

— Давайте отойдем, Адам Ремович, пройдемся, а то слова не дадут сказать.

Профессор согласился. Торопиться было некуда. Между лекцией в университете и письменным столом у себя в домашнем кабинете должен быть водораздел, чтобы свободно переключиться с одного на другое.

Пошли от университета в сторону его жилища, но на первой же поперечной улице свернули в направлении городского озера под университетской возвышенностью.

— Ваше сочинение не для широкого круга, конечно, — говорила Вероника уже на лавочке на краю большого озерного бассейна с фонтаном посередине, прозрачной водой и блестящей солнечной дорожкой, которую пересекали разноперые утки. Ни робости перед известным ученым, ни стеснения... Будто эти чувства вовсе отсутствовали в ней.

Оказавшись рядом, профессор наконец разглядел ее. Глазами чисто любителя живописи и самодеятельного художника. Девушка оказалась довольно симпатична (различаете термины «красива» и «симпатична»?). Да, именно симпатична: длинная шея, густые, цвета красного дерева волосы, ниспадавшие волнами по спине, большие серо-голубые, чуть раскосые глаза, слегка вздернутый нос и веснушки по щекам, как россыпь звезд по небу.

Она продолжала:

— В то же время заметно, что вы романтик и увлеченно зовете в какую-то безбрежность. И все это подано в полемике с какими-то незримыми оппонентами, которые, чувствуется, достали вас, и вы их не бьете наотмашь, а терпеливо доказываете им свое видение проблемы. У нас ведь теперь любомудры — это в большей степени историки и толкователи философии, чем собственно философы. Настоящие-то давно вымерли, как динозавры. Простите! — Она виновато подняла глаза на собеседника.

Профессор улыбнулся:

— Ничего, ничего...

— Естественно, у меня возникло много вопросов, которые взбудоражили мое сознание...

Киссин слушал новую знакомую и удивлялся, нет, не ее логике восприятия трактата, а опять-таки завидной раскрепощенности, обращению к нему по-свойски, будто они с ней были старинными друзьями. Адам думал, что он в ее возрасте был другим — чрезмерно стеснительным и даже в чем-то зажатым. Это всегда мешало ему. «Вот какие открытые есть на свете молодые люди, свободные, без комплексов!» Однако ему показались интересными и мысли ее, и последовавшие за ними цепкие вопросы. Они были по делу и некоторые требовали развернутых ответов, что тут же на лавочке делать было не с руки. Но на несколько он все-таки ответил сразу и довольно исчерпывающе.

Мимо проходили гуляющей походкой люди, бросали на парочку любопытствующие взгляды, двое поздоровались, на этот раз с профессором, почтительно приподняв шляпы.

В конце беседы новая знакомая предельно удивила — предложила перевести трактат с английского языка на русский.

— Я знаю, вы заняты, готовите к изданию работу за работой. И вам некогда. А тут совершенно безвозмездное, ни к чему не обязывающее предложение. И вам хорошо, и мне польза.

— Какая? — поинтересовался профессор.

— Я постоянно должна быть в работе, в общении. А мне этого не хватает. Читать лекции студентам — этого мало.

— Ok, I'll think about it.

— Thanks!¹

— А где преподаете?

— В нашем с вами университете, на факультете журналистики.

— Какое же отношение имеете к астрономии?

— Это моя любовь с детства.

4

Вечером я опять зашел к другу.

— Как дела, старый? — поприветствовал его, перешагнув порог.

¹ — Хорошо, я подумаю.

— Спасибо! (англ.).

— Да нормально, — ответил он буднично. — Ничего особенного. — И через паузу: — Если не считать, что я познакомился с Вероникой.

— Той самой?..

— И мы даже прогулялись по берегу нашего озера.

— Прогрессируешь, парень!

— Да нет, не то, что ты подумал, — вяло отмахнулся профессор. — Состоялся чисто деловой разговор.

— С этого и начинается... — усмехнулся я. — О чем же вы беседовали?

— О брошюрке «Астрофилософия и время». И знаешь, она удивила меня своим уровнем, своей подкованностью, так сказать.

— У тебя же, кроме этого трактата, сколько всего!

— Но я сам порекомендовал эту работу, поскольку она на предыдущей лекции задала вопрос об основах моей философии. И потом сегодня, представляешь себе, попросила разрешения перевести эти основы с моего английского...

— Сам не потрудился в свое время. Ну да ладно. Не тебе одному удивлять наш узкий круг, я тоже кое-что припас.

Адам оторвался от телевизора, который был настроен на его любимой программе «Вселенная», и вопрошающие искорки блеснули в его взоре.

Я не стал томить друга:

— По воле случая мне стало кое-что известно о твоей новой подруге.

— О Веронике?

— О ней самой.

Адам безразлично пожал плечами:

— Она не является ни моей подругой, ни ученицей. Не надо выдавать свои фантазийные представления за реальность.

Он поднялся с кресла, стал накрывать на стол.

— Северская преподает английский, — начал я, — у нас на факультете журналистики.

— Знаю, — ответил Адам, расставляя вилки-ложки на сероватого цвета, крупной выработки скатерти с нарядной, старинной вышивкой по краям и бахромой.

— И журналистика не случайна в ее жизни, — сказал я и сделал интригующую паузу.

— И?..

— И она пишет! Строчит статьи, очерки и печатает их, кроме прочего, в журнале «Научное обозрение».

— Интересно... — прошептал себе под нос Адам и уже в полный голос спросил: — Вино будешь?

— А что у нас сегодня?

— «Хванчкара».

— Хорошо, но ты меня отвлекаешь, — разглядывая бутылку, сказал я задумчиво.

Несмотря на свое гостеприимство, сам Ремыч был человеком непьющим — так, нальет и себе рюмочку или покроет дно фужера пурпуром или охрой напитка и будет тянуть весь вечер и восторгаться букетом — винным ароматом, по его словам, постоянно меняющимся на открытом воздухе. Знаток, елки-палки! Впрочем, большими знатоками винных дел являются как раз трезвые люди. Алкашам что — вкус, аромат нужен?

— Просвети, пожалуйста, — вернул я разговор к столбовой теме. — «Научное обозрение» — это серьезное издание?

— Да, столичное, научно-популярное, дает в доступной форме материалы о научных знаниях и людях науки. — По его тону было понятно, что этот журнал не очень интересовал его.

— Однако у него большой тираж, — заметил я.

— Садись давай, я приготовил отменное жаркое, пальчики оближешь. — Он поставил на стол фарфоровую супницу и только приподнял крышку, как из-под нее хлынул на простор гостиной аппетитный всепобеждающий аромат.

— За что пьем? — поинтересовался я, взяв наполненный фужер. — За наши науки — мою историю и твою космофилософию?!

— Нет, — качнул Ремыч головой, — поднимем бокалы за мою тетю Полю, которая сегодня не смогла прийти.

— А что случилось?

— Упала вчера из-за низкого давления и ушиблась. — Ремыч часто-часто заморгал, как всегда, когда его охватывало волнение, и продолжил: — За ее здоровье, без нее, сам понимаешь, пришлось бы мне тугο. Приготовить вот нечто вкусное просто и приятно, а ведь мясо, картошка, морковь и далее по списку не в холодильнике урождаются.

Я согласился. На время мы замолчали. Но хмельное, вкусное и сладкое не перебило моей генеральной мысли, с которой я завернул к другу. В нашей жизни был я для него не только электриком, сантехником, айтишником, но и советником. Философия философией, а жизнь земная не всегда течет по законам физики и общественно-политическим правилам. Зная его как облупленного, я не раз помогал ему, погруженному с головой в неземные проблемы, в разных простецких для обыкновенного человека земных ситуациях.

— Мне кажется, что Северская, кроме перевода твоей книжки, Адам, хочет написать о тебе что-то вроде очерка. Я видел два таких ее материала о наших ученых. Хорошо, кстати, пишет.

— Но ты же знаешь, не люблю я. И не только из-за того, что все переврут, переверкают, а вообще... Зачем мне это? О себе я и сам все знаю, тщеславием не страдаю, науку это не двинет.

— Потому и говорю, Ремыч. В ее предполагаемом замысле нет ничего предосудительного. Напротив, иные обрадовались бы, да и заплатили даже. Но Киссин ведь у нас из другого теста! — с этим восклицанием допил я содержимое фужера. — Впрочем, может, и ошибаюсь насчет задумок молодой журналистки. Могла бы и сообщить открыто о своем намерении.

— Ты, дорогой, редко ошибаешься, — произнес задумчиво Адам. — Но пойми, меня не интересуют ее публикации в «Научном обозрении». Прости. Я ценю твою заботу, но никаких интервью не собираюсь ни давать, ни рассказывать о себе.

— Потому она и решила, по-моему, потихонечку обойти твоё вето.

— Прости, — повторил он, намереваясь что-то сказать, но осекся. — Хотя...

— Что «хотя»...

— Хотя завтра я с ней встречаюсь.

— Да? А может, у нее чисто гендерные планы? А я тут...

Он рассмеялся в ответ:

— При всем твоём равновесии мысли заносит тебя порою, не знаю куда, в необузданную фантастику!

«А что тут фантастического?» — полез я в затылок.

5

Решили встретиться на противоположном берегу того же самого озера под университетской горкой в кафешке ресторанного типа, называемой весьма актуально —

«Уточка». Оба посчитали, что это более удобное место для разговора, где не надо будет постоянно с кем-то здороваться. Для профессора выбор был хорош еще тем, что туда он порой заходил пообедать, а то и поужинать, когда дома ничего не было приготовлено. Иногда с ручкой, блокнотом или смартфоном он засиживался так, что его обеды превращались в ужины. Официанты знали профессора и его меню: зимой суп-лапша, летом — окрошка, вечером — неизменное пюре с котлеткой и так далее — коржик, чай, компот, изредка — мороженое...

Ровно в шестнадцать ноль-ноль, как договорились, профессор вошел в уютный зал «Уточка» и устроился на «своем» месте, у окна с видом на водоем. Подошел официант:

- Здравствуйте, Адам Ремович!
- Добрый день, Роберт!
- Что-то вы сегодня нарушили свое расписание: ни обед, ни ужин...
- Будем считать, что это полдник.
- Как всегда, вы один?
- Нет, — ответил профессор. — Нас будет сегодня двое.

Водную гладь поближе к берегам озера усеяли желтые листья, а в центре бил фонтан, и радуга играла на его брызгах. Профессор смотрел в окно, потягивал кофе, и душа его была необыкновенно спокойна и просторна.

В шестнадцать двадцать в дверях появилась запыхавшаяся Северская, увидела профессора и, поправляя гнедую гриву, радостно поскакала к нему.

— Ой, Адам Ремович, опоздала, простите!

— Да ничего... — ответил профессор, вставая и помогая гостье снять курточку и разместиться за столом. — Я прямо отдохнул тут, глядя на озеро.

— Здесь красиво, и место вы хорошее выбрали! — Девица вся светилась, будто не к профессору на деловой разговор пришла, а к жениху на свидание. — А я уже первую главу вашего трактата перевела! В переводе книга будет безусловно доступнее и студентам, и всем, кто интересуется глобальной философией. Жаль только, завтра вернуть надо. Ладно, в библиотеках поищу.

— А я вот принес экземпляр. — Профессор достал из портфеля книжку в мягкой светло-серой обложке и протянул собеседнице.

— Ой, не знаю, как и благодарить! — Она живо распахнула ее. — И даже с дарственной надписью!

Заказали пирожное, мороженое, чай с лимоном... Она задала несколько вопросов по тексту первой главы, он ответил, и потом разговор вышел из берегов. Оказывается, Вероника еще ребенком приехала сюда из Самары с отцом, которого назначили в нашем городе директором нового крупного издательского комплекса. С четырнадцати до шестнадцати лет училась в Кембриджском региональном колледже. Вернулась, окончила наш университет, в аспирантуру не пошла, кандидатскую защитила «без отрыва от производства», то есть не сходя с преподавательской кафедры.

- Не замужем, — произнесла она в заключение своего неофициального резюме.
- Что так? — спросил без задней мысли профессор.
- А сами-то, Адам Ремович?! — задорно ответила вопросом на вопрос Вероника.
- Ну, я-то холостяк каменный, — сдержанно произнес профессор.
- Идеальный, стало быть.

Беседа их, как блуждающая звезда, давно сошла с намеченной траектории, виляла, меняла направления, тем не менее мысли Кисина вращались вокруг созвездия Волосы Вероники в Северном полушарии и земной тезки небесных светил — Вероники Северной. «К чему бы такое совпадение?» — думал философ и по памяти сравнивал

графические изображения развевающихся волос родного созвездия с ниспадавшими на плечи собеседницы густыми огненно-рыжими волнами.

Постепенно незримый вопросник оказался исключительно в руках Вероники:

— Адам Ремович, почему вы ведете такой затворнический образ жизни?

Профессор вспомнил своего друга, который еще накануне после ужина и нескольких картежных партий, прощаясь, пошутил, что Северская снимет с него скальп для «Научного обозрения». И сам он накануне и предположить не мог, что будет назавтра покорно, без никакого внутреннего сопротивления отвечать на вопросы не аккредитованной по его душу журналистки.

— Ваш отец в Москве, а про вашу маму я что-то не знаю.

— Мама умерла, когда я был еще подростком.

Вопросы сменялись с калейдоскопической непредсказуемостью.

— Вас пригласили на заседание Всемирного философского клуба, который состоится в Дели, если не ошибаюсь, в апреле будущего года?

— Да, я получил приглашение.

— Поедете?

— Еще не решил, — уклончиво отвечал профессор.

Так они общались почти два часа. Потом он посадил новое свое созвездие в такси, а сам неспешным шагом пошел от озера вверх, на университетскую гору домой.

Вечером она позвонила и сообщила, что добралась до дому благополучно. На следующий вечер вновь позвонила и сообщила, что у нее проблемы со второй главой:

— Все-таки научный текст для перевода не так прост.

Разобраться толком по телефону не получилось, и он посоветовал перейти к третьей главе:

— Она попроще, а со второй потом разберемся.

6

Через два дня они опять встретились в кафе, Вероника опять опоздала. На сей раз на двадцать три минуты, на сей раз ее огненные волосы были подняты с затылка и собраны вверху в «воронье гнездо». Она быстро шла между столиками, и на нее оглядывались.

Так же светило солнце, так же играла радуга всеми своими цветами на брызгах фонтана посреди озера, так же искренне и бурно извинялась она за опоздание.

Профессор успокаивал и для большей действенности вручил ей распечатку переведенной им второй главы трактата и флешку. Они вместе прошли по тексту, и переводчице все непонятное стало понятно. Она так обрадовалась, что взяла и поцеловала профессора в губы.

От неожиданности доктор философских наук часто-часто заморгал, и та самая необъяснимая волна, которую он тогда, на лекции, принял за капризы своей звезды, вновь накатила на солнечное сплетение. До этого никто, кроме родной матери и тети Поли, его не целовал, да и когда это было? — в годы отрочества.

На губах остались тепло и то ли влага, то ли помада молодой искусительницы. Вероника уголком белоснежного платочка повела по краешку его рта:

— Простите, испачкала немного.

Отчего тот еще более смутился, достал из кармана пиджака свой платок... Потом раскрыл меню, стал листать.

Вероника, разглядывая глянцевые страницы своего экземпляра, предложила вдруг:

— Адам Ремович, давайте вина возьмем!

— Желание дамы — закон для... — начал было профессор, но под конец осекся.

— ...Кавалера, — завершила Северская.

— Порядочного мужчины, — поправил профессор, немного успокоившись после акта неожиданного прикосновения к нему особи женского биовида.

Роберт заказ быстро исполнил — не обед же, не ужин, жарить-парить не надо. По фужеру сухого вина, пирожное, мороженое — одним подносом...

Вероника решила произнести тост.

— Адам Ремович, за вами студенты стадами ходят, просто удивительно! Мне кажется, при желании вы могли бы заставить и звезды вращаться вокруг себя.

— Э-э-э... — перебил ее Киссин. — Давайте попроще — за наше здоровье и все... А лучше будет и хрестоматийно:

Поднимем стаканы, содвинем их разом!

Да здравствуют музы, да здравствует разум!

Они содвинули, он пригубил, она тоже, заметив насчет произнесенного:

— Пушкин.

— Вакхическая песня, — дополнил профессор и вдруг сказал: — А знаете, мы с вами родственные души.

— Как это?

— Вас звать Вероника Северская, а моя звезда по имени Киссин находится в ваших владениях.

— Не поняла.

— Есть такая звезда Киссин.

— Я это уже слышала.

— И она находится в созвездии Волосы Вероники Северного полушария.

— Поразительно! — воскликнула Вероника. — Тут и имя, и север — все совпадает. И даже волосы! Я-то думаю, откуда у нас с вами такое взаимное притяжение! — Она залилась звонким, счастливым смехом, который, казалось, и все ее веснушки, весело запрыгав, поддержали. — Значит, объяснение простое: вы, дорогой товарищ Киссин, в полном моем владении. — Она взяла фужер с остатком вина и, поправив прическу, спросила: — А откуда у созвездия такое странное название?

Профессор принялся обстоятельно рассказывать:

— Волосы Вероники были обособлены в отдельное созвездие в третьем веке до нашей эры древнегреческим астрономом и математиком, другом Архимеда Кононом Самосским, который под конец жизни перебрался в Александрию и ходил в жрецах у египетского царя Птолемея Эвергета. Его супруга Вероника (на латинице — *Beronika*) славилась необыкновенной красотой. Особенно прекрасны были ее волосы. Правитель рядом с Вероникой чувствовал себя необыкновенно счастливым. Он не мог оторвать глаз от ее волшебных прядей. Но недолго длилось супружеское счастье — Птолемею пришлось со своим войском пойти на войну.

Минули годы, а он все не возвращался. Тогда Вероника отправилась в храм Афродиты, умоляла богиню даровать супругу победу и заверила за это принести в жертву свои прекрасные волосы.

Скоро пришла весть, что Птолемей победил и возвращается домой. В тот же день Вероника пришла в храм Афродиты, отрезала свои волосы и, как обещала, возложила их на жертвенник.

Когда Птолемей вернулся и увидел, что у его любимой нет ее прекрасных волос, то удивлению его не было предела. Тогда Вероника рассказала ему, что принесла

их в жертву ради его победы. Птолемей решил полюбоваться ими хотя бы в храме. Но они там таинственным образом исчезли. Случившееся разбило сердце правителю. Тут появился жрец Конон и сообщил ему, что божественные волосы его жены вознесены на небо Афродитой. Он сказал: «Взгляни на небо, мой господин, там, где сияет Арктур, подмигивает тебе небольшая россыпь звездочек. Это и есть власы любимой твоей супруги».

Так по воле богов и при участии астронома Конона появилось на небе новое созвездие — Волосы Вероники.

— Красиво, — прошептала Вероника.

— Очень, — ответил профессор.

— А это точно, что есть такая звезда Киссин? Может, вы меня разыгрываете, в мифе-то о ней ничего не сказано.

— Точно, — ответил профессор. — Киссин — двойная звезда Северного полушария в созвездии Волос вашего имени. В мифе ее нет, а вот в астрономических справочниках отмечена.

Вероника зажурчала негромким, переливистым смехом.

— А давайте за наше звездное родство!

— С удовольствием!

— Но в моем бокале все испарилось, — улыбнулась Вероника. — Не рассчитала, что будет еще очень важный тост.

— Какие проблемы?!

Джентльмен сделал для «родственной души» дополнительный заказ, у самого в бокале еще не все испарилось.

Вероника находилась в приподнятом расположении духа. Он тоже в хорошем. Такого необычного состояния профессор в своей жизни еще не испытывал.

Сколько они просидели в тот день в «Уточке»? Счастливые часов не наблюдают!

Они вышли к озеру, было уже темно, к тому же небо заволгло непроницаемой хмарью, и созвездия Волос Вероники увидеть было невозможно. Она уехала на такси. Он на обратном пути зашел в книжный магазин.

7

Вечером я навестил друга, и мы поделились своими новостями. У меня их особо не было, а вот Адам, у которого раньше, кроме научных и прочих заоблачных, особо не водилось, удивил меня своими земными приключениями.

Сначала он рассказал, как заглянул в книжный магазин, и к нему там подошел лет сорока незнакомец, стриженный наголо, в тесноватой серой курточке. Он представился Ирденем и сказал, что посетил его, Адама Ремовича, две лекции в Доме искусств. Новый знакомый удивил профессора своим глубоким проникновением в тему астрофилософии, особенно в части вопросов космоса. Они разговорились как два человека из одной научной команды.

Подойдя в магазине к разделу под названием «Вселенная», Ирден достал с верхней полки толстенную книгу, на суперобложке которой значилось название «Созвездия Млечного Пути», полистал и спросил, не сможет ли он помочь ему приобрести это издание. «А то у меня нет денег», — признался новый знакомый. Мой друг, естественно, не отказал в просьбе, оплатил, и Ирден был очень доволен.

Адам обратил внимание, что у того странное имя, и тот ответил: да, у вас на Земле оно звучит необычно, а у него на планете это имя весьма распространенное. Адам удивился: «На какой такой вашей планете?» Пришелец охотно сообщил: «На плане-

те Тассея в созвездии Волопас. Это, если отсюда смотреть, в Северном полушарии по соседству с Волосами Вероники... Знаете?» Адам ответил: «Знаю, конечно! — и добавил: — Я сам оттуда, из вашей звездной соседки — из Волос Вероники». — «О, какая удача! Значит, наш великий Арктур светит нам с вами почти одинаково. А когда вы, кстати, обратно?»

Адам сознался, что в разговоре с пришельцем полностью вошел в роль: «Еще дела земные держат меня тут, дорогой Ирден». — «А я скоро уже соберусь обратно, — ответил инопланетянин. — Может, вместе тронемся? У вас, глубокоуважаемый профессор, энергия для возврата еще не истрачена? В случае чего, у меня хватит на двоих».

Доктор наук рассказывал мне весь этот бред без тени каких-либо сомнений. И впрямь, он принял этого сумасшедшего за инопланетянина.

— Единственно, что смутило меня, — признался Адам, — о планете Тассея я раньше ничего не слышал.

— Да сам же знаешь, в астрономии еще столько неизвестного.

— Но все же, но все же... Надо будет более тщательно проанализировать созвездие Волопаса.

— И что потом? — спросил я его. — После магазина?..

— Потом мы вышли на улицу. И смотрю, пришелец мой заволновался. Он кивнул на двух детей, торчавших из-за кустарника на другой стороне улицы, и шепнул, прячась за меня: «Они охотятся за мной. Пойдемте прямо до переулка. И я сверну, а вы — как ни в чем не бывало дальше...»

Так и сделали. Но те двое параллельным ходом по той стороне дороги двинулись за нами. На углу переулка Ирден прошептал: «До свидания, Адам Ремович, еще увидимся» — и бросился бежать переулком в сторону другой магистральной улицы. Следы — за ним.

Я спросил:

— Адам, ты хоть знаешь, кто такие «следаки»? Это на криминальном языке — «следователи». А в вашем фантастическом случае — реальные санитары из дурдома.

— Ты что — считаешь его сумасшедшим?

— Как пить дать!

— Он же до нас в Чили побывал, в обсерватории Паранал, что на высоченной горе пустыни Атакама. Мечта любого исследователя космоса! Ирден в мельчайших подробностях рассказал мне об особенностях этого уникального астрономического учреждения, которое, кстати, принадлежит Южно-европейской обсерватории, ответил на все мои вопросы. Как такое может быть, если он умалишенный?

— Я не говорю, лишенный ума, но бывают люди, вышедшие за пределы привычного человеческого разума. Те же Платон, Кант, Ван Гог, Циолковский... Не назовешь же их вполне нормальными людьми! Среди мужей наук, искусств таких персонажей пруд пруди. И еще... Скажи на милость, ученый, специалист своего дела или тот же астроном не может сойти с ума? Знания-то остаются, только мозг сдвигается в сторону.

Ничего Адам не ответил, замолчал глубоко и угрюмо.

И я решил переключиться на другое:

— Слушай, а как ты ходил в «Уточку», на свидание с Вероникой?

Мой друг ожил:

— Но я не на свидание ходил, а на деловую встречу. Однако ты прав, это можно было бы назвать свиданием.

— Как это?

— Слишком душевной получилась встреча. Мы даже вино пили, скажу больше... — Адам замаялся. — Мы с ней там целовались.

— Не может быть!

— Дело в том, что она не справилась с переводом второй главы брошюры, и я сам перевел — что мне стоит! — и вручил ей за столиком. И на радостях она поцеловала меня прямо в губы.

— Вы напротив друг друга сидели?

— Конечно!

— Но между вами столик...

— Она обошла его. — Адам улыбнулся рассеянной улыбкой. — А после второго фужера она поцеловала меня еще раз. Уже через столик. Вернее, тут я и сам помог: поднялся и ответно потянулся к ней, иначе не достать было меня.

— Получается, теория твоя об обязательной холостяцкой жизни настоящего философа трещит по швам!

— Почему? Я же не собираюсь жениться.

— Лиха беда начало! — понимающе закивал я, как человек больше практики, чем теории. — С этого все и начинается.

Адам убежденно возразил:

— У нее и д р у г есть. Перспективный, забивной хоккеист, атлет. Женщинам же для жизни нужны сильные, волевые мужчины, а не тьюфаки, пусть и образованные и даровитые. Еще и в возрасте...

— Откуда знаешь, что атлет?

— Хоккеисты заморышами не бывают. Она, между прочим, пригласила меня на воскресный матч с челябинским «Трактором».

— И пойдешь? В жизни ведь не был в Ледовом дворце. Сколько я тебя звал! Да уж!.. — Я покачал головой и замурлыкал вполголоса:

Любовь нечаянно нагрянет,

Когда ее совсем не ждешь...

В ответ он вспомнил слова Ницше:

— Философа узнают по тому, что он чурается славы, царей и женщин, но нет того, что последние не приходят к нему.

— Теперь вон оно как! — закивал я. — Это нечто новое в твоей космофилософии.

Когда я уже собирался домой, телефон Адама заиграл мелодию «Одинокого па-стуха». Он взял трубку — это была Вероника. Она сообщила, что добралась до дома без приключений. Почему так долго? Заезжала к подруге. Голос ее был хорошо слышен.

— К ночи небо прояснилось, — говорила она. — Пыталась отыскать свои волосы на небе, но так и не нашла.

— Это созвездие не очень яркое, — пояснил Адам. — Как-нибудь вместе отыщем.

— Спокойной ночи, Адам Ремович!

— Спокойной ночи, Вероника! — ответил мой друг, и уже обращаясь ко мне: — Я рассказал ей о созвездии Волосы Вероники.

— И о своей звезде тоже?

— Да, и о своей звезде тоже.

8

В воскресенье с утра, накупив в пекарне всякой всячины, Адам поехал в больницу с зарешеченными окнами навестить Ирдену. Откуда он узнал о местопребывании ново-

го знакомого? В наш век то, что надо узнать, узнается моментально. Ничего не скрыть, не спрятать от всевидящего ока современного мира.

На подходе к лечебнице Адаму вспомнилась картина Ван Гога «Желтый дом». И правда современное разновысотное здание, представшее перед ним, походило на акварель художника не только цветом.

Проблем со свиданием не возникло, им разрешили погулять по огороженному высоким забором саду. Пройдясь немного, они устроились на скамейке под ветвистым дубом. Пахло осенью, кружились неприкаянно желтые листья, ими были усыпаны дорожки и тропинки, по которым бродили одиноко и печально люди в серых пижамах с белыми воротничками, таких же, как и на Ирдене. Было необыкновенно тепло и солнечно.

Адам спросил:

— Сколько человек в палате?

— Четверо, — ответил Ирден. — Один Есенин, два Наполеона и я, инопланетянин.

— Мирно живете?

— Нормально. Здесь все погружены исключительно в себя. Что интересно, при общении никто друг друга по настоящим именам не называет. К Наполеону, что потолще, обращаются «ваше величество», к другому — «месье», к Есенину — просто Сергей, а ко мне по-разному — то «пришелец», то «инопланетянин», а Есенин, как всегда, оригинален: зовет меня «залетным». В действительности же никакой я не пришелец, я посланник со специальной миссией.

— Какой миссией?

Ирден замялся:

— Мне запрещено даже заикаться на эту тему. Но вам, Адам Ремович, скажу. — И он зашептал: — Определить человеческую сущность на планете Земля, ее нормы и ценности и готовы ли вы встретить представителей другой цивилизации.

— Вон оно что! — тихо промолвил Адам. — И получается?

— Да, познаю, как видите... — ответил Ирден без тени недовольства сложившимися обстоятельствами. Понятно, ему как исследователю надо было познать человечество во всех его проявлениях.

Я поинтересовался, какой же диагноз поставили ему врачи. Ирден в ответ пожал одним плечом:

— Не говорят. Все вокруг да около... Устал, якобы переутомился на слишком динамичном жизненном пути. Вам, мол, надо притормозить, успокоиться, и пообещали помочь в этом. А Есенин сказал по секрету, что поставили мне «смещенное сознание».

— Как же вас вызволить?

— Не волнуйтесь, Адам Ремович, придет время, и я выберусь отсюда без посторонней помощи. Отдохну вот немного...

В тишине сада только листья шуршали под ногами гулявших «знаменитостей». Ирден прервал молчание:

— В соседней палате вчера умер Рамзес Второй Великий.

— Старый был?

— Не очень.

Адам вздохнул:

— У всего есть свое начало, у всего есть свой конец.

— А у нас смертность окончательно побеждена, — заметил Ирден.

— И теперь будете жить вечно?

— Нет, должна быть сменяемость поколений, необходимо постоянное обновление. А бессмертие мы подарили нескольким подопытным животным.

— Можно было обессмертить своих великих деятелей.

— Это нечестно. Даже звезды, даже галактики имеют свой срок... Вон Milky Way and Andromeda's nebula² стремительно сближаются, и что произойдет, когда они столкнутся?

— Но это через три-четыре миллиарда лет.

— Что такое миллиарды лет для Вселенной?!

Они еще поговорили немного, и Посланника пригласили на процедуру.

— Это не вредно для вас? — спросил Адам, прощаясь.

— Не волнуйтесь, — ответил он невозмутимо. — Я защищен.

Адам рассказывал потом, что вышел оттуда с тяжелым чувством на сердце, будто заглянул в потусторонний мир.

* * *

Посещение клиники было утром воскресенья. Днем же профессор успел плодотворно поработать за своим письменным столом, что обыкновенно улучшало его настроение, а после полдника поехал на хоккей. Машины у него не было, и новоиспеченный болельщик воспользовался трамваем. Он редко катался на городском транспорте, чаще — на такси, но трамвай любил — устраивался по возможности у окна и наблюдал: вот Кремль возвышается над рекою, вот театр, куда ходил с мамой, а эта высотка выросла на месте одноэтажного деревянного особняка с четырьмя белыми колоннами — надо же, такое чудо зодчества снести!

С Вероникой встретились у Ледового дворца. На этот раз высокая прическа отсутствовала, пожар ее волос был заплетен в тугую косу и перекинут через плечо на грудь.

Народ валил к центральному входу валом. Она искусно лавировала в толпе, он за ней, коса ее вернулась на спину и служила хорошим ориентиром в гонке за лидером. В фойе болельщики несколько успокоились, остепенились, господина профессора начали узнавать.

— Здравствуйте, Адам Ремович!

— Адам Ремович, здравствуйте!

— Добрый вечер, Адам Ремович, не знали, что вы увлекаетесь хоккеем!

Профессор не успевал отвечать на приветствия. Вероника смеялась:

— И тут не дают вам покоя ваши студенты!

— Что ж, понятно, хоккей — не лекции по философии, — шутил профессор. — Вот и прогульщика одного встретил.

Хоккей Киссин смотрел с болельщицкой трибуны впервые. Порой, конечно, бросал взгляд на матчи дома по телевизору, но так, чтобы специально, чтобы в Ледовом дворце...

— Действительно, — отвечал он на вопросительный взгляд Вероники, — масштаб, блеск, музыка попеременно с ревом трибун впечатляют. — Но везде и всюду он старался вникнуть в суть происходящего. И тут тоже стал внимательно следить за игрой.

Профессор быстро овладел логикой событий на льду. В команде хозяев он сразу отметил действия нападающего с надписью на спине «Дворов» и номером четырнадцать. Оказалось, это и был дружок Вероники.

При равной, в общем-то, игре Дворов забил под конец третьего периода победную шайбу, и хозяева одержали верх со счетом четыре—три. Сколько раз, по-вашему, самая страстная болельщица ледовой арены целовала профессора? Правильно, четыре раза. И особенно жарко — в честь заключительной шайбы.

² Млечный Путь и туманность Андромеды (англ.).

На сей раз никакие волны не подкатывали к солнечному сплетению профессора. Его уже не удивляли, а точнее сказать, даже нравились ее свобода и непринужденность в действиях, естественность в том, что для других могло быть истолковано как развязность и неприличие. Полет ее жизни был вдохновенен и неподвластен каким-то надуманным моралям и правилам, он был, как солнечный ветер, неудержим.

С финальной сиреной профессор и доктор наук вместе со всей публикой, вернее, со всеми болельщиками вскинулись с мест, зааплодировали, кто запел, кто в две жилы задудел в свои дуделки, забарабанил в барабаны. Преодолевая шум, Адам сказал:

— Ваш кавалер настоящий мастер, я уважаю профессионалов в любом деле.

— Да не кавалер мне Костик Дворов вовсе, а просто приятель хороший.

Она предложила дожидаться после матча его и вместе сходить куда-нибудь поужинать. Адам извинился — дома его ждет срочная работа — и уехал на набитом болельщиками трамвае. Без удобного места у окна, без видов на вечерний город, которыми намечал насладиться. Вероника осталась.

9

Через несколько дней она позвонила и сообщила, что у нее не получается четвертая глава.

— Хорошо, — ответил он, — сделаю, приступайте к пятой.

Так в скором времени в ее и его переводе рукопись трактата «Астрофилософия и время» была к изданию готова. Адам внимательно перечитал совместный труд, внес правку и отдал Веронике. Через две недели книга в самом прекрасном виде, на двух языках, в твердом красочном переплете, с цветными иллюстрациями увидела свет в издательстве Северского-старшего.

В выходных данных книги значились автор, редактор, корректоры, художник и переводчик — Вероника Северская.

Чтобы и его записывали в толмачи, Адам отказался.

Отметили событие в той же «Уточке». До этого профессор с Вероникой на склоне дня зашли в издательство за авторскими экземплярами, повидали и директора.

Северский принял их более чем радушно. Попили чай с печеньем, поговорили. Адам от души поблагодарил его за благотворительность и качественный выпуск «изделия» немалым тиражом. В ответ тот сказал, что рад был возможности издать такую замечательную научно-популярную книгу, и заметил:

— Впрочем, если честно, она не совсем простая. Чтобы прочесть и понять ее смыслы, пришлось вот с главным редактором ползать по словарям и Интернету.

Покинули типографский комплекс, когда ноябрьский вечер резко задернул окна своими непроницаемыми шторами.

Но «Уточка» была недалеко.

Роберт уже заждался своих заказчиков:

— Милости просим! А я уж стал беспокоиться.

— Задержались в издательстве, — объяснил Адам. — Вот книгу с Вероникой выпустили! — И он достал из портфеля экземпляр...

— Подпишите, Адам Ремович! — листая и разглядывая картинки, взмолился Роберт.

— Пожалуйста! — ответил Адам. — Вы, дорогой Роберт, будете вторым после директора издательства обладателем автографа Вероники Северской и моим в том числе.

Вероника достала ручку, и они с Ремычем стали рядиться, кому из них начертать пожелание. Как всегда, дама взяла верх, и профессор долго придумывал приветствие. Но подпись поставить первой он предоставил ей.

Сидели при свечах, организованных Робертом по случаю знаменательного события, и умудрялись разглядывать иллюстрации своей новорожденной книги.

Разноцветные огоньки свечей плясали на гранях хрустальных фужеров и играли в пузырьках шампанского. Никогда Адам не ощущал себя обратной стороной своего существа — таким раскованным, поставившим под угрозу нить выработанных годами принципов и устоев и не чувствовавшим ничего особенного, напротив, бесшабашность и какая-то особая легкость сердца радовали его.

Свечи на сквозняке ярко вспыхивали, освещая их счастливые лица дополнительным светом, и он читал наизусть то, что волновало его до глубины души и не отражалось на поверхности повседневной жизни:

О, мчаться под парусом в море!
Покинуть эту косную, нудную землю,
Эту тошную одинаковость улиц, панелей, домов,
Покинуть тебя, о земля, заскорузлая,
твердая, и взойти на корабль,
И мчаться, и мчаться, и мчаться под парусом вдаль!

— Кто это? — поинтересовалась Вероника.

— Это мой коллега, философ Уолт Уитмен.

О, понять, как безмерно пространство,
Множественность и безграничность миров!
Появиться на свет и побыть заодно
с солнцем, с луною, с летящими тучами!

В дальнем конце помещения играла музыка, и пары танцевали.

— Пойдемте, Адам Ремович, потанцуем! — воскликнула Вероника и потянула его за руку. — Солнце солнцем, луна луною, а у нас тут под крышей ограниченное пространство, и оно нашептывает...

— Но я ни разу в жизни не танцевал!

— Один философ говорил мне, что все имеет свое начало...

Сопротивляться было бесполезно.

— Откуда в человеке столько энергии? — удивлялся профессор.

— Во мне, как в сверхновых звездах, идут термоядерные процессы, — смеялась она, встряхивая огненной фатой волос.

— Но сверхновые звезды разрушают все вокруг себя.

— А вы прижмите новую звездочку к себе покрепче, и мы устоим, не разрушимся.

Длинный, прямой, как верста коломенская, прекрасно выглядевший за университетской кафедрой, здесь, среди танцующих парочек, профессор был явно не в своей тарелке. Он стеснялся своего роста, своей неуклюжести, переминался с ноги на ногу, задевал окружающих, но талия, которую он обнимал одной рукой, но прижавшаяся к нему девичья грудь и порывистое, чистое дыхание лишали его чувства места, времени и всяческих гравитаций. Он парил в каком-то волшебном полусне. Спроси профессора в ту минуту: «Сколько будет дважды два?», и он ответил бы: «Пять».

Больше не танцевали, профессор отдал ей все ноги в красивых сапожках на высоком каблуке, который (речь о каблуке) не помог ей в погоне за его ростом. Они и без танцев постоянно прикасались друг к другу — то рука ее миниатюрная ложилась на его

длиннопалую длань, то соединялись они в поцелуях после значимых размышлений и спонтанных тостов...

В тот вечер Адам с Вероникой говорили о чем угодно — о необходимости презентации нового издания «Астрофилософии», о специфике научного и художественного перевода, о своих пылких мечтах детства, — только не об отношениях, сложившихся у них друг с другом. Любовь, дружба, мораль, семья — этих понятий будто не существовало в принципе.

Однако влюбленность в тот момент светилась в их обнаженных взорах более чем очевидно. И Адам, серьезный человек, профессор, позволял себе шутить:

— Сколько веснушек на твоих щеках, что-то не могу сосчитать? — Он не заметил, как перешел на «ты». Аксиома: влюбленные на «вы» не разговаривают. Пардон, Вероника-то продолжала «выкать».

Она залилась своим переливчатым смехом и сказала:

— Ровно шестьдесят четыре. Ровно столько, сколько звезд в моем созвездии.

Они были по-хорошему раскрепощены. Только еще об одном, кроме любви, помалкивал Адам — об Ирдене. Почему хранил тайну общения с инопланетянином, пришельцем, посланником, и сам не знал. Хотя тот в общении с землянами своего происхождения не скрывал, за что и был, как известно, помещен в лечебницу для больных с психическим расстройством.

Впрочем, запретных исключений в «раскрепощенном» разговоре при свечах оказалось больше. Например, ни разу Адам не упомянул журнал «Научное обозрение», а ведь неделю назад специально пошел в университетскую библиотеку и взял два названных мной номера. Очерки Северной в солидном издании ему понравились. Знание предмета, умение раскрыть образ героя, доходчивый сочный язык делали тексты убедительными и, как говорят журналисты, читабельными. Хотя писать об ученых не так просто, она с нелегкой задачей справилась. Портреты ее героев — физика малых частиц и академика биохимии, которых Ремыч хорошо знал, — получились яркими, и никаких ляп, никаких оплошностей он не заметил. Почему же не заговорил об этих ее публикациях тогда при свечах и в другие дни, непонятно. У него на это были, видать, какие-то свои причины. Тут, наверное, сработали и мои рассказы-предположения о тайных намерениях журналистки писать о нем. Но она ведь о них тоже умалчивала, вот и мой друг чужие тайны не нарушал, пускай они и его персоны касались.

Свечи догорали, и Роберт аккуратно менял их, подливал, мельтешил вокруг.

Нечасто так бывает, когда люди из разных созвездий, из разных водоемов времени беспрепятственно находят общий язык, понимают друг друга с полуслова, и разговоры их тихие льются и льются, и нет им предела.

Неправильно высказался: они у меня все-таки одного созвездия. Помните же?!

Ноябрьская ночь после теплого застолья встретила их бодрящей прохладой и яркими, как по заказу, звездами. Они стали вглядываться в созвездия, и Вероника спросила:

— Где же созвездие имени моих волос?

Он стал объяснять:

— Гляди, вон ярчайшая звезда Арктур. И левее, совсем рядом, твое созвездие.

— Не найду.

— Оно не очень яркое. Да, трудно различить. У меня вот дома есть любительский телескоп, и он, как на ладони, поднес бы тебе его.

— А пойдемте посмотрим, — заговорщицки предложила Вероника. — Вы же рядом живете.

— Прекрасная идея! — согласился Адам. — Какие разговоры!

Они обогнули озеро и поднялись на гору к университетской улице, где жил профессор.

10

Поравнявшись с домом, Вероника произнесла задумчиво:

— Ваш особняк, наверное, один из самых старых на этой улице?

— Да, один из... Но не самый... — ответил Адам. — И потом, я не приемлю определение «старый». Старинный — другое дело.

Поднялись по широкой парадной лестнице, вошли, разделись, прошли...

Вероника вертела головой, и все ей нравилось и даже восхищало. Такое же вот чувство она испытала много лет назад, когда еще маленькой девочкой с мамой и папой взшла по блестящему лестничному маршу на площадку вестибюля Эрмитажа и шагнула в зал, охраняемый древнегреческими богами и богинями. Любое сравнение хромает, это — безусловно, но тут речь не о сопоставлении двух объектов неподвижности, а о том далеком чувстве, неожиданно возродившемся здесь, на почти родной улице, в этом на вид совсем не выдающемся доме, мимо которого она проходила раньше миллион раз.

Чувства в ее груди зашкалили, когда на пути к балкону с телескопом они стали проходить через зал, увешанный живописными полотнами.

— Ой, это же настоящая картинная галерея! — воскликнула она, скрестив руки на груди. — Откуда такое богатство? Вы еще и коллекционер?

— В какой-то мере... — пожал плечами Адам.

По ходу медленного продвижения Вероника останавливалась у каждой картины, будто отдавая дань почтения своему уважаемому знакомому или далее незнакомцу, но того же таланта. Она подолгу разглядывала портреты, пейзажи, жанровые сценки... При этом клонила голову то в одну, то в другую сторону, точно хотела заглянуть по дальше первого живописного плана

— Фешина вот узнала, Серебрякову, естественно, тоже. А это кто?

— Это шведский живописец и скульптор Андерс Цорн, великолепный мастер конца девятнадцатого — начала двадцатого века. Что-то между реализмом и импрессионизмом. Его водные просторы — просто окунуться охота. На волнах лодочки качаются с гребцами, на причале дамочки в шляпках под белыми зонтиками. — Адам шагнул к противоположной стене. — Вот как на этой картине.

— Просто прелесть! — не уставала восхищаться гостя.

— У нас ведь любители живописи, кроме Леонардо да Винчи с его «Моной Лизой», Репина с «Бурлаками», Сурикова, Ренуара, Мане, Моне и еще пары десятков художников и знать больше никого не знают.

— Да и в литературе также, — согласилась Вероника, — и в музыке тоже...

— Вот-вот, а искусство во всеобъемлющем своем понимании неохватно, как Вселенная, и там столько звезд и созвездий остаются нераскрытыми! У нас один местный художник пользуется этим. Достает из кажущегося небытия малоизвестный шедевр и списывает копии, изменив чуть содержание, чтобы в случае чего оправдаться от обвинения в плагиате.

Вероника и разглядывала, и слушала... И Адам в душе удивлялся всеядности ее интересов. Не раз бывал он свидетелем, когда посетители его дома проходили всю галерею, и взгляда не бросив на картины, будто это были узоры на обоях. Равнодушие

к его коллекции живописи не задевало, у каждого свои приоритеты, кто-то обожает музыку, кто-то литературу... Но с другой стороны, думал он, без живописи не может быть полноценного восприятия мира искусства. Как можно любить живописание (художественную литературу) и быть равнодушным к живописи?!

— А это кто? — остановилась гостья у следующего полотна небольшого формата.

— Это портрет моего друга Марата, историка и тоже по-своему философа.

— Кисти Делакруа?

Адам принял шутку, усмехнулся:

— Это моя работа.

— Вы еще и живописец?

— Да нет, так, балуюсь...

— Просто фантастика! Вы все больше и больше поражаете меня, Адам Ремович!

— Кстати, мой товарищ, что на картинке, тоже наш университетский коллега.

— Я-то думаю: где его видела?

— Как-нибудь познакомлю. Интересный человек, с нестандартным образом мышления. Мы с ним с первого класса дружим.

Вышли на балкон. Их встретила ясная, с легким морозцем ноябрьская ночь. Небоятный хоровод звезд в небе, казалось, только и ждал их — поплясывал, перемигивался, и яркий располневший месяц будто руководил хороводом.

Адам расчехлил телескоп, приготовился к долгим объяснениям, но Вероника в отличие от его друга без труда нашла свое созвездие.

— Но это мало похоже на волосы!.. — прошептала она разочарованно.

— Все названия созвездий условны, — стал объяснять профессор. — На древнегреческих гравюрах они выглядят, конечно, красиво, а вот в действительности без помощи художественных образов звезды то рассыпаются, то разгуливают своевольно и нарушают очертания рисунков. Действительно, вместо Гончих Псов можно было нарисовать тигров, а Деву поменять на... — Адам не договорил, вспомнив своего друга: — Марат мой вообще сказал, что звездная связка Волос Вероники больше похожа на плывущую медузу.

— В его словах есть доля правды, — признала Вероника, возвращаясь к окуляру телескопа, чтобы найти звезду имени своего наставника. По его наущению она усердно всматривалась в найденное минуту назад созвездие и наконец вскрикнула торжественно: — Вот она, родная! Я нащупала ее.

Сверили параметры — точно, это была та самая, искомая — звезда Киссина.

Потом она стала любоваться поверхностью Луны, ее ландшафтом, кратерами, не переставая изумляться:

— Не думала, что какая-то любительская труба для начинающих астрономов так приближает небесные светила. Ведь на Луне вот прямо все до мельчайших подробностей можно рассмотреть!

— Ну уж не совсем любительская, — возражал профессор. — Она кратно сильнее трубы, скажем, Циолковского, с помощью которой Константин Эдуардович совершал свои великие открытия.

11

Было уже поздно, но энергия общения этих, казалось бы на первый взгляд, таких разных людей не иссякала. Адам предложил попить чаю. Вероника предложила слегка отметить ее очное знакомство со своим созвездием и его звездой. Адам достал из запаса бутылочку красного вина.

— «Киндзмараули»?! — одобрительно щелкнула пальчиками Вероника. — Это достойно наших галактических открытий! — Она взяла бутылку и пробежала глазами по контрэтикетке. — Настоящее! Из винограда сорта саперави.

— Можно употреблять? — пошутил Адам.

— Необходимо! — ответила она.

Понемножку выпили, закусили шоколадом, запили чаем с ароматом бергамота и булочками с изюмом и маком.

Время — вещь относительная. Порой оно летит неудержимо, и не притормозить, порой тянется, как резина, а порой исчезает, будто его нет вовсе, оставляя только пространство и собеседника напротив.

— Адам Ремович, а вы когда-нибудь видели НЛО? — продолжила космическую тему Вероника. — Не по телевизору, а так, вживую?

Адам глотнул чаю, поставил чашку на тарелочку, задумался, как в воду погрузился. После затянувшейся паузы произнес:

— Нет, не видел. Но я общался с инопланетянином.

— С настоящим?

— Совершенно.

— Откуда он взялся?

— С созвездия Волопас. Оказывается, пришелец бывал на моих лекциях в Доме искусств, а потом мы встретились в книжном магазине. Так интересно поговорили!

«Ну и что, — подумал Адам, — что я рассказываю об Ирдене! Никакой опасности для него я тут, в нашей беседе, не чувствую». — «Несколько часов назад чувствовал, а теперь — нет?» — возразил ему внутренний голос. «А какая может исходить опасность от милой Вероники?!»

— Главное в пришельцах ведь — гуманисты они или агрессоры, — сказал Адам.

— Этот как раз гуманистом был, как я понимаю, раз вы мило поговорили...

— Гуманист, интеллектуал. Заехал к нам после посещения Южно-европейской обсерватории в чилийской пустыне Атакама. И что интересно, он рассказал, что там принимают гостей, дают время попользоваться их инструментарием. За определенную плату, конечно, и в сопровождении их сотрудника, который объясняет, помогает... Вот бы слетать туда! Телескопы у них, наверное, посильнее моего.

— Наверное уж! — улыбнулась Вероника.

Дослушав рассказ до паузы, она развила тему:

— Мы много говорим о внеземных цивилизациях. Но ведь если они в полной мере обнаружатся, то всю вашу философию надо будет перекраивать.

— Почему это? — удивился Адам. — Я никогда не исключал разумную жизнь за пределами Земли. Наоборот, говорил: по законам логики не может быть такого, что мы одиноки в мироздании со всеми его галактиками, вселенными, со всей его бесконечностью. Ты можешь представить себе бесконечность?

— Нет, не могу, — ответила Вероника и спросила: — Адам Ремович, а где сейчас ваш инопланетянин?

— В сумасшедшем доме.

— Как это? — поперхнулась гостья.

— Обыкновенно, — резюмировал профессор. — Иначе и быть не может. Вообразите, человек объявляет себя посланником планеты Тассея созвездия Волопас...

— Это, по крайней мере, может показаться странным... Если не подозрительным.

— Вот именно, — вздохнул Адам. — В палате там, кроме него, два Наполеона и один Сергей Есенин.

— С ума сойти! — всплеснула руками Вероника. — И что же дальше?

— Он успокоил меня, сказал: «Не волнуйтесь, профессор, все будет нормально, земляне не в первый раз принимают меня за чокнутого».

Вероника взглянула на часы:

— Ой, время-то у нас уже за полночь! Заговорились мы с вами, Адам Ремович. Надо такси вызвать.

— Куда уж теперь в первом часу ночи?! — И Адам предложил ей остаться. — У меня частенько гости ночуют, даже зарубежные, хотя у них и отели оплачены. Заговоришься так, а за окном уже светает. Постелю тебе в гостевой комнате, там тишь да благодать. Спокойно выспишься.

Гостевая Веронике понравилась.

— Хорошо, — сказала она. — И правда, куда теперь за тридевять земель мчаться! Только маме позвоню.

Засыпая, подумала: «Все-таки не сам же он сумасшедший».

Среди ночи Адам проснулся от непонятного шума в гостевой. Вскочил, натянул штаны, зашлепал босыми ногами по освещенному коридору. Почивальню заливал равномерный лунный свет. Оказалось, что во сне Вероника смахнула с табуретки в изголовье постели стакан с водой, который закатился куда-то под кровать. Адам подумал: «Энергия в ней круглосуточно кипит».

Но сон госты был мирен и тих, веснушки ее не стеснялись лунного взгляда, волосы разметались по подушке, слюнка блестела на краешке рта. Адам поправил было локон, как вдруг она открыла глаза.

— Адам Ремович, вы мне снитесь?

— Да, родная, — прошептал он, — спи, до рассвета еще далеко. — Перешагнул лужицу у табуретки, подошел на цыпочках к окну, задернул забытую штору и двинулся потихоньку на свет приоткрытой двери.

12

Утром Адам, по обыкновению, выбрался на балкон, огляделся — небо было ясное, светило солнце, на углу магазина с букетиком синеглазых цветов сидела старушка. Люди сновали мимо нее туда-сюда, никому цветы не нужны были.

Адам поднял лицо к утреннему небу, грудь его приняла порцию ядерного ноябрьского воздуха — впереди был новый день, новые задачи и новые подходы к ним.

Утром Вероника проснулась и не поняла сначала, где находится. Но телефонный звонок быстро вернул ее к реальности. Это была мама, она волновалась, все ли у дочери хорошо. Вероника успокаивала ее и разглядывала букетик синеглазых цветов в хрустальной вазе на табурете у изголовья постели.

Пили чай за тем же большим столом, покрытым старинной скатертью с бахромой, в зале с картинами на стенах, с большим глобусом рядом на высокой тумбе. Посреди стола красовались васильки в хрустальной вазе.

— Откуда они среди ноября? — удивлялась Вероника.

— Места знать надо, — усмехался Адам.

— Нет, серьезно?

— Это же декоративные, не полевые. Растут в тепле под крышей, — говорил он и думал: «И в самом деле, откуда у старушки васильки поздней осенью, неужто сама выращивает? Не догадался спросить, голова садовая».

Веронике в этой квартире по-прежнему все было интересно, и она продолжала любопытствовать.

— А на пианино играете? — кивнула на старинное фортепьяно с бронзовыми подсвечниками.

— Нет, отец играл и дед до него. — Адам обернулся к инструменту, провел ладонью по его крышке, будто погладил. — А теперь супруга моего друга музицирует. Она профессиональная пианистка. Как коснется клавиш, так себя забываю — кто я, где я, сколько мне лет и будто мама рядом, она ведь хорошо пела.

Гостья внимательно слушала. Умение слушать — большое достоинство человека. Адам ценил это качество. Слушать, слышать — значит проявлять интерес к сказанному, к теме, к самому собеседнику и его личности. Можно с чем-то не соглашаться, но необязательно перебивать, можно просто принимать услышанное как информацию, как новое знание, если, конечно, это достойно того. В данный момент не о пианино речь, а вообще — об общении молодой переводчицы, соучастницы научной книги с ее автором, доктором наук, ученым, признанным далеко за пределами страны. Разговор их порой скакал с одного на другое, менял направления, перемешивал высокое с обыденным, но тем не менее оставался на одной океанской волне.

В свою очередь и Адам умел слушать, вникать в услышанное и проникаться услышанным.

— Кем я хочу в итоге стать, я и сама не знаю, — отвечала на вопрос профессора Вероника. — Мне и языки интересны, люблю переводить с одного на другой и обратно, сопоставлять их — здесь вот этот сильнее, а тут точнее и образнее тот. А иногда знания языков мне мало, мне хочется использовать их как инструменты для создания чего-то нового, иных, неведомых смыслов или, напротив, взять нечто из живой природы — людей, их мысли, поступки — и перенести все письменными значками на бумагу. И чтобы бумажное потом было живее живого.

— Но это уже, как я понимаю, литературное творчество, — заметил Адам.

— Или журналистика, — добавила Вероника.

— Понятно, моя гостья ведь на журналистике преподает.

— Не только из-за этого. Дать человеку вторую жизнь, запечатлеть его на века — это же здорово!

— Безусловно, — ответил Адам и подумал, что его единственный друг Марат всегда прав — материал для будущего очерка в «Научном обозрении» собирается полным ходом. А что в этом плохого?! Это тоже метод, сам же он отказывает журналистам в интервью, в беседах и прочих видах передачи информации о себе... Пусть все и обижаются, но Вероника с некоторых пор была для него уже не «все». Он как-то по-другому, не как обычно посмотрел на Веронику и впервые, наверное, разглядел, кроме веснушек и рыжих, вьющихся волос, закинутых густой копной назад, за спину, ее большие серо-голубые глаза под высокими, писаными бровями, стрелы ресниц, направленных в него, влажный рот, с которым не раз соприкасался...

Тем временем она наливала себе из фарфорового чайника вторую чашку чая, и его взгляд этот будто встревожил ее.

— Что-нибудь не так, Адам Ремович?

— Да нет, Вероника, все нормально.

Она легким движением поправила и так хорошо уложенные волосы и улыбнулась:

— Адам Ремович, а я вас во сне видела!

— Пристойно?

— Вполне! Вы надо мной склонились и убаюкивали: «Спи, спи, до рассвета еще далеко».

— Интере-е-сно, — только и произнес ночной бродяга. — А вообще-то, — заметил он, — увидеть сон на новом месте — к новым открытиям и путешествиям.

Утренний чай не вечерний. Он более динамичен, более отягощен предстоящим днем. Обоим надо было в университет. И уже в коридоре, одеваясь, она спросила:

— Адам Ремович, а у вас раньше была кто-нибудь?

— В смысле?

— Ну, в смысле, девушка какая-либо? — Про жену она не спрашивала, поскольку весь университет знал, что он не был никогда женат. Но девушка-то в молодости, в юности могла быть?

— Нет, не было.

— Как так?

— У меня были другие жизненные установки.

— И не любили никого?

— Любил... Маму, бабушку, учительницу математики в школе...

— Ее предмет, скорей всего.

Адам задумался...

— Я нередко ее вспоминаю. И как женщину все-таки тоже. Впрочем, не знаю. Возможно, она просто олицетворяла собой мой любимый предмет.

Они как-то забылись за неожиданным поворотом разговора — так и переминались одетые в коридоре, пока входная дверь не распахнулась и на пороге не возникла женщина, но не из тех, кого имела в виду Вероника.

Это была тетя Поля, ангел-хранитель Адама, с большими пакетами в руках, из которых торчали стрелы лука, пучки зелени...

Адам тепло познакомил женщин. Тетя Поля, несмотря на свою приветливую улыбку, одарила Веронику подозрительным взглядом.

В университет парочка пришла вместе, и толки-пересуды потекли ручейками по коридорам и аудиториям вуза.

13

Солнечный ноябрь сменился снежным декабрем. Несмотря на то, что небо затянуло серой пеленой, все вокруг побелело от первого снега, посветлело, вроде даже потеплело, и Адам спускался из своей обители на улицу без шапки, в легком демисезонном пальто — до университета, как известно, было два шага.

Жизнь текла своим чередом: лекции, конференции, уединенный научный труд, который я имел наглость нарушать, да еще дергала его Северская на разные, сводящие с пути истинного отвлечения: то в музей на какую-то залетную изовыставку, то на прогулку в городской парк. А ведь Адам начал работу над рукописью новой книги, о которой говорил он, что это будет бомба...

— ...В астрологии — подхватывал я.

— В астрофилософии, — поправлял он меня.

Однажды мы с его пассией все-таки встретились. Ничего особенного — рыжая, вся в крапинках веснушек... Дело было вечером, я без предупреждения пришел к нему, а они...

А они смакуют вино и играют в карты. Он радостно пригласил присоединиться, и я, взяв из буфета бокал, присел к картежникам.

Хорошо, пусть симпатичная, пусть умная — допускаю. Однако же ему нельзяшний раз прерывать работу над новой книгой. Он сам говорил, что прерывания чреватые потерей нити научного повествования.

Когда она уехала на такси, я сказал ему, поцокав ногтем по бокалу:

— Что-то ты стал частенько прикладываться. То в кафешке с ней, то тут... Она просто-напросто спаивает тебя. — На правах друга и персонального завхоза я позволял себе тон старшего в нашей связке, тем более что и на самом деле был старше его на полгода. — Тебе же еще до глубокой ночи работать!

А он усмехался лишь:

— А с тобой можно?

— Со мной другое дело.

И уже серьезно:

— Ты же знаешь, я всего с наперсток потребляю.

И впрямь, пьяным и даже чуть навеселе я ни разу его не видел. Или ревность во мне закипала, или протест поднимался, нежелание что-либо менять в наших вековых жизненных устоях? Но остановиться уже не мог:

— Совсем голову потерял с этой Северной! Влюбился, что ли, Ремыч, на старости лет, изменил своим правилам? А то у философа якобы один путь — к самому себе, но ни в коем случае не к алтарю инстинктов!

— При чем тут это? — разводил он руками. — Просто у меня появился еще один друг. Я дружу с ней, у нас, несмотря на разность в возрасте, немало общих интересов, мы понимаем друг друга с полуслова. Она близка мне...

— Вот-вот!

— По духу, по мировоззрению... — пояснял он.

— То-то в университете сплетен про вас выше крыши! — восклицал я в сердцах.

Адам мог на меня и обидеться. Согласен, я был не совсем сдержан, но, с другой стороны, кто как не настоящий друг предупредит друга о возможных опасностях, тающихся в симпатичных и нередко умных индивидах прекрасной половины социума.

Я стал пересекаться с ней в университете, мы стали здороваться, а нередко и разговаривать. Однажды я встретил ее под ручку с парнем. Она познакомила нас. Это был хоккеист Константин Дворов, о котором после посещения Ледового дворца рассказывал мне Адам.

Я не стал тревожить друга, не стал перебивать его восхождение на научный Эверест какими-то несущественными мелочами из жизни низины, подножия великой горы, тем более что под руку с ней и его самого видел у нашего озера недалеко от «Уточки». Вот невидаль, казалось бы, когда один человек за другого держится. Не буду забегать вперед, но мне вскоре пришлось пожалеть, что я не рассказал другу о встрече с Северной и Дворовым, что недооценил эпизод с ними.

После ее ухода мы еще долго сидели в тот вечер, обсуждали и бытовые проблемы, коих в старом доме не перечсть. Я все записывал, запоминал. Кроме всего прочего, не забывалась еще одна проблема — второй «новый друг» Адама. Я спросил, уже прощаясь:

— А как твой марсианин поживает?

— Он не марсианин, а посланник планеты Тассея, — ответил Ремыч. — Намедни я еще раз посетил его, передал гостинцев, поговорили.

— И что он?

— Собирается уходить оттуда.

Я не стал допытываться, каким образом. Все они — наполеоны, рамзесы, инопланетяне — уходят из желтого дома одинаково... По-английски, не прощаясь.

14

Волна сплетен в университете нарастала. Находились коллеги, которые о взаимоотношениях Кисина с Северной интересовались не только у меня, но и у самого про-

фессора. Моего друга, естественно, возмущали бестактные вопросы, и он отвечал вопросом на вопрос: «Знать это — жизненная необходимость для вас?» — или восклицал в ответ: «Третий!» Его не понимали: «В каком смысле „третий“?» Он объяснял: «Вы третий сегодня, кто об этом спрашивает».

Тем не менее жизнь продолжалась. Им было интересно быть вместе. Разговоры их не истощались. Она спрашивала:

— Вы говорили, что наш Млечный Путь должен столкнуться с туманностью Андромеды, и что тогда будет?

— А ничего. Они пройдут сквозь взаимные скопления звезд и захотят разлететься в разные стороны, но у них образуются хвосты, за которые они будут притянуты обратно в объятия друг друга. И во Вселенной образуется новое созвездие.

— Достойно повести Шекспира! — восклицала Вероника. Порой при необыкновенных для нее новостях она нет-нет да и доставала блокнот с ручкой со словами: «Память хорошо, а записать не грех».

Во второй половине декабря резко похолодало. Люди в срочном порядке побежали на лыжах, встали на коньки, и Вероника тогда совершила феноменальное: вытащила нашего домоседа на лыжную прогулку в лес, что в нескольких километрах от города. Доехали на маршрутке, взяли на базе лыжи напрокат, покатали по лыжне. Она впереди, он за ней. Она в спортивном костюме, в пуховике и шапочке с пампушкой, он — в свитере крупной вязки, цивильном пиджаке и шапке-ушанке с бантиком завязочек в заключение общего вида.

Когда спускались с горки, Адам упал и сломал лыжу.

Когда вечером он поведал мне об этом, я сказал:

— Хорошо, что не ногу.

И все равно спортивная вылазка ему понравилась.

— Мороз и солнце, хруст миллионов снежных созвездий под ногами!.. — Ему больше запомнился обратный путь по сугробам вдоль лыжни. — В холод каждый молод, я лет на двадцать помолодел! Правда, чуть пальцы в своих перчатках не отморозил, — делился он впечатлениями.

В другой раз они пошли на оперу «Евгений Онегин». В театре он не был со времен своего отрочества, когда с мамой, большой любительницей оперы, побывал почти на всех местных постановках. Он любил ходить в театр, это бывало праздником для него. Юнец с головой окунался в события, происходившие на сцене, переживал за Ленского, за Дездемону, радовался за Иоланту... Ему и балет нравился, где также шла постоянная борьба добра со злом и справедливость не всегда торжествовала.

Театр наш прекрасен как по содержанию, так и по внешнему виду. На подходе к нему с весны до поздней осени бьет жемчужный фонтан, сразу за водной феерией встречает тебя строй молодых — восемь классических колонн по главному фасаду. Над колоннами треугольный фронтон, украшенный горельефами муз различных искусств, а выше всех, а венчает все сооружение мифологическая скульптура богини театра Мельпомены с лирой в одной руке и вознесенным к небу венком в другой. Что касается интерьера — фойе, мраморных лестниц, залов и в золоте, хрустале и бархате главного зрительного зала, то ограничусь некогда услышанным определением: «Все здесь, в храме нашем, шик, блеск и красота!»

Места их были в первом ряду. Это понравилось Адаму, поскольку в те далекие отроческие времена любил он до начала спектакля наблюдать за происходящим в оркестровой яме. Там, под авансценой с суфлерской ракушкой, под неподвижным занавесом, жизнь уже давно кипела: распевалась флейта, пробовало ноту фортепьяно, трогал струну смычок первой скрипки — самой, как обычно, красивой оркестрантки.

«Онегина» Адам любил. Во-первых, он знал поэму наизусть, во-вторых, частенько слушал арии из оперы дома в различных вариациях из разных источников «звучковых волн», в-третьих и в главном, это произведение Петра Ильича Чайковского, как и другие его вещи, возвращали его в беспечальное, солнечное детство и первые годы юности, когда все были живы-здоровы и все искренне любили друг друга.

Поэтому можно понять состояние моего товарища в первом ряду оперного театра, когда роман в стихах зазвучал в лицах. Он слушал с замиранием сердца, повторяя за певцами некоторые фразы, а то и опережая их, беззвучно, одними немymi губами. Вероника поглядывала на него, и когда потекли такие близкие, такие понятные строки из письма Татьяны к Онегину:

Когда б надежду я имела
Хоть редко, хоть в неделю раз
В деревне нашей видеть вас,
Чтоб только слышать ваши речи,
Вам слово молвить, и потом
Все думать, думать об одном
И день и ночь до новой встречи.
Но, говорят, вы нелюдим...

...И когда зазвучали эти слова, Вероника положила свою руку на его руку, сжимавшую подлокотник кресла. Он, кажется, и не заметил.

На обратном пути обсуждали поэзию и музыку «Евгения Онегина». Зашли в ресторанчик перекусить, но не в «Уточку», а в тот, что прямо напротив театра.

Вероника удивлялась письму Татьяны с объяснением в любви к Онегину, говорила, что ей непонятно, как можно написать такие признания едва знакомому человеку. Как это: «Судьбу мою отныне я тебе вручаю, перед тобою слезы лью...»? К тому же это письмо — целая поэма, и весьма противоречивая. Татьяна уже к концу послания сомневается и ожидает со стороны Евгения «заслуженного укора». Зачем тогда так безоглядно доверяться и душу изливать? Я просто сомневаюсь в реалистичности поступка — Пушкин тут дал полную волю своему поэтическому, точнее, романтическому воображению.

Адам отвечал, как всегда, обстоятельно, будто лекцию читал:

— Так случается, когда сердце побеждает мозг, когда чувства берут верх над разумом. Однако не надо забывать, что Александр Сергеевич прежде всего поэт и создавал поэтическое произведение. И чтобы оно было выразительнее, приходится поэту гиперболизировать чувства, события, повышать градус переживания своих героев. — Профессор прервался на мгновение. — И потом, надо принимать условности поэзии. Вот ты не веришь в какие-то сцены, а можешь поверить, что людям привычно разговаривать в рифму? И письмо Татьяны в рифму написано, и ответное письмо так же. В первую очередь тогда надо было заявить, что это неестественно, так не пишут письма нормальные люди и так не разговаривают. Но согласившись с условностями жанра, приняв мир художественного вымысла, все для нас вдруг становится жизненным, все начинает приниматься близко к сердцу. Как там у него: «Над вымыслом слезами обольюсь»? В том и сила поэзии. Или вот, скажем, условности оперы или балета... Никто же в действительности не разговаривает нараспев и на носочках не ходит.

— Поверил алгеброй гармонию, Адам Ремович! — резюмировала Вероника. — Но мне больше по душе Ленский, а не этот холодный и чопорный Евгеша. Лучше бы Пушкин не убивал своего коллегу посреди романа. Жестоко как-то. Или это предчув-

ствие своей судьбы? Кстати, вспомнилось мне, что Владимир Ленский был и вашего поля ягода.

Красавец, в полном цвете лет,
Поклонник Канта и поэт...

Помните?

— Конечно, и наизусть. Хотя я и не Гроссман, но смею заверить: Канта Пушкин по делу ввернул, Ленский-то в свою деревню из Германии туманной вернулся, где, значит, и познакомился с трудами философа, откуда и привез «учености плоды» и «вольнoлюбивые мечты»...

Как-то после лекций встретил Северскую и разговорился с ней. Она сказала, что знакомство с Киссином дает ей очень много, и предположила, что год неформального общения с профессором равно, наверное, пяти годам обучения в ином престижном вузе, если не больше.

Северская была умной дамой и, уловив мою озабоченность или вспомнив будораживший университетскую публику нездоровый интерес к ней с профессором, сказала на опережение:

— Нет, ничего такого между нами не было. Мы как два ангела, просто он из разряда херувимов, самых близких к Богу, а я из рядовых. Не знаю, что буду без него делать? Я не придал этому вопросу внимания. А надо было.

15

Новый год, как известно, семейный праздник. Встречали его каждый у себя. Я со своей семьей, Вероника со своей мамой, Адам — со своей персоной, один на один, как и положено подлинному философу. Я приглашал его, заманивал гусем, жаренным в яблоках, фортепианной музыкой, но бесполезно, он остался у себя дома, утверждая, что это имеет тройную выгоду: во-первых, не вставать на ходули благовидности, во-вторых, не лицеизреть других на таких же ходулях и, наконец, остаться с самим собою наедине, ибо только одиночество предоставляет человеку полную свободу.

— Какие ходули, друг мой ситный, какая благовидность между нами с тобой! — отругал я его. — Может быть, это вы с Северской встаете на них, когда встречаетесь?

Адам промолчал. Была у него такая привычка — не отвечать на несообразные, по его мнению, вопросы.

До этого, неделей ранее, мы решили отметить у него дома, как повелось у нас с незапамятных времен, день декабристского выступления 1825 года на Сенатской площади Санкт-Петербурга. Читали стихи Пушкина, Рылеева, Дельвига, Кюхельбекера, выдержки из Чаадаева...

— Принятие конституции, отмена крепостного права, выборное правление, свобода, равенство на их знамени, разве это плохо? — вопрошал Адам.

Что интересно, я жил в нашем городе как раз на улице Декабристов и испытывал чувство гордости, когда отмечал свой домашний адрес в различных бланках или записывал на почтовом конверте. Разве сравнишь название моей улицы с какой-нибудь Газовой, Арматурной или Второй Тупиковой?!

Я еще в тот упомянутый декабрьский день позвал его на Новый год, а когда он отказался, спросил:

— А Северскую уж, наверно, пригласил?
— Нет, — ответил он. — Вероника с мамой останется.
— Может, она к себе пригласила?
— С какой стати? Я что, жених, что ли?
— Почему бы и не стать им? — то ли всерьез, то ли в шутку произнес я.
— А что, нельзя вот общаться с человеком без этого... — Адам запнулся и не сразу ответил: — Без жениховства.

— Пожалуйста, но появится другой жених и уведет ее. И останешься у разбитого корыта.

— Почему? Разве наши отношения изменятся?

— Их у вас вообще не станет, не будет их больше, они испарятся. Таков закон природы. Инстинкт выше разума, сам же проповедовал. Сильный, волевой, решительный всегда возьмет верх над разумным, образованным, интеллигентным. Никуда не денешься! Глупый, невоспитанный, но, ядрена мать, крепкий мужик затмит в глазах женщины любого интеллектуала. Не просто затмит, а выкинет его за орбиту всяческого общения со своей избранницей. А если он еще и богат?!

Адам не перебивал, лишь моргал учащенно.

Я не гнал лошадей, но и не сворачивал:

— Не спорю, ты свято придерживался своей теории уединения, долго, терпеливо... Однако жизнь шире любых идей. Ты ведь любишь ее, я не слепой. И она к тебе неравнодушна. Так в чем же дело? Беги к ней скорее, предлагай руку и сердце, не ошибешься.

— Но я не создан для семейной жизни, — бурчал он. — Да еще старше ее более чем на двадцать лет.

— Такие браки бывают наиболее крепкими, а дети от них — даровитыми, — наседал я.

— Вот уж загнул!

— Ничего не загнул, примеров предостаточно.

Я понимал, на такие поступки не решаются по щелчку пальцев. Особенно у таких люди, как Адам Киссин. Волевой, энергичный, дерзкий в науке, он в обыденности был каким-то тормознутым. И ничего тут, в принципе, удивительного. Закон возмещения в действии: если ты в чем-то одном преуспел, то в другом окажешься хромым, то есть, по образцу Адама Ремовича, холостым, одиноким, бездетным.

Интересное слово «холостой». Это когда пред тобой прекрасный боец, стрелок, но боевые патроны он запрятал куда-то, а винтовка его начинена холостым зарядом... Так, что ли? Не знаю.

Однако давайте благосклонней отнесемся к моему другу. Он выбрал свой путь и прилежно следует им. Да, он, быть может, не от мира сего, не ходит строем под марши общего миропорядка, но таких добронравных, честных и, возможно, чересчур правильных людей я в своей жизни больше не встречал.

Помнится, я спросил его в тот декабрьский день:

— Адам, если б Боже Всемилостивый предоставил тебе возможность исполнить заветные мечтания из самого заоблачного, просто фантастического, что бы пожелал?

Он задумался, но ненадолго:

— Хотел бы подняться на Эверест. По всем правилам, через все трудности восхождения, а не как лягушка-путешественница. Хотел бы взглянуть на нашу родную планету из иллюминатора космического корабля, увидеть ее со всеми морями-океанами, горными хребтами, лесами, пустынями, городами или пусть и маленькой звездочкой далеко в небе. А еще хотел бы, чтобы на Землю опустился вечный мир и все люди на свете были счастливы.

— А я думал, скажешь: «Чтоб мир и счастье были вечно у вас с Вероникой».

— Что-то тебя сегодня заело на одно и то же. Смени пластинку. Может, забыл, зачем «все мы здесь сегодня собрались»?

— «Мой друг, отчизне посвятим души прекрасные порывы!» — воскликнул я из посвящения «нашего всего» Чаадаеву.

Мы сели за стол, который по праздникам накрывался старинной скатертью с вышивкой по краям и бахромой. На ней ласкали взгляд всякие вкусняшки собственного приготовления во главе с хрустальным графином, который он зажег рубиновым огнем из своей коллекционной кладовой.

— Ergo bibamus!³

— За свободу, равенство и братство! — сменил я окончательно пластинку.

И мы встали и сдвинули бокалы разом за героев далекого декабря.

16

К концу года на город пали большие снега. Сугробы поднялись выше человеческого роста. «Как в детстве!» — восхищался Адам, оглядывая зимнее роскошество. Ребятишки лепили снежных баб, строили неприступные крепости, автомобилисты ругались, откапывая своих верных коней.

Новый год Адам встречал, как нередко, один на один с самим собой. Первой с наступающим его поздравила Вероника. Она нашла особо теплые и душевные слова, которые тронули душу профессора, и он подумал: насколько она все-таки знает, чем он живет! Поздравления в тот вечер сыпались наперебой. Даже инопланетянин уму-дрился поздравить. Я еле-еле вклинился между звонками и повторил приглашение:

— Может, сподобишься, закажешь такси и — к нам, на гуся лапчатого?

Он отказался, затем они с моей женой обоюдно поздравились, и ее приглашение оказалось тоже безуспешным.

— Ладно, — сказала она, — встретимся в молодом году.

Под кремлевские куранты Адам звонко чокнулся с фужером, отраженным в напольном, дедовском зеркале, слегка перекусил и пошел к себе в кабинет работать.

Так буднично и в то же время плодотворно жизнь моего друга переключалась из одного года в другой. Утром я долго не мог дозвониться до него, пока, обеспокоенный, не нагрянул к нему с большой сумкой гостинцев. Оказывается, он отсыпался после новогодней вахты, которая длилась почти до самого утра.

— У меня была прорывная ночь, — сообщил он. — Я чуток застопорился на излете прошедшего года, а вот теперь, в новом, все пошло-поехало.

Я знал, что Адам начал новый труд. Он даже знакомил меня с отдельными частями и теперь хотел что-то показать, но я перебил его вопросом:

— Вероника-то звонила?

— Да, — ответил он, — вчера поздравила с наступающим.

— А сегодня?

— Сегодня — нет.

После этого он все-таки затащил меня в свой кабинет и стал зачитывать кусками свою прорывную идею. Мы общались с ним, пока за окном не замерцали сумерки и он не включил свет.

На его телефоне заиграл «Одинокий пастух».

— Это Вероника, — сообщил он.

³ Итак, выпьем (*лат.*).

Я наблюдал со стороны, как его радостное лицо недоуменно вытягивалось. Это был какой-то односторонний монолог с ее стороны. Он слушал молча, что-то пытался сказать, но не сказал и вышел из кабинета, не отрывая телефон от уха.

Разговаривали они долго.

— Что случилось? — спросил я после.

— Она уезжает, — произнес он потухшим голосом.

— Куда? — остолбенел я.

— В Канаду со своим Костиком.

— С какой стати?

— Его пригласили играть в НХЛ, — проскрипел он и уже отчетливо пояснил: — За «Toronto Maple Leafs».

— За «Кленовые листья Торонто»? Но у него действующий контракт с нашим клубом.

— Его еще в восемнадцать лет, оказывается, задрафтовали. Но по договоренности он оставался у нас.

— И его отпустили? — удивился я.

— Не препятствовали, — ответил он, подняв голову. — Даже бурные проводы устроили.

— А Вероника в качестве невесты?

— Нет, в качестве переводчицы.

— Ну да, он же по-англицки не копенгаген. — Хоккей и внутреннюю жизнь лиги я-то знал получше Адама. — Непонятно только — в Канаде переводчики перевелись?

— Этого я уж не знаю, — развел он руками.

— И как все оформить удалось? — не переставал я удивляться. — Впрочем, при желании у нас и не такое возможно.

Мне казалось, она все же в качестве невесты отправилась. Но говорить этого не стал. И без того на Адаме лица не было.

Он опустил в кресло, глубоко замолчал, взявшись за виски. Потом будто черту подвел под всей своей жизнью:

Опущен занавес...

Спектакль закончен...

И роль твоя отыграна

На «бис»...

И опять онемел.

Я тихой сапой стал проталкивать какие-то осторожные мысли, нельзя было молчать вместе с ним:

— В теоретической философии доказывается, что нет на свете ни начала, ни конца. Ничто не берется из ничего и не превращается в ничто. За каждым концом следует начало чего-то нового. — Я втюхивал ему то, что он лучше меня знал. — И спектакль твой не закончен, просто надо вернуться к прежнему репертуару. Забыл о своих прорывных рукописях в кабинете? Они там не знают, что делать без тебя.

Он не отвечал на мои увещевания.

Я не выдержал и выругался трехэтажной obscenной лексикой и спросил ехидным голосом:

— А не могла она все это сказать тебе в глаза, не по телефону?! Ведь и не вчера все это стало известно. Сколько она морочила тебе голову, пудрила мозги и терзала сердце?! Какая подлость и ничтожество! Все рыжие, между прочим, такие! Но все равно не предполагал подобную низость, не думал!

Хотя, между нами говоря, еще как думал! Но ничего поделать не мог. Иногда прорывались опасения, но в глубине души и надежда тлела: а вдруг мой одинокий товарищ женится наконец, займет семью, заживет нормальной жизнью. Ведь не такой уж он и старый, полтинника даже еще нет. И подталкивал ведь порой к решительным шагам — только вот не получалось. Да и не могло получиться с таким человеком, как мой идейный друг.

17

Адам изменился после того новогоднего дня, вернее, новогоднего подарочка судьбы, вернее, и не судьбы, а конкретного человека, к которому он потянулся, как к запретному плоду. Он, как известно, и так необычен был, а тут его странности утроились. Он, сводивший раньше до минимума бесполезную трату времени, отвергавший все отвлечения от главного его дела, теперь мог подолгу сидеть у озера и наблюдать за падающими снежинками, пока скирды снега не вырастали на его плечах. Он отряхивался, но не знал, что и на шапке давно сугроб, так и шел в белоснежной папахе домой.

Осложнения продолжались. Однажды по непонятным причинам доктор философии не явился на свою лекцию, а в другой раз прервал ее на полуслове и, схватив портфель, выбежал из аудитории.

Я посещал его, как обычно, но он уже обычным не был. Был молчалив, рассеян, даже неопрятен — где пробор ниточкой, где отутюженная белая рубаша? Я расспрашивал его о минувших днях, он машинально отвечал, что у него все нормально, и вкратце рассказывал, как будто отчитывался:

— После обеда читал лекцию об идеализме Платона, а до обеда посетил Ирдену, отвез ему теплых вещей.

— Как он там?

— Готовится.

— К чему?

— К возвращению на родину.

— Понятно. — Но меня больше интересовало другое: — Вероника не звонила?

— Нет.

— И не писала?

Он только развел руками.

В начале февраля Адам пропал. Сначала я названивал по телефону, потом пошел к нему домой, открыл двери своими ключами... Чисто и ни души. Я позвонил тете Полине. Она уже неделю грипповала, лежала у себя дома с высокой температурой. Я поехал в университет. У входа встретил «самого дисциплинированного студента» Тетушкина. Он сказал, что профессора Кисина не было уже на двух лекциях, заболел, что ли? Тут еще один студент, Булатов, появился и подтвердил слова однокурсника.

Это послужило поводом позвонить в полицию и сообщить о пропаже человека.

Куда он мог деться? Ближе к обеду я дошел до «Уточки». Роберт был на месте. Я поинтересовался, не заходил ли Адам к нему на огонек. Роберт сообщил, что пару дней назад профессор был у него. И вот что он рассказал:

— По обыкновению, Адам Ремович занял свое место у окна. Я спросил: «Как всегда, на двоих?» Я же знал, что Вероника приходит всегда чуть позже. Он ответил: «Да, на двоих». Пока я расставлял приборы, он достал из портфеля бандероль, распечатал конверт. Это был журнал, он раскрыл его и стал читать. Вскоре вместо Вероники при-

шел какой-то подозрительного вида, наголо постриженный, но не бритый мужчина, и они стали оживленно беседовать.

— О чем они говорили? — спросил я.

— Не расслышал, — ответил Роберт и стал объяснять, что голова его забита предсвадебными проблемами, что скоро он женится и что просто обслужить их — и то было проблемой. — Представьте себе, с заказанным на десерт мороженым я пошел к другому столику.

— Долго они были? — поинтересовался я.

— Не так долго. Ушли, не переставая разговаривать, и Адам Ремович забыл у себя на стуле тот самый журнал.

Роберт отлучился на минутку и принес его мне. Это был номер «Научного обозрения» и, конечно, с очерком о докторе Адаме Киссине. С большим его портретом под заголовком. Я не стал читать, не до этого было, распрощался с Робертом и направился в полицейский участок.

Но все бесполезно. Как в черную дыру канул мой друг. Не объявился он ни через день, ни через два, ни через неделю... Связывался я и с Южно-европейской обсерваторией, о которой Адам мечтал, и с его отцом... Да, забыл сказать, побывал, не откладывая, и в психбольнице, куда он в последнее время зачастил, спросил про «инопланетянина» по имени Ирден. Главврач сказал мне, что тот исчез.

— Он уже и до этого делал ноги, неудержимый оказался пациент. И странный какой-то, хотя у нас все странные, но этот особенно, излагал такие вещи, которые не каждый образованный человек знает, у самого ни паспорта, ни родственников... Все рассказывал о созвездии Волопас. И впрямь подумаешь, что марсианин какой-то...

Я спросил о времени, когда он сбежал. Совпало примерно с днем встречи его с Адамом в «Уточке». Расскажи кому всю историю общения ученого с посланником планеты Тассея из далекого созвездия и сделай напрашивающиеся выводы о пропаже профессора, самого в желтый дом без очереди устроят.

Прошло полгода, а его нет как нет. Что только не предполагали горожане, какие только соображения не выдвигали! И не только в кулуарах вузов и на правительственном уровне, но и широко в СМИ. В одной бумажной газете прочел: «Астрофилософ ушел в астрал», в другой, электронной: «Ученого унесло звездным ветром» — здесь обыгрывалось то, что Киссин якобы страдал звездной болезнью. Не говорю уж о простых сплетнях, где, в частности, бродили предположения, будто он уехал вместе с Северской, прикрывшись отъездом Дворова.

Прошло полгода. Лето. Ни одной дождинки за месяц. Сижу у озера, вечереет. В ясном небе зажигаются первые звезды, а я все думаю о своем друге: как так, был человек, и нет его? Не верю, не может такого быть, не укладывается в голове. Где-то он все равно есть. Я вглядываюсь в чистое, вечернее небо, в ярко проявившиеся созвездия... А может, он и в самом деле сейчас находится где-нибудь в россыпи Волос Вероники, в ее объятиях и смотрит на планету Земля, любитесь издали, как рассказывал мне когда-то о своих несбыточных мечтах. Вот и сбылись они, а?

Я тяжело встаю с лавочки и иду, уже не поднимая головы.

Владимир КОРСАК

ЧЕТЫРЕ ФЕВРАЛЬСКИХ ДНЯ 1909 ГОДА

В Себеже я стараюсь побывать хотя бы раз в полтора-два года. Такого озера нет нигде. И такой стрелы — мыса, летящего к середине озера, — тоже. А на той стреле — домики-домики, баньки, причалы, Замчище, лодочки, вокруг то гладь, то барашки. И да! Утки-лебеди-нырки, ночные крики выпи (леденящие душу!). Дороги перебегают кабаны, лисята, барсуки, говорят, и сейчас встречаются волки. Человек здесь все еще не победил и не унизил природу, они еще довольно мирно рядом живут.

Сейчас этот уголок — юг Псковщины, но сравнительно недавно, столетие назад, здесь была Витебская губерния, и смешение культур чувствовалось значительное: в городке евреи (это родина З. Гердта — он к тому же самый известный местный уроженец), синагоги, но и старейший из сохранившихся в России католических храмов. Была, конечно, и церковь, но сейчас от нее осталась только колокольня.

Кругом озера, заброшенные сейчас деревеньки, на кладбищах (а иногда кладбища уже нет, только местный краевед уверенно приведет к ему одному известному столбу ЛЭП) прямо посреди поля — на тебе: могильный камень Войно-Оранских или Буйновских. Осьмнадцатое столетие, век девятнадцатый. Здесь и Гультии — это и деревня, и знак: жители были «панцирные бояре», своеобразный аналог казачества или гайдуков.

Фундаменты мельниц, усадебных домов Державина, Фонвизина, Моллей, Вильгорских, Медунецких, Крупеничей, фон дер Роппов, Корсаков, Эрдманов... свежие могилы последних местных «могикан», Пухальских в Рукове. Латгальские городища IX—X веков, курганы неведомого народа.

Свадебные марши на одну и ту же мелодию — и в деревне Бояриново Себежского района, и в белорусских Россохах (или Освее — не так уж и важно), и в Латгалии («*Jaui marī vad*» — «Уж меня ведут», а это под венец и ведут, именно).

Вот и с юга виднеется уже силуэт поповича Яна Барщевского, собиравшего родные белорусские предания и легенды, впоследствии изданные в сборнике «Рассказы шляхтича Завальни» — своеобразном местном Миргороде, который в советское время не смог обойти вниманием «Беларусьфильм». А где-то вдалеке мелькнула бричка Александра Сергеевича — в гости ехал, да не застал хозяев, Деспот-Зеновичей.

Но все же главное сокровище региона — пуши-леса-буреломы-озера. И повсюду — сторожевые башни аистов. Городок Себеж с трех сторон окружен ими. Мы уже говорили и о старом городском центре на мысочке (увидев который зарыдает от зависти питерская Стрелка). Притом и сам городок стоит в окружении национального парка. Царство зверей и птиц. Ну и змей, конечно, — как же иначе?! Просто мирно разоидитесь с ними.

Человек, имеющий талант и страсть к литературе, просто не может не напиться, не заразиться красотой местной природы — на первый взгляд неброской, а вот на второй и третий уже далеко не так! Вот так и начал, еще совсем молодым, составлять свои охотничьи записки помещик из Аннинска Владимир Корсак. Его биографию мы приведем в следующий раз: много места в этом номере нам не отведет редакция. Никак не сможет, и в том нет ее вины.

Сохранилось несколько фотографий В. Корсака с товарищами по охоте, местными дворянами. Воображение рисует нам картину: вот стоят на тропинке с ружьями — сам Корсак, егерь Юндзилл да дед Гарасим (именно так — население смешанное, говоры переходные от белорусских к псковским), пусть даже их и нет на этих снимках. Охота и опасность, сани и болотца, кусты да притаившееся в них зверье. В зарисовках Корсака есть даже рассказы Гарасима об охоте на древних ящеров, обитателей местных болот (сейчас журналисты прямо пишут — крокодилы это были). И нетронутая природа. Она во многом и сейчас такая. Рассказы же влюбленного в родной край заядлого охотника вам наверняка понравятся. И тогда — добро пожаловать в Себеж! Хотя нет, прочтите сначала первую подготовленную нами зарисовку.

Слов недостает описать эти красоты. Да еще и дед мой из соседнего района, почти из самого Невеля.

Станислав КОЗЛОВ-СТРУТИНСКИЙ

Посвящается моему сыну Анджее

Февраль 1909 года был морозным и солнечным, таким, какой почти всегда бывает вторая половина зимы на далеком севере.

Тогда, после сдачи экзаменов за первое полугодие в академии, я приехал домой в деревню на короткий отпуск и замечательно провел время. Звездные ночи, настолько светлые от находящейся где-то вблизи своего зенита луны, что средний шрифт можно было читать с легкостью, безграничная белая тишина, прерванная только треском лопающихся на морозе стволов деревьев и далеким шумом ледяного покрова озера, который, словно протяжные вздохи огромной груди, струился из заткнутой серебряным сиянием дали.

Ранний, чистейший рассвет зажигал половину неба шафрановым, а внизу — розоватым цветом, смерзшийся в камень снег с готовностью скрипел под быстрыми шагами охотника.

Как только солнце поднималось выше, суровый ночной мороз убегал куда-то в далекие, еще объятые мраком ночи края, а на розовые груди снега проливалось тепло быстро растущего дня, с крыш и нависших на еловых лапах снежных завалов перекачивались вниз четки водных капель, сверкающих на веселом солнце, словно пестрые бриллианты. Легкие дуновения шли тогда мимолетными волнами по смеющейся в сиянии солнца земле, принося из сосновых боров сказочный смоляной дух, а с широких лозовых болот — тонкий аромат первых робко появляющихся побегов.

С наступлением сумерек, когда на лиловой линии горизонта появлялось свечение бледного лица зимней полной луны, утихали последние порывы ветра и снова всемогущая тишина, белая тишина снежной северной зимы, заключала в свои объятия всю страну, на фоне чистейшего заката, где-то за фиолетовым пространством полей, словно далекая синяя лента, ложилась на долгий ночной сон бескрайняя пуща, тянущая к себе вечной нитью тоски все мое существо, всю укрытую под оболочкой культуры природу первобытного человека.

Наутро, сразу же по прибытии, я поехал на небольших саночках, запряженных старым сивкой, и углубился в леса, заглядывая по дороге в маленькие лесные деревеньки, где у меня были знакомые друзья-охотники.

Взор мой с упоением пробегал вверх по вековым стволам старого леса, исчезающего в синем мраке, к пылающим на солнце исполинским сосновым ветвям, с вос-

торгом отдыхал на березовых рощах, затянутых розовой паутиной молодых побегов, ласкал мимоходом зеленоватые, блестящие, как атлас, стволы осин.

Сразу пополудни я заглянул в дом егеря и, не застав его дома, поехал дальше к ближайшей деревне, расположенной на обширной возвышенности среди равнины моховых болот. Зимняя дорога широкой дугой пролегла через скошенную полосу болот, окаймленных с двух сторон стеной карликовой березы и сосны, еще выше переходящей вдаль в череду сухих, поросших высоким лесом островов.

У дома егеря присоединился ко мне его песик, небольшой Пацусь, мой хороший друг, и бежал со мной до деревни, в которой бывал частым гостем.

Я сидел посередине единственного в низких саних сиденья, а верная курковая трехстволка лежала рядом со мной, и небрежно держал поводья в левой руке, одетой в меховую рукавицу.

А потом вдаль, из видимой уже на взгорке деревни раздался лай собаки, которая, похоже, заприметила приближающиеся сани, а Пацусь, бегущий за санями сзади, ответил на него веселым тьявканьем. Прошло еще несколько мгновений, и внезапно Пацусь с поджатым хвостом, совершая отчаянные прыжки в глубоком снегу, обогнал меня и, бросившись практически под лошадь, выпрыгнул обратно на проторенную дорогу. В то же время краем левого глаза я заметил какое-то движение рядом со мной и, повернув голову, встретил взглядом разогнавшуюся в погоне за псом фигуру волка. Прижав уши, зверь огромными размашистыми скачками нагонял сани и был уже шагах в пяти от меня.

Молниеносным движением я сбросил просторные рукавицы и поводья, лежащие в них, схватил ружье, одновременно взводя курок, и, сделав пол-оборота на сиденье, выстрелил с руки¹ в центр пушистого шара, который просто завился на месте, желая убежать.

Конь, слышав неожиданный выстрел, рванул было вперед, но я успел подхватить вожжи и удержал сани, которые за это время успели проехать шагов двадцать.

Когда я обернулся назад, то увидел волка, неподвижно торчащего в мягком, размокшем на солнце снегу, еще дальше, в паре сотен шагов, второго, бегущего изо всех сил и исчезающего уже между ближайшими деревцами чащи.

Через полчаса я вернулся из деревни с местным охотником, посмотрел на убитого зверя, который оказался красивой большой волчицей с широкой черной полосой вдоль спины и невероятно пушистым мехом, и отвез ее в сторожку, чтобы снять шкуру.

По первым сумеркам, как только затвердевший на сильном морозе снег был способен удержать человека, я пошел осмотреть тропу, откуда эти волки так неожиданно на меня напали. Я нашел два логова в 300—400 шагах от дороги в небольших заболоченных зарослях ельника. Звери, видно оголодавшие, спали чутко, и их внимание не обошло собачьего лая на дороге. Желая поживиться легкой, как им казалось, добычей, они пошли размашистыми прыжками прямо от лежища на собачий лай, а поскольку я отъехал за это время на несколько десятков шагов, они догоняли меня сзади. Я же не мог услышать скрип снега, прыжки в мягком снегу: их скрадывали топот коня по затвердевшей дороге да свист скользящих полозьев.

Следующим утром, двигаясь дальше, я посетил деревеньку Козлово, где жил хороший мой приятель и частый спутник в дикой охоте Спиридон.

Гоняя чаи в просторной избе с низким, закопченным до цвета красного дерева потолком, мы говорили обо всем и ни о чем. Спиридон рассказывал об осенней охоте на беляков и рябчиков, о подъезде на тетеревов, который можно было совершить в пер-

¹ То есть не целясь.

вые две недели зимы, пока выпавшие снега не так глубоки, чтобы проезда без дороги не было.

— Но знаешь, паночек, что, — сказал наконец Спиридон, — ведь медведя крестьяне из берлоги выгнали около Студенца сразу после Нового года.

И прошел он где-то через максютинские боры, на торопецкой границе², а там снова слышал я, аж из Речек Борис мне говорил, что лег он снова на мшаре возле Речек, там, где мох не замерзает и не всегда можно пройти. Они обходили ее вокруг и якобы следов нигде не было, но тогда же выпал снег — потому и не нашли.

Эта новость моментально взбудоражила меня. Бориса из Речек я знал, хотя деревня эта была в 60 верстах от нас, затерянная в глуби леса, и я знал, что старый охотник слов на ветер бросать не любил.

— Ну, Спиридон, едем в Речки, будем медведя искать, — воскликнул я.

— Так что ж, можно, — ответил он, — работы сейчас нет, поедем.

Часом позже мы выехали. Переезжая железнодорожный путь у станции Пустошка³, я купил мешок овса для своего сивки, и поздно ночью мы добрались до Речек, находящихся уже в Псковской губернии.

Старый Борис подтвердил известия, переданные мне Спиридоном. След медведя видел сам, он вел на моховое болото, лежащее вокруг Белого озера, и не выходил оттуда. Болото не очень велико — 3 версты ширины на 4 длины, то есть около 1000 десятин, но малодоступно в середине зимы, не замерзающее на многочисленных болотцах, разделяющих рассыпанные вокруг озера сухие заросшие островки.

— Цяпер яго, панич, не найдзеш, — закончил свой рассказ Борис.

Какая-то интуиция подсказала мне, однако, испытать удачу. Я надеялся согнать зверя и выследить до места, где он ляжет снова. Борис, простуженный и кашляющий, остался дома, а мы с верным Спиридоном наутро следующего дня выехали на белозерский мох.

Мороз был сильнейший и держался целый день, так что хождение по замерзшей снежной корке было идеальным, а лыжи, предложенные мне стариком, были совершенно не нужны.

Весь день, чудесный безветренный, тихий день прошел в скитаниях по заснеженным лесным просторам, где мы выбирали наиболее твердые участки, избегая открытых болот, на которых зверь не мог остановиться.

За короткий день в конце концов мы исследовали таким способом весь южный берег озера и часть западных островов.

Вновь переночевав у Бориса, мы выехали за час до восхода солнца. Это было 12 февраля по старому стилю. Несравненная красота того зимнего рассвета, имеющего в себе уже нечто от красок и очарования ранней весны, навсегда останется в моей памяти.

Дым печных труб заиндевелой деревни врезался в еще темную голубизну неба, застыв, как неподвижные столбы в застеклевшем воздухе, настолько прозрачном и звонком, как никогда в другое время дня и года.

Скрип двери какой-то из отдаленных хат настиг нас уже в лесу — как если бы мы стояли рядом, а поскрипывание снега где-то на деревенской улице слышно было дальше километра. Дивная утренняя заря разгоралась все более яркими красками,

² Территориально это невозможно. Торопецкий уезд значительно восточнее. Возможно, подразумевался Опочечский уезд, однако в тексте оригинала указан Торопецкий.

³ Сомнительно, чтобы они ехали через Пустошку — это огромный крюк на много километров. Возможно, речь все же об Идрице. В тексте оригинала — Пустошка.

пока верхушки деревьев наполнились розовым светом, засмеялись взмывающие вверх колонны сосен, засияли зеленым золотом рваные верхушки елей.

Мы прошли напрямик к озеру, по его гладкой поверхности переправились на противоположный восточный берег и углубились в лабиринт зарослей тростника и сухих островков, покрытых огромными елями и причудливым буреломом.

Мы обнаружили, что на этой местности намного сложнее ориентироваться, нежели в местах, где ходили в предыдущий день. Верное солнце в самом деле непрерывно указывало стороны света, но неразбериха зарослей делала невозможным определение, где мы были, а где — нет.

Я начал терять надежду найти берлогу. Наступил полдень, снег в теплых лучах уже отступал местами, что сильно осложняло ходьбу, кое-где нам даже пришлось прокладывать дороги, чтобы миновать болотце, дымящееся прозрачным туманом. После небольшого отдыха мы снова пошли дальше.

— Ну, до вечера походим, и будет достаточно, — сказал я, — возвращаемся.

— И верно, — ответил Спиридон, — черт его тут найдешь на таком паскудном болоте.

Но момент все же настал...

Мы просто шли между двумя островами, поросшими сухим чистым бором. Болото не было плотным и в основном заросло березками и редкими соснами, так что видно было достаточно далеко. Солнце, уже низко нависшее над горизонтом, было прямо напротив нас, проглядывающее через верхушки елей на твердом острове, к которому мы направили свои шаги.

В какой-то миг я заметил испарение над болотом перед собой. Не было видно ни обычного тумана, ни серого, словно дыма, но в лучах солнца ветер вибрировал и колебался наподобие того, что мы видим по весне или после дождя над парящими полями, когда движение дрожащего ветра заслоняет и изменяет форму предметов.

Я шикнул на Спиридона, а когда на мой знак он тихо подошел ко мне, я указал ему на странное явление.

— Туман с болота, — ответил мой товарищ.

— Нет, — прошептал я в ответ, — это не может быть с болота, здесь все замерзло, ручья или источника нет, это зверь лежит, и от него парит на морозе. Так, Спиридон, ты пойдешь по правой стороне, берегом острова, до тех высоких елей, а я по левой, и встанем напротив, а потом просто пойдешь на меня через этот туман.

Так мы и сделали. Ступая как можно осторожнее, взяли подозрительное место будто бы в клещи. Когда предполагаемое место лежки, которое теперь не было видно, оказалось напротив указанных Спиридону елей, я остановился и еще раз проверил патроны в трехстволке, взвел курки и стал ждать.

Не прошло и десяти минут, как внезапно прозвучал пронзительный, звонкий от нахлынувших чувств крик Спиридона:

— Смотри! Пошел! Пошел!

Я бросился на снег за большой кучей мха, которая была передо мной, поскольку боялся стоять на относительно открытом месте, и замер в ожидании. Сердце молотком стучало в груди, ком подступал к горлу. Высокий воротник сжимал и сдавливал шею, и зеленые искры кружили перед глазами...

Еще мгновение, и напряженный слух уловил треск и скрип снега — это стремительно уходил зверь. Было слышно, что он где-то все ближе и ближе, может быть, даже миновал уже меня, где-то слева.

Я вскинул ружье, вскочил на ноги и в этот самый момент увидел медведя, размашисто идущего между кочек шагах в пятнадцать от меня.

Лопатки под шкурой бешено работали. Зверь заметил мое движение, повернул голову и прижав уши, еще прибавил ходу, и попал прямо в прицел, сквозь который я видел шею бурого. Прозвучал выстрел, и зверь, раненный на бегу в самую лопатку, в тот же миг кувыркнулся зайцем, упал навзничь, ревя и взбивая снег лапами.

Я, держа палец на крючке, подошел ближе. Движения зверя замирали. Косолапый угасал. Из открытой пасти, окрашивая белизну снега, струилась сукровица, окрашивая белизну снега. Наконец он застыл неподвижно. Подбежал Спиридон, и мы перевернули добычу на спину, а затем на живот, чтобы осмотреть ранение и мех. Медведь не был большим, к тому же был истощенным от прежних скитаний настолько, что вес не превышал каких-то 120 килограмм.

Солнце уже село, когда мы привязали добычу к березовой жерди, взяли ее на плечи и след в след пошли обратно к деревне по окаменевшей снежной поверхности. Дорога была тяжелой, но радостной. Поздние сумерки покрыли свет сапфировой вуалью, а тоскливый румяный закат бросал фиолетовые отблески на заснеженную поверхность озера, которую мы пересекали наискось. Все больше серебряных вспышек загоралось в бездонной пропасти неба, словно какой-то невидимый ризничий зажигал свет на огромном алтаре темнеющего костела, и одна свеча за другой бросала в темноту свое мерцающее приветствие.

А затем, когда мы уже вышли из леса, месяц взвился над синеющими за болотами лесами, уже срезанный с одной стороны, розово-желтый и вместе с тем белый, стремительно поднимался вверх, заливая бледно-зеленым светом далекие обманчивые ночные тени.

После тяжелых двухдневных трудов, увенчавшихся прекрасным результатом, нас манила роскошным отдыхом широкая лавка под образами в углу хаты, соблазнительный запах кислых щей щекотал нёбо, а высоко постеленные белые подушки на кровати за завесой обещали ночной покой для уставшего тела.

Перевод с польского Романа ЧЕРНОВА

Вячеслав РЫБАКОВ

А И ПРАВДА — КАМО ГРЯДЕШИ?

1

Люди бесконечно разнообразны. И внешность, и привычки, и характер каждого полны трудноопределимых и порой неведомых самому человеку нюансов. И тем не менее мы, если надо выделить что-то общее, говорим о брюнетах и блондинах, атлетоидах и астениках, оптимистах и пессимистах... Эти грубые группирования позволяют замечать закономерности и, что не менее важно, принципиальные сходства и различия, куда более существенные, чем наличие или отсутствие родинок над правым, например, ухом.

Одним из существеннейших подразделений человеческих типов является водораздел между теми, кто живет сегодняшним днем, и теми, кто живет ради будущего. Оно, конечно, как и всякая крупная классификация, весьма абстрактно и не учитывает множество ситуационных и психологических тонкостей и тем не менее является чрезвычайно важным. Балансируя по мере сил и разума между «будущее важнее настоящего» и «настоящее важнее будущего», «долг важнее сиюминутных желаний» и «сиюминутные желания — это свобода, а долг — это рабство», живет каждый человек, и от того, как он выстраивает этот баланс, чему и в какой мере он отдает предпочтение, какой стратегии придерживается, напрямую зависит вся его жизнь. Известно, что способность откладывать радость на более или менее длительный срок с тем, чтобы после приложенных для ее умножения усилий ее оказалось принципиально больше, чем можно было бы получить немедленно, сильнейшим образом влияет и на характер человека, и на его повседневную деятельность, и на его итоговую успешность или неуспешность. Тот, кто способен потерпеть и даже претерпеть, чтобы в будущем добиться некоего значимого результата, на длинных жизненных дистанциях, если только не вмешивается фатальное невезение, всегда успешнее того, кто хочет всего и сразу. Насколько мне известно, несколько лет назад апологеты и организаторы безудержного потребления проплатили исследования, опровергающие эту истину, давно подтвержденную экспериментами психологов, но вскоре новые независимые работы ее вновь удостоверили. Именно те, кто упоенно поет: «Мы хотим сегодня, мы хотим сейчас», стремительно схрумкав и затрепав до дыр все, до чего успели дотянуться, завтра остаются без конфет, без штанов и безо всякой легальной перспективы их получить. Хо-

Вячеслав Михайлович Рыбаков родился в 1954 году в Ленинграде. Окончил восточный факультет ЛГУ, работает в Институте восточных рукописей, доктор исторических наук. Прозаик, публицист, киносценарист. Лауреат нескольких литературных премий, Государственной премии РСФСР по кинематографии и премии правительства Санкт-Петербурга за выдающиеся научные достижения. Живет в Санкт-Петербурге.

тя, с другой стороны, те, кто не задумывается о будущем и живет по принципу «кривая вывезет», а то и «найдем очередного дурака, поплачем на судьбу — он и выручит», имеют куда больше возможностей беззаботно насладиться сегодняшним днем и взять от жизни все, что она ни с того ни с сего предложит.

Но ведь не только отдельные люди, но и целые общества так живут. Потому что общества состоят из людей.

Конечно, они рискуют. Но жизни не бывает без риска. Одни, те, кто живет сегодняшним днем, рискуют назавтра остаться в обглоданной, вытопанной и загаженной пустыне. Другие, те, кто живет ради завтра, рискуют тем, что все их усилия окажутся тщетными, а потраченной жизни не воротишь. И тем не менее статистически выигрывают вторые. Это было подмечено еще на заре времен. Древняя китайская мудрость гласит: бывает так, что действовал и не добился, но не бывает так, что не действовал и добился.

Чем более соблазнительна отдаленная цель, чем большей эмоциональной притягательностью она обладает, тем на более длительные и самозабвенные усилия способны и отдельные люди, и их коллективы ради ее достижения.

Поэтому образ коллективно желанного будущего не имеет совершенно никакого значения для первой группы и имеет принципиальное, фундаментальное значение для группы второй, являясь, в сущности, ее сердечной мышцей, ее мотивационным мотором.

В течение значительного и, не побоюсь этих слов, судьбоносного периода в прошлом веке таким мотором был для нашей страны коммунизм. Но идея сама по себе не может мотивировать, она воздействует в лучшем случае на рациональное мышление, на формальное целеполагание, но не на энергетику реальных усилий.

Мотивирует представление о результате реализации этих усилий.

2

Волею судеб наиболее полное и эмоционально убедительное представление о коммунизме дали нашей стране ранние произведения братьев Стругацких. Конечно, несколько раньше появился великий Иван Антонович Ефремов. Но его картины будущего впечатляли, а порой и ошеломяли исключительно как идеи. Теплые, человеческие, манящие, как предвкушение первой любви, с ходу какие-то насквозь родные образы будущего дали советским людям именно Стругацкие. Те же самые образы, с каждым годом все более блеклые и деревянные, в течение двух последующих десятилетий тиражировали наши фантасты второго уровня. Ничего отличного от Стругацких о желанном грядущем они сказать не смогли.

Нарисованный в ранних повестях Стругацких так называемый мир Полудня до сих пор остается для очень многих людей наилучшим из того, чего можно ждать и от отдельных людей, и от человечества в целом. Максимумом того, чего можно требовать и от человеческой природы, и от социального конструирования.

Я горжусь тем, что мне посчастливилось в течение почти сорока лет общаться с Борисом Натановичем Стругацким. Поначалу только в руководимом им семинаре молодых фантастов, а потом и вообще по жизни. Аркадия Натановича я знал куда меньше: все-таки он был москвич, а я родился и всю жизнь живу на берегах Невы. Но именно его близящийся вековой юбилей дает хороший повод поговорить о Стругацких в целом. Через сто лет после рождения старшего брата (1925—1991) и несколько больше чем через десять лет после кончины младшего (1933—2012) посмотреть на роль их творчества с некоторой дистанции. Хотя бы и коротко.

Во-первых и в главных. Могу с полной ответственностью сказать, что они, хотя были очень разными, являлись замечательными людьми.

Даже если бы они ничего не написали и продолжали до конца дней своих заниматься один — переводами с японского, другой — астрономией, они все равно уже были бы и оставались просто замечательными людьми. Но случилось так, что им был дарован еще и огромный литературный талант. И вероятно, именно благодаря этому сочетанию они стали теми, кто показал нам целый мир, населенный замечательными людьми.

Ведь почему, собственно, оказалось столь завораживающим будущее Стругацких? Ну, кибердворники, звездолеты класса «призрак», нуль-транспортировка — ладно. Хорошие для своего времени фишки. Известно, что убедительно показать возможность некоей научно-технической новации — это чуть ли не половина пути к ее воплощению. Те, кто занят наукой профессионально, читая такое, сами не создают, как с их воображения спадают некие шоры, кандалы убежденности в том, что их разуму положены некие — причем довольно близкие — пределы и многие вещи невозможны в принципе. Мы не знаем и никогда не узнаем, сколько открытий, изобретений и технологий в самых разных областях не появилось бы, если бы их авторы не прочитали в молодости про наивные самодвижущиеся дороги и про то, что «кибердворник дядя Федя силой ровно в три медведя».

Но штука в том, что убедительно показать мир будущих технологий невозможно, не показав убедительно людей, которые в таком мире живут. Без живых людей мир окажется аляповато раскрашенной картонкой, которая никого и ни на что не способна вдохновить и ничем увлечь. Мир будущего Стругацких со всеми его технологиями оказался столь привлекателен, потому что его населяли люди, вместе с которыми хотелось жить и работать. А литературный талант дал братьям возможность написать людей будущего так, что и стать такими, как они, тоже казалось возможным. Эти образы сбивали уже не научно-технические, но социальные, культурные, психологические кандалы. Мы же почти такие же! И при некоторой толике усилий мы можем стать совсем такими. Это ведь так просто.

И тогда нам же самим станет до того хорошо, что стоит постараться.

3

Для обозначения этого мира в пору молодости Стругацких не существовало иного слова, кроме как «коммунизм». Собственно, его и сейчас не существует. Мы не отдаем себе в этом отчета, но невероятным образом у нас нет даже слова для обозначения мира, который мы пытаемся создать. Пойди туда — не знаю куда, найди то — не знаю что... Ну разве лишь пресловутое «многополярный». Но такой термин обращен вовне страны, в политические эмпирии, и не говорит ничего о самом главном — о том, как этот мир будет устроен в быту и каково там будет человеку. Поэтому мы вот уже сколько лет отделяемся описательными характеристиками: светлое будущее, русская мечта... Или вот лучшая из существующих, и кстати, тоже унаследованная от Стругацких — мир, в котором хотелось бы жить.

В предисловии к переизданию «Возвращения» (первое издание — 1962), одной из основополагающих для мира Полудня книг, Стругацкие писали: «Мы изобразили мир, каким мечтаем его видеть, мир, в котором хотели бы жить и работать, мир, для которого мы стараемся жить и работать сейчас. <...> Мы населили этот воображаемый мир людьми, которые существуют реально, сейчас, которых мы знаем и любим;

таких людей еще не так много, как хотелось бы, но они есть, и с каждым годом их становится все больше»¹.

Надо сказать, с термином «коммунизм» все вовсе не так однозначно, как принято думать. Даже лыжи в разных широтах и у разных народов непохожи; мы говорим «лыжи» и представляем себе узкие спортивные скороходы, чтобы лететь стремглав, но на севере лыжи без наклейки оленьей шкуры на нижней плоскости — это и не лыжи вовсе, а так, деревяшки. Мы говорим «корабль» и представляем себе любое крупное плавательное средство, но для моряка корабль — это лишь единица ВМФ, а для, скажем, хлыста — это его религиозная община. Тот коммунизм, который строили большевики, вырос из европейской традиции; предтечами научного коммунизма числились такие мыслители, как Платон, Мор, Кампанелла... Но они описывали миры, в которых, если глянуть на них хоть мельком, жить не захотел бы никто. Миры, полные насилия, лицемерия, ханжества и попыток силой превратить человека в нечто более совершенное. Вот хоть вернуться на минутку к Кампанелле:

«Все по отдельности подсудны старшему начальнику своего мастерства. Таким образом, все главные мастера являются судьями и могут присуждать к изгнанию, бичеванию, выговору, отстранению от общей трапезы, отлучению от церкви и запрещению общаться с женщинами»². «Смертная казнь исполняется только руками народа, который убивает или побивает осужденного камнями, и первые удары наносят обвинитель и свидетели. Палачей... у них нет, дабы не осквернять государства. Иным дается право самим лишать себя жизни: тогда они обкладывают себя мешочками с порохом и, поджегши их, сгорают, причем присутствующие поощряют их умереть достойно. Все граждане при этом плачут и молят Бога смягчить свой гнев, скорбя о том, что дошли до необходимости отсечь загнивший член государства. Однако же виновного они убеждают и уговаривают до тех пор, пока тот сам не согласится и не пожелает себе смертного приговора, а иначе он не может быть казнен. Но если преступление совершено или против свободы государства, или против Бога, или против высших властей, то без всякого сострадания приговор выносится немедленно. И только такие преступники караются смертью. Повинный смерти обязуется перед лицом народа по совести объяснить причины, по которым, по его мнению, он не должен был бы умирать, объявить проступки других, заслуживающие смерти, и преступления властей, приведя доказательства того, что они заслуживают еще более тяжкого наказания...»³

Хотя что нам Кампанелла! мрачное средневековье!

Но вот бородатые основоположники классического коммунизма Карл Маркс и Фридрих Энгельс.

В свое время диссиденты, готовые хоть марксистами стать на минутку, лишь бы сказать какую-нибудь очередную гадость, ерничали: «Бедняга Маркс! Твое наследство упало в русскую купель, где цель оправдывает средства, а средства обосрали цель».

Вот навскидку из «Немецкой идеологии»:

«Как для массового порождения коммунистического сознания, так и для достижения самой цели необходимо массовое изменение людей, которое возможно только в... революции; следовательно, революция необходима не только потому, что никаким иным способом невозможно свергнуть господствующий класс, но и потому, что свергающий класс только в революции может сбросить с себя всю старую мер-

¹ А. и Б. Стругацкие. Полдень, XXII век (Возвращение). М., 1967. С. 6.

² Кампанелла Т. Город Солнца. М., 1954. С. 97.

³ Там же. С. 98—99.

зость и стать способным создать новую основу общества. <...> Наступит день страшного суда... день, утренней зарей которого будет зарево пылающих городов... с неизбежной при этом пушечной пальбой, а такт будет отбивать гильотина...»⁴

Именно так по европейским рецептам полагалось создавать человека светлого коммунистического завтра. Дать волю всем желающим превратиться в убийц и бандитов — тут-то они и просветлятся.

В последний раз подобное просветление мы видели совсем недавно, двадцать-тридцать лет назад во время либеральной революции, совершенной с целью вхождения в светлый общеевропейский дом, и его воспитательные свойства у нас вполне на памяти.

Но по сравнению с 1917 годом то был детский утренник.

К сожалению, советская действительность, особенно поначалу, пока собственная культурная традиция не начала пробиваться сквозь раскуроченное чуждым бульдозером пространство, несла на себе неизгладимые отпечатки родовых травм подобной версии коммунизма. Стоит лишь вспомнить знаменитое «Железной рукой загоним человечество к счастью», приписываемое то Троцкому, то начальству Соловецкого лагеря особого назначения, то кому-то из ранних большевистских поэтов, но несомненно вовсе не являвшееся всего лишь поэтический метафорой.

Коммунизм Стругацких совершенно не таков. Потому что вырос на совершенно иной традиции.

Мы, как правило, даже не осознаем, насколько давление культуры сказывается на наших представлениях о правильных или неправильных действиях. Просто что-то нам кажется естественным и достойным уважения, а что-то — нет. Скажем, Тимур и его команда просто плюнули бы в лицо тому, кто сказал бы, что они, пионеры, ярые безбожники, пылкие строители коммунизма, действуют в русле христианской традиции, когда помогают старикам и тайно, пока никто не видит, наливают воду им в бочки и укладывают их дрова в аккуратные поленницы. Наверное, кто-нибудь из юных ленинцев даже донос бы на такого провокатора накатал в ГПУ. А меж тем сказано в Писании: «У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно»⁵. Ты и не знаешь, что ты православный христианин — но если тебе просто дают действовать по совести, ты, сам того не подозревая, оказываешься именно им. И именно благодаря этому — настоящим советским пионером.

В том же предисловии к «Возвращению» Стругацкие писали: «Если хотя бы часть наших читателей проникнется духом изображенного здесь мира, если мы сумеем убедить их в том, что о таком мире стоит мечтать и для такого мира стоит работать, мы будем считать свою задачу выполненной»⁶. И она действительно оказалась выполненной, в этом нельзя сомневаться. Но разве можно назвать вдохновенную попытку убедить людей мечтать о лучшем мире, которого нельзя ни увидеть, ни пощупать, ни вообще убедиться, возникнет он когда-нибудь или нет, и все-таки ради его обретения напряженно трудиться в мире этом — разве можно назвать ее иначе, как распространением веры?

«И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. <...> Храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог Вседержитель — храм его... Спасенные народы будут ходить

⁴ К. Маркс, Ф. Энгельс. Немецкая идеология. Т. I. См., напр.: https://marxism-leninism.info/marx_engels/03.htm. Время обращения: 07.12.2024.

⁵ Матф. 6: 3–6.

⁶ А. и Б. Стругацкие. Цит. соч. С. 6.

во свете его.... И не войдет в него ничто нечистое и никто преданный мерзости и лжи... И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл...»⁷

Чем не мир Полудня?

Вот так вкратце обрисовал нам его еще Иоанн Богослов. На две тысячи лет раньше Стругацких, развернуто и убедительно показавших нам светлый, как кристалл, XXII век.

Даже отсутствие в мире будущего молитвенных домов и прикладывающихся к иконам звездолетчиков не требовало объяснения, буде таковое кому-то потребовалось бы, ибо оно дано уже в самом Откровении. Господь Бог Вседержитель — храм его...

Храмом Полудня были забота людей друг о друге и безграничное бескорыстное познание.

Поразительным образом советская НФ, наиболее одаренными и продуктивными творцами которой оказались братья Стругацкие, с ее яростным антиклерикализмом и почти воинствующим богоборчеством, сама того не сознавая, оказалась единственным и неповторимым, просто не успевшим понять и осознать себя приспособлением православной традиции и ее системы ценностей к ракетно-ядерной, генно-модифицированной современности.

Пожалуй, лишь она, советская НФ, не помяная имя Божье все, сумела намекнуть, как вывести бесребреническую, трудоголическую, братолюбивую, нетерпимую к силам Зла этику православия, безоговорочно нацеленную на личное и общественное преобразование, в посюстороннее техногенное будущее. Как распахнуть перед дряхлеющей традицией юную бесконечность. Как, не отказываясь от себя, не ломая хребет собственной культуре, сохраняя и преобразуя ее, на ее основе созидать реальное лучшее будущее — пусть хоть и с помощью логарифмических линеек, электронных микроскопов и прочей неизбежно грешной материальной дребедени, но поведенчески, этически — в поразительном соответствии с тем, как учил людей проводить земную жизнь Сын Человеческий.

Оттого-то показанный Стругацкими коммунизм и выглядел столь родным и желанным. Именно такого у нас и ждали. Именно за такой и отдавали силы и жизни на протяжении полувека. А коммунизм основоположников для своего внедрения требовал насилия то тут, то там и все равно приживался лишь в той степени, в какой у него получалось прикидываться своим. Недоучившийся семинарист Сталин интуитивно это чувствовал; его преемники — ни в малейшей степени.

Борис Стругацкий не раз вспоминал в конце жизни: «Слова „коммунизм“, „коммунист“, „коммунары“ — многое значили для нас тогда. В частности, они означали светлую цель и чистоту помыслов. Нам понадобился добрый десяток лет, чтобы понять... что „наш“ коммунизм и коммунизм товарища Суслова — не имеют между собой ничего общего... В самом начале 60-х слово „коммунизм“ было для нас словом прозрачным, сверкающим, абсолютным, и обозначало оно мир, в котором хочется жить и работать»⁸.

Гениальная интуиция великих художников не обманула братьев. Это действительно были два разных коммунизма, ибо вырастали они из двух взаимоисключающих — хотя отчасти и взаимодополняющих — культурных традиций. Похоже, эти коммунизмы оказались насколько несовместимы, что в конце концов просто аннигилировали, как протон и антипротон. Не стало ни того, ни другого.

⁷ Откр. 21–22.

⁸ См., напр.: https://ru.wikiquote.org/wiki/Комментарии_к_пройденному. Дата обращения: 11.12.2024.

Братья Стругацкие — поразительное явление советской и российской культуры. Огромное, чрезвычайно сложное и далеко еще не познанное. Их воздействие было колоссальным. Пожалуй, его можно сравнить разве что с воздействием Солженицына, но и то сходство тут чисто формальное. Значимость Солженицына в культурном пространстве возникала главным образом из рассказов о нем, из сообщений о его то ссылке, то высылке; в ту пору реально читал его лишь узкий круг профессиональных диссидентов и их ближайших друзей или родственников. Недаром возник анекдот «Солженицына не читал, но скажу...». А Стругацких читала если и не вся страна, то уж вся интеллигенция — наверняка. И обсуждала вся интеллигенция. И нетерпеливо ждала их новых книг вся интеллигенция. И верила им, пожалуй, почти вся интеллигенция. И, помню, даже те, кто их на дух переносил, знали их книги. Цитатами из Стругацких разговаривали школьники, студенты и преподаватели. Знание или незнание их текстов служило опознавателем «свой-чужой», и свои обнаруживались везде. В каких только кабинетах и любительских подборках не мелькала фотография, где Аркадий Стругацкий на каком-то из то ли писательских, то ли читательских съездов случайно оказался под висящим в зале окостенелым лозунгом «Ум, честь и совесть нашей эпохи» (заглавное слово «Партия», естественно, оставлялось за рамкой кадра)! Кто только ее не тиражировал!

И если ныне фамилию Солженицына, в общем, уже практически не упоминают, разве что на официальных мероприятиях, то Стругацкие мало что на слуху — за них и за трактовку их творчества развернута ожесточенная борьба. И тут опять-таки дело в том, что в отличие от Солженицына Стругацкие писали не о прошлом, а о будущем. Эвристический ресурс Солженицына давно исчерпан. Уже нет деревень, в которых нашлось бы место Матренину двору. Плохо это или хорошо — отдельный разговор, но факт есть факт. Ни одному нормальному человеку не придет сейчас в голову отрицать существование ГУЛАГа, и лагерные легенды, которым так доверял и которые так любовно, скрупулезно и неутомимо воспроизводил Александр Исаевич, конечно, ужасны, но давно понятно, что они по большей части — лишь продукты субкультурного фольклора, подобные пионерским страшилкам, которыми надо было потчевать друг друга после отбоя: «В черном-черном городе был черный-черный дом...» Описания того, какими сплоченными и хозяйственными были в лагерях осужденные бандеровцы и как их все окружающие уважали, или того, каким благородным и порядочным был человек, попытавшийся выдать американцам ядерные секреты Союза, и как несправедливо злой КГБ его мучил, ныне вызывают только раздражение — в лучшем случае. И каким бы жалким и отвратительным ни изображал Солженицын Ленина в своем неподъемном «Красном колесе», это не отменяет того, что и через много лет после публикации многотомной эпопеи люди, не принявшие украинский переворот 2014 года и пытавшиеся ему мирно противостоять, собирались под памятниками Ленину, и что наши бывшие братские республики, в свое время так радостно ложившиеся под Гитлера, свою нынешнюю фашизацию называют декоммунизацией.

Со Стругацкими все совсем не так.

Но с ними очень сложно.

Во-первых, их было двое. И они, повторяю, были очень разными, что и способствовало, несомненно, поразительной широте их творческой палитры. Во-вторых, они менялись, как и полагается людям, которые наблюдают, обдумывают, чувствуют и мыслят. Скажем, в середине 60-х годов прошлого века, когда коммунистическая иллюзия/вера/надежда/любовь (нужное подчеркнуть) у них еще не увяла, в одной из основополагающих своих книг «Хищные вещи века» они яростно и бескомпро-

миссно развенчивали так называемый вещизм (в ту вегетарианскую пору этим словом называли то, что в наше огрубевшее время кличут потребб...ством). Но на склоне лет Борис Натанович сменил отношение к обществу потребления и даже выразил ему некоторую симпатию — ведь там много свободы и каждый делает, что хочет⁹. И в-третьих, один из них ушел слишком рано, за несколько месяцев до распада Союза, и не увидел даже 90-х. Нельзя, бестактно и бессовестно говорить за того, кто уже никогда не сможет тебя поправить; недавно в одном интервью меня попытались спросить: «Что бы сказали Стругацкие по поводу происходящего?», и я, щадя нравственность читателей, не буду даже в облегченной форме пытаться пересказать свой ответ. Но меня не удивило бы, если бы Аркадий Натанович раньше или позже ощутил бы нечто подобное чувствам великого философа Александра Зиновьева, заставившим его в 2005-м сказать — будто всхлипнуть: «Если бы я знал заранее, мог предвидеть, что произойдет такая катастрофа, этот переворот и наша страна будет в таком состоянии, как сейчас, если бы я заранее знал, что в России начнут заправлять миллионеры и миллиардеры бог весть откуда взявшиеся — чубайсы, абрамовичи, березовские и т. д., я не написал бы ни одной строчки своих литературных сочинений. Тогда не было бы ни „Зияющих высот“, ни „Катастрофы“, ни „Гомо советикус“, ни других моих книг. Я бы не стал писать эти книги. Это не значит, что я отрекаюсь от своих произведений. Я не отказываюсь в своих книгах ни от одной строчки, я не лгал и не приспособливался. Все, что я писал, в основном все это было искренне и верно. Но, повторяю, если бы я знал, что так будет, я бы не стал писать»¹⁰.

Борис Натанович, в отличие от брата, увидел и 90-е, и 2000-е.

Был такой замечательный фильм (собственно, он и есть, куда ж ему деться, но он совершенно затерялся и забылся среди сериалов о тяжелой судьбе и сложной семейной жизни богатееров или бандитов), один из шестидесятилетних гимнов творчеству, познанию и товариществу — «Девять дней одного года». Каким-то чудом я еще в детстве до печенок проникся горькой истинностью фразы одного из персонажей (цитирую по памяти): «Умный человек может обогнать свое время, может отстать от своего времени, может оказаться в стороне от него. Только дурак всегда идет в ногу со временем».

Стругацкие с самого начала колоссально, беспрецедентно обогнали свое время. Именно поэтому последующее неприятие Стругацкими советской действительности, из которой вроде бы должно было взрасти вымечтанное ими светлое будущее, да почему-то никак не взрастало, воспринималось совсем иначе, чем стандартные диссидентские филиппики. Подумаешь, диссиденты. Мало ли в Бразилии Педров? Стругацкие обвиняли не из Парижа или Лондона (нет прав человека, нет свободы слова, в этой стране выжили одни вертухаи) и не из патриархальной глубинки (большевики Бога забыли), а оттуда, из будущего, прямо из коммунизма, который они, судя по убедительности и обаянию их книг, так хорошо знали, словно сами уже побывали и пожили там. Эта позиция была уникальна. Именно она и обусловила такое влияние Стругацких на умы, какого никаким диссидентам и не снилось. Схватка Стругацких с неприглядной реальностью была облагорожена и легитимизирована подспудной верой их читателей в то, что уж братья-то точно знают: именно вот это и еще вон то преграждает нам путь в рай на земле. Ведь они уже прошли этим путем и выучили на нем каждый поворот, каждый мост и каждый брод. Они имеют право оттуда, из света говорить: это бревно надо убрать, а то не пройти. Этот мост надо починить, а то не пройти.

⁹ См., напр. https://ru.wikipedia.org/wiki/Хищные_вещи_века. Дата обращения 07.12.2024.

¹⁰ См., напр. <https://kprf.ru/news/interviews/8660.html>. Дата обращения 07.12.2024.

Чтобы сохранить эту позицию, они выдумывали то прогрессоров — посланцев коммунистической Земли на чужих отсталых планетах, по мере сил помогающих тамошним жителям избегать кровавых крайностей истории и пестующих гуманистические элементы тамошних культур; то «мокрецов» — посланцев неблагополучного будущего в нашем настоящем, которые перещелкивают стрелки на пути развития человечества так, чтобы дорога к светлому будущему все же открылась пусть не для них, но хотя бы для нас; то, наконец, люденев — вызревающую внутри человечества сверхрасу, которая обладает вселенскими возможностями и которым до примитивных людских проблем, по большому счету, уже и дела нет.

Но история шла своим путем, и мало-помалу становилось очевидным, что она тащит нас совсем не в то будущее, из которого смотрели на нее Стругацкие. И мало-помалу они (особенно уже после распада Союза, когда Борис Натанович остался один) оказались не впереди своего времени и, уж конечно, не позади, но несколько сбоку.

5

С. Витицкий (под этим псевдонимом Борис Натанович, оставшись один, создал две последние свои книги, и когда его спрашивали, как ему пишется без брата, он отвечал: «Вы когда-нибудь пробовали в одиночку пилить дрова двуручной пилой?») не сказал нам о советско-российских ужасах ничего, что мы бы уже не знали, и лишь преувеличил их до сюрреалистического масштаба; виртуозно написанные «Поиск предназначения» (1994) и «Бессильные мира сего» (2003) — это что-то вроде картин Босха в литературе. А его письма в защиту некоторых одиозных личностей, переписка с ними и последующие публицистические выступления дают теперь возможность либеральной части нашей культурной элиты претендовать на все творчество Стругацких от начала до конца. Ее попытки приватизировать Стругацких и их авторитет становятся все более настойчивыми и беззастенчивыми.

То кто-то из них начинает объявлять себя прогрессорами на отсталой, дикой и жестокой планете, которых все должны почитать как посланцев светлого будущего, уже существующего в Европе, и повиноваться им беспрекословно — ведь они точно знают, что хорошо и что плохо. Когда-то Александр Галич пел: «А бойтесь единственно только того, кто скажет: я знаю, как надо!» И они, молодые, задорные, ему подпевали. Но когда они сами начали говорить: «Я знаю, как надо» — и от них начали шарахаться, они принялись винить в этом не себя, а тупое быдло.

То, скажем, на телевидении выходит в серии «Рожденные в СССР» двадцатиминутная передача о Стругацких, где фактически нет ни слова ни об их роли, ни об их творчестве, но зато чуть ли не полпередачи какой-то человек рассказывает о том, как плохо работали железные дороги при Сталине, и особенно во время войны, потому что отец Бориса Натановича во время эвакуации из блокадного Ленинграда не пережил дорожных тягот.

То, обращаясь к студентам одного из элитарных вузов, кто-то вербует их в свою веру: «Вы же людене! Вам все можно, законы писаны не для вас и этой стране вы ничего не должны!»

То вот совсем недавно крупнейшее наше издательство вдруг объявляет, что намерено переиздать некоторые ранние произведения Стругацких, освободив их от тоталитарной коммунистической идеологии.

То есть вы представляете? При страшном Сталине монархистов расстреливали или сажали, что правда, то правда. Но даже тогда никому в голову не приходило, скажем, при переизданиях «Войны и мира» вырезать оттуда сцену народного восторга

при въезде государя Александра в Москву. А те, кто десятилетиями пел нам в уши: «Я не разделяю ваших убеждений, но отдам жизнь за то, чтобы вы имели возможность их высказывать», без зазрения совести собираются по идеологическим соображениям резать тексты писателей и мыслителей, которым они шнурки развязывать не достойны — благо авторы уже ушли из жизни и не могут возразить.

Новаторам дали по рукам, и они быстро сдулись, заявив, что их не так поняли, но, я уверен, это почти наверняка был пробный шар, и попытки подобного рода будут продолжаться с неослабевающим, а то и нарастающим напором.

Потому что так идет у нас сейчас спор о грядущем. Дезавуировать мир Полудня или взять на вооружение все, что можно из него взять? Тянуться в общество хороших людей, неистовых творцов и верных друзей или отдать будущее на откуп потреб...ству? Кого брать в качестве жизненных ориентиров — космонавтов и ученых или брокеров, блогеров и коучеров?

Это не умозрительные вопросы.

Кстати сказать, можно лишь позавидовать тому, что по этим вопросам — и в частности, по Стругацким — у либеральной интеллигенции есть четкая позиция. И именно ей мы обязаны, например, тем, что в Петербурге появилась площадь имени братьев Стругацких. Благодарно и уважительно снимаю шляпу перед усилиями тех, чьих убеждений я не разделяю.

А вот у тех, чьи убеждения я хотел бы разделить, такой позиции нет. И я, увы, не удивлен. Потому что насчет убеждений у них вообще как-то не ахти. Возводить Стругацких на пьедестал за критику Борисом Натановичем путинской политики вроде бы неуместно, а чтить их за светлый образ коммунизма и коммунистическую, в сущности, критику позднесоветской реальности — вроде бы тем более. Вот они и не знают, как к Стругацким относиться. Когда одни и те же государственные уста сегодня заявляют, что Сталин был хуже Гитлера, а назавтра они же обижаются, что в Прибалтике не чтят советских воинов-освободителей, это что-то вроде государственной шизофрении. Ровно такая же шизофрения царит у нас и в сфере представлений о мире, в котором хотелось бы жить. Конечно, всем хочется, чтобы стало хорошо. Но хорошо — ЭТО КАК?

И уж подавно нет ни малейшего признанного представления о том, как бы СОТВОРИТЬ это хорошо.

Камо грядеши, в конце концов?

Дай ответ! Не дает ответа. Чудным звоном заливается колокольчик...

Может, и впрямь спросить у колокольчика?

6

Например, как Стругацкие представляли себе путь от мира сущего к миру желанному? Не могли же они хотя бы сами для себя не задумываться об этом? Карты мест, где происходили их инопланетные путешествия, чертили, чтобы не запутаться и представлять себе все в деталях, а куда более важные маршруты оставляли на самотек?

Конечно, в художественном произведении, чтобы не впасть в высокопарную дидактику, о путях и методах такого перехода невозможно говорить сколько-нибудь всерьез, но все же. Иван Антонович отвел для него несколько кальп или эонов невесты какой длительности: Эра Разобщенного Мира, Эра Мирового Воссоединения, Эра Общего Труда... И все равно ничего определенного относительно того, что да как было в течение этих эр, нам не поведал. А у Стругацких, похоже, уже к середине нашего нынешнего, XXI века и мировое воссоединение случилось, и общий труд воцарился.

В первых их книгах светлое будущее просто постулировалось как уже вполне свершившийся факт. Молодые, увлеченные своим делом, полные надежд, окруженные коллегами и друзьями тех же статей Стругацкие уже жили в нем, в этом будущем, и переход казался настолько очевидным, что о нем не стоило и говорить. Помните? «Мы населили этот воображаемый мир людьми, которые существуют реально, сейчас, которых мы знаем и любим; таких людей еще не так много, как хотелось бы, но они есть, и с каждым годом их становится все больше». Вот-вот все станут такими же — и какой интересной, продуктивной и яркой сделается тогда жизнь! Только бы поскорей...

Видимо, им верилось тогда, что всю страну, а точнее — весь мир, потому что весь мир волновал их, я подозреваю, больше, чем одна отдельно взятая страна, можно преобразовать в некое подобие громадного НИИ, средоточия талантов и энтузиастов, друзей и единомышленников, и это уже и будет коммунизм. Веселый, задорный и устремленный в будущее, как студенческая общага.

Впервые, пожалуй, проблема вывода целого общества из состояния стагнации и отупения затронута была братьями в уже упоминавшихся «Хищных вещах века» (1965). В этой книге вся планета Земля живет уже в светлом будущем, и лишь одна-единственная Страна Дураков застряла в унылом, хотя и сытом настоящем. Но именно в этой стране придумали новый как бы наркотик — слег — и он настолько мощен, уводит в настолько сладкий иллюзорный мир, что начинает представлять опасность для всего трудящегося человечества. Всепланетная спецслужба ищет решение этой проблемы.

« — ...Что вы предлагаете делать? Только конкретно, пожалуйста. Конкретно!

— Конкретно... — повторил я. — Конкретно я предлагаю план восстановления и развития человеческого мировоззрения в этой стране»¹¹.

В некоторых нынешних версиях этого текста в последнюю фразу добавлено «сто-летний» — «столетний план восстановления и развития человеческого мировоззрения в этой стране».

« — Нужно решение! — сказал Мария. — Не разговоры, а решение!

— Я предлагаю именно решение, — сказал я.

Мария побагровел.

— Нужно спасать людей, — сказал он. — Души мы будем спасать потом, когда спасем людей... Не раздражайте меня, Иван!

— Пока вы будете восстанавливать мировоззрение, — сказал Оскар, — люди будут умирать или становиться идиотами.

Я не хотел спорить, но все-таки сказал:

— До тех пор пока человеческое мировоззрение не будет восстановлено, люди будут умирать и становиться идиотами...»¹²

Что ж. Когда весь мир уже живет при коммунизме и лишь одна страна застряла в... не очень понятно в чем, но во всяком случае — в неблагоприятном, тупиковом состоянии, похожем одновременно то ли на идеальный социализм, и впрямь выполнивший завет Хрущева «обогнать Америку по производству молока и мяса», то ли, наоборот, на вполне современное взбесившееся европейское благополучие, такой план действий по ее спасению выглядит вполне убедительно и даже обнадеживающе. Оппоненты главного героя, предлагающего этот план, стоят за просто-напросто полную блокаду неблагоприятной страны, чтобы возникшая там духовная зараза не расползлась по планете и не погубила светлый мир, но главный персонаж убежден, что светлый мир способен своим примером и массовой педагогикой преобразить хотя бы молодежь Страны Дураков и вернуть ее на путь, который в ту пору братья полагали

¹¹ А. и Б. Стругацкие. Хищные вещи века. М., 1965. С. 311.

¹² Там же.

магистральным путем развития человечества. «Не может быть, чтобы здесь не оказалось никого, кто с нами. Кто ненавидит все это смертной ненавистью, кто хочет взорвать этот тупой сытый мир. ...Они тычутся, как слепые. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы помочь им, чтобы они не растрачивали ненависть по мелочам. Какая предстоит работа!»¹³

Живущее в будущем большинство имеет шанс вытянуть из трясины прошлого застрявшее там меньшинство. Для этого оно должно найти среди этого меньшинства еще меньшее меньшинство, которое ненавидит эту трясину, и направить его ненависть в правильном направлении.

Запомним.

Второй раз братья всерьез затронули тему вытягивания неблагополучного общества к истине и справедливости лишь через два с лишним десятка лет, в повести «Отягощенные злом» (1988). Да, конечно, до этого были еще и «Обитаемый остров» (1969), и «Парень из преисподней» (1974), но и в той, и в другой книгах эмиссары коммунистической Земли на отсталых планетах лишь осуществляют некие предварительные акции: говоря упрощенно, в первом случае — прекращают оболванивание населения государственной пропагандой, во втором — прекращают бессмысленную кровопролитную войну за какое-то устье Тары. Необходимо, но явно недостаточно. Судя по некоторым обмолвкам из более поздних книг, принадлежащих к циклу «мир Полудня», после начала вмешательства и на планете Саракш («Обитаемый остров»), и на планете Гиганда («Парень из преисподней») воцарился кровавый хаос, который со скорбным спокойствием расценивался землянами как неизбежное следствие долгожданного обретения свободы, без которой никакое настоящее возрождение невозможно. Что там происходило потом и как вели земные прогрессоры эти отсталые цивилизации в светлое будущее — история умалчивает. Никакого, даже минимального рецепта перехода к Полудню тут не почерпнешь.

В «Отягощенных злом» дело снова происходит на Земле, и ситуация в миниатюре напоминает ситуацию «Хищных вещей», хотя масштаб куда скромней. Советский Союз примерно наших дней (повесть была написана в середине 80-х и имеет подзаголовок «40 лет спустя»). Перестройка увенчалась каким-никаким успехом, жизнь изобильна и благополучна, международные события и трения не упоминаются, похоже, их нет. Возле средней величины провинциального города расположилось буйное становище тамошних, в общем, суперхиппи, которые живут чисто растительной жизнью и называют себя поэтому Флорой. Безделье, безудержная наркота, мелкие кражи и вообще хулиганство, секс более животный, чем у самих животных... Стругацкие честно не скупятся на краски, чтобы показать: для любого здорового человека обитатели Флоры действительно отвратительны. Но мало-помалу наркотическая дурь начинает просачиваться из стойбища в город, а многие городские подростки, прельстившись вольготной безответственной жизнью растений, уходят из семей туда. Милиция бездействует. Взрослые горожане теряют терпение — кто-то требует изгнать Флору куда подальше, у кого-то уже чешутся кулаки...

Когда страсти накаляются до предела, главный герой повести, якобы гениальный педагог, почетный гражданин города и вообще явный человек светлого коммунистического завтра, выступает в тамошней прессе с программной статьей.

Читая подробный пересказ этой статьи Стругацкими, невольно понимаешь, почему даже давным-давно, даже у самых первых, наивных, мечтательных, прекраснотушных, совестливых и бескорыстных, еще и слыхом не слыхавших о западных грантах правозащитников нельзя было получить никакого дельного совета. Сколь бы остра

¹³ Там же. С. 317—318.

и болезненна ни была проблема, истинный интеллигент только наговорит множество действительно правильных и действительно красивых слов, и пока говорит — вообще забудет, о чем идет речь и какую именно проблему надо срочно решить.

«Флора — дикари, не доросшие до нашей цивилизации? Неверно. Флора проросла из нашей цивилизации, как из слоя гумуса. Да, это дикари. Но это дикари совершенно особого типа — племя, вкушившее от нашей цивилизации и с отвращением извергнувшее то, что оно вкусило. Суть происходящего в том, что никто не понимает Флору. А главная беда происходящего в том, что никто и не пытается понять Флору, потому что всем кажется, будто понимать здесь нечего, все и так ясно. Флора не есть что-то отдельное от нас — некий отвратительный и опасный зверь... Флора — это боль наша, наше страдание. Может быть, это болезнь. Может быть, это гноящаяся рана. А может быть, на наших глазах как бы стихийно возникает совершенно новая компонента человеческой цивилизации, новый образ жизни, новая самодовлеющая культура. И тогда кровь, боль, нечистота — роды! <...> И я прошу вас только об одном: замолчите и задумайтесь. Ибо настало время, когда ничего другого сделать пока нельзя»¹⁴.

Хороший совет, скажем, матери, чью изнасилованную тринадцатилетнюю дочь, умирающую от передоза, неотложка привезла из Флоры домой и которая дома таки умирает у матери на руках.

Столетний план восстановления и развития человеческого мировоззрения...

7

А вот взять еще понятие, вокруг которого сейчас ломается столько копий — патриотизм.

Есть мнение, что патриотизм — это только защитное свойство наций, попавших в угрожаемое положение, и всяких креативных, творческих, положительных потенций он, в сущности, лишен. Но мне кажется, такое разделение — это заведомо безнадежная мечта получить магнит с положительным полюсом без отрицательного или монету с орлом, но без решки. Полет Гагарина — это защитная реакция или творческий акт? А блокадная симфония Шостаковича? Давайте обсудим...

Но не здесь.

Понятно, что после всепланетного торжества коммунизма, когда уже нет ни государственных границ, ни армий, ни транснациональных корпораций, ни колоний, ни неравенства, ни даже простенькой частной собственности на средства производства, патриотизму просто неоткуда взяться и нечего делать. Его в мире Полудня и нет. Даже слова такого нет. Если я не ошибаюсь, ни в одной книге Полуденного цикла он не упоминается. И это естественно. Патриот при едином человечестве — что-то вроде хвостатого мальчика с иллюстрации из книги об анатомических атавизмах.

Кажется, впервые это слово появляется у Стругацких в их знаменитой повести «Трудно быть богом» (1964), сразу после публикации сделавшейся священной книгой интеллигенции, и контекст однозначно отрицательный. Перед глазами у нас темное, страшное, зверское средневековье. Торжество мракобесия. Системное, беспощадное избиение и истребление интеллектуалов...

«Он сделал небольшой крюк, чтобы зайти в Патриотическую школу. Школа эта была учреждена иждивением дон Рэбы два года назад для подготовки из мелкопоместных и купеческих недорослей военных и административных кадров. <...> По узким ступеням Румата поднялся на второй этаж и, звеня шпорами по камню, направился мимо классов к кабинету прокуратора школы. Из классов неслось жужжание голосов,

¹⁴ А. и Б. Стругацкие. Отягощенные злом. М., 1989. С. 120, 122.

хоровые выкрики. „Кто есть король? Светлое величество. Кто есть министры? Верные, не знающие сомнений...“, „...И бог, наш создатель, сказал: «Прокляну». И проклял...“, „...А ежели рожок дважды протрубит, рассыпаться по двое как бы цепью, опустив притом пики...“, „...Когда же пытаемый впадает в беспамятство, испытание, не увлекаясь, прекратить...“ Школа, думал Румата. Гнездо мудрости. Опора культуры...»¹⁵

И в дальнейшем образ патриотизма у Стругацких не только не менялся, но становился все более отталкивающим. Я не буду испытывать терпение читателей цитатами и позволять статье распухать до неприличия — хотите верьте, хотите проверьте. Вдоволь посмеявшись над патриотом во «Втором нашествии марсиан» (1968) — ковыляющим на костыле инвалидом Второй мировой, способном говорить только на темы вражеских танковых атак, от которых любой навалит себе полные штаны, и за малейшее слово несогласия подозревать в шпионаже на врага¹⁶, они окончательно сделали патриотизм атрибутом отвратительных инопланетных государств, которым требуется немедленное вмешательство земных прогрессоров. Именно патристическую пропаганду, превращающую народ в жаждущих крови идиотов милитаристов, прерывают земляне в «Обитаемом острове». Молодому воюке в «Парне из преисподней» земляне объясняют всю бессмысленность патриотизма («За кем осталось устье Тары?» — «Это уже не имеет значения»). Всегда, всегда рядом с патриотом так или иначе оказывается представитель коммунистической Земли, чтобы удостоверить и приложить печать: да, патриотизм — это оболванивание народа, нетерпимость к инакомыслящим, милитаризм, остановка развития, подавление свободы, в конечном счете — питательная среда фашизма и нацизма.

Нет ни малейших сомнений в том, что на объединенной коммунистической Земле это именно так и было бы. Глядя с нее, к патриотизму невозможно относиться иначе. Дорого бы я дал, чтобы смотреть на все с объединенной, коммунистической по Стругацким Земли.

Но в реальности, пока на Земле существуют государства, которые к тому же далеко не все относятся друг к другу бескорыстно и дружелюбно, дело обстоит несколько иначе. И неудивительно, даже показательно, что, например, сын Бориса Натановича вырос ярким патриотом. Пусть патриотом Израиля; это совершенно неважно, хотя и симптоматично: вытапывая один патриотизм, ты просто-напросто освобождаешь место для какого-то другого. Свято место пусто не бывает. Повторял и повторяю: любить страну, которую ты ощущаешь и считаешь своей, страну, с которой у тебя общая судьба, и ты понимаешь это — нормальное, естественное состояние для всякого порядочного человека. В сущности, это даже не любовь, любовь — слишком затаканное и слишком аморфное слово, невозможно любить грязь на улицах и хамство в метро, самоуправство и равнодушие чиновников, вызывающее и демонстративное паразитство нуворишей. Не любовь — единство. Неразрывная сопричастность. Это нормально. Ненормальность начинается тогда, когда твой патриотизм доходит до убеждения, что твоему народу — можно, а любому другому — нельзя, что мы, что бы ни делали — хорошие, а другие, что бы они ни делали — плохие, что нам позволительны любые преступления, потому что мы хотим СЕБЕ только добра, а всем остальным не позволительно ничего, потому что они хотят НАМ только зла. Вот это действительно питательная среда фашизма и нацизма.

¹⁵ А. и Б. Стругацкие. Библиотека современной фантастики. Т. 7. М., 1966. С. 54.

¹⁶ Не могу отказать себе в удовольствии хотя бы в сноске дать одну цитату из этой обожаемой мной книги: «Полифем протиснулся ко мне, схватил меня за ворот и грозно захрипел: «Бдительность усыпляешь, зараза? Шпион марсианский, дерьмо плешивое! К стенке тебя!» (А. и Б. Стругацкие. Стажеры. Второе нашествие марсиан. М., 1968. С. 45).

Но у Стругацких во всем громадном корпусе их сочинений о таких тонкостях нет ни слова.

8

Было бы чрезвычайно интересно провести сквозной анализ текстов Стругацких на предмет выявления их время от времени подспудно прорывающегося отношения к тем понятиям, что стали ключевыми в современных общественно-политических словесных баталиях. Но это потребовало бы капитальной монографии, а не статьи.

Однако мне думается, на этих трех примерах уже можно гипотетически выявить некоторую закономерность.

Блистательно описав желанный мир как полное и всестороннее раскрытие, полную и всестороннюю реализацию всех основных ценностных установок совершенно определенной культуры, Стругацкие, как только хоть намеком заходила речь о СПОСОБАХ ПЕРЕХОДА к такому миру, способах его построения, способах вытягивания хотя бы малых человеческих групп из мира сущего в мир должный, по каким-то таинственным причинам как бы выключали на момент перехода эти самые ценностные установки и заменяли их на противоположные и, я бы даже сказал, инокультурные. В природе этих таинственных причин лучше даже не пробовать разбираться — доказать все равно ничего нельзя, а ненароком оскорбить память великих писателей и замечательных людей вполне можно. Однако наблюдаемый факт остается наблюдаемым фактом: именно тогда, когда требовалось бы максимально опереться на традиционные для этой культуры ценности и максимально использовать их потенциал, Стругацкие парадоксальным образом дезавуировали их и предлагали вместо любви — ненависть, вместо патриотизма — космополитизм, вместо упования на человека — упование на маргиналов с их пренебрежением к большинству, ведь оно живет обычной жизнью и, стало быть, не представляет большой ценности... Чтобы потом, по достижении мира должного, вновь показать все вновь включенные ценности во всем их блеске (даже патриотизм, естественно превратившийся в чувство единства с человечеством и родной планетой).

Впрочем, возможно, ответ лежит на поверхности. Культурные традиции вездесущи, мы не замечаем их, как рыба не замечает воды, пока вода чистая. Они проникают в нас с самого раннего детства и уже никуда не уходят, изменяется с возрастом и в зависимости от жизненных обстоятельств лишь реализация их в поведении. Они усваиваются и из детских дружб, детских подвигов и детских потасовок, и из книг, и из первых походов в магазин («Сынок, сходи за хлебом, я не успела...»). Но эффективней и, если можно так сказать, полноводней всего они пропитывают нас в семье. Все мы дети своих родителей. Представления Стругацких о нормальной жизни, о правильных и плодотворных человеческих отношениях были внутри православно-христианской традиции, обогащенной стремлением к науке, к познанию (православная мама-учительница), а по отношению к переходу к этой нормальной жизни братья оказались бескомпромиссными коммунарами (отец-большевик, комиссар, достаточно близкий к тогдашнему руководству РККА, чтобы вполне разделять его взгляды на способы дальнейшего продвижения мировой революции, политработник среднего звена, а едва избежав ареста — скромный боец культурного фронта)¹⁷. И постоянно искрящее подспуд-

¹⁷ См., напр.: https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.19823677-6759c835-9e74967b-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Arkady_and_Boris_Strugatsky. Дата обращения: 11.12.2024. <https://biographe.ru/znamenitosti/bratya-strugatskie/>. Дата обращения: 11.12.2024. https://ru.wikipedia.org/wiki/Стругацкий,_Натан_Залманович. Дата обращения: 12.12.2024

ное взаимодействие тех и этих традиций, вероятно, шло у братьев всю жизнь, обеспечивая как энергетику их прозрений, так и энергетику их заблуждений.

Пожалуй, именно это несоответствие, это противоречие составили главную драму почти полувековой творческой эпопеи Стругацких.

Пожалуй, именно из-за этого рассогласования Полдень у нас так и не задался.

Поэтому тем, кому идеал Полудня до сих пор не дает покоя (как мне, например) и остается миром, в котором хотелось бы жить, похоже, надо самим думать над тем, как настелить к нему мост на адекватных этому миру культурных сваях и опорах. Чтобы этот мир стал органичным продолжением моста, а мост — началом этого мира, а не его радикальным отрицанием.

Борьба за будущее только разгорается. И если мы снова ее проиграем, думаю, у нас уже не будет никакого будущего.

Никогда.

9

Сразу несколько авторитетнейших наук — биология, этология, психология — говорят нам, что, во-первых, выполнение инстинктивно обусловленного действия приносит живому существу несравненное успокоение и удовлетворение, а во-вторых, что длительная невозможность совершить какие-то инстинктивные действия ведет к понижению порога раздражительности и к повышению уровня агрессивности, а у человека еще и к развитию постоянного стресса со всеми вытекающими последствиями: отупением, озлоблением, расцветом маниакальных состояний, утратой способности к эмпатии, то есть к сочувствию и состраданию. Это закон для всех живых организмов, его нельзя перешагнуть или отменить.

Стремление к познанию и созиданию есть один из основных инстинктов, и чем выше биологический вид расположен на лестнице эволюции, тем более значимым и директивным для него становится этот инстинкт. У человека он проявляется в самых разных формах, от неодолимого стремления к расширению ареала обитания до теории относительности, от каменных топоров до токамаков и коллайдеров.

Попробуйте опровергнуть основанную на практических наблюдениях аксиому, согласно которой те, кто реализует этот инстинкт в максимальной мере, в большинстве своем являются людьми настолько добродушными и порядочными (хотя порой и весьма эгоистичными, но не из корысти, а в процессе реализации инстинкта), насколько это вообще дано человеку. Но при этом, опять же в большинстве своем, очень мало внимания уделяют бытовому комфорту, материальным благам, вещам, удобствам, походам в магазины и прочим искушениям мира сего. Им это просто неинтересно, у них на это сугубо нет времени. Они буквально стервенеют, когда их ведут покупать новые штаны или модный свитер, и тут же снова добреют и становятся агнцами, вернувшись за свой письменный стол или за пульт управления.

Вот такими людьми и населили свой Мир Полудня его создатели. Притягательность этого мира обуславливалась в первую очередь тем, что хотелось быть такими людьми и жить с такими людьми. Эти люди абсолютно реальны, их немало в нашей реальности. Пока еще немало.

Попробуйте опровергнуть основанную на элементарных расчетах аксиому, согласно которой если вдруг такими станет хотя бы половина человечества, мировая капиталистическая экономика рухнет. Разразится глобальное катастрофическое перепроизводство товаров и услуг, все фирмы и концерны разорятся и без выходного пособия вышвырнут на улицу неисчислимые толпы работяг и менеджеров, станет некому

платить налоги, а тогда даже чутким и человечным бесребреникам-созидателям станет негде купить себе хотя бы единственные все-таки нужные им штаны.

Потому что современная экономика всех стран стоит и держится только на расширенном воспроизводстве, которое должно непременно, обязательно, под страхом смерти оборачиваться бесконечно расширяющимся потреблением. Может, в обществе потребления и нет ничего слишком уж плохого, но в обществе бессмысленного потребления, которое теперь совершенно необходимо для того, чтобы экономика крутилась, познавать и создавать становится просто некогда и незачем. Нужно заниматься шопингом, а не валять дурака. Нужно тратить жизнь на обеспечение шопинга, на расширение шопинга, на развитие шопинга, на теоретическое обоснование и математическое моделирование шопинга, а все остальное — блажь, чреватая личным социальным рейтингом ниже плинтуса. Экономика просто не может позволить, чтобы кто-то отлынивал от своей главной обязанности, обеспечивающей этой экономике жизнеспособность — потреблять. Какую партию ни избери правящей, какого лидера ни поставь у руля. Как в концлагерях под страхом смерти заставляли дробить камни или валить лес, месяц от месяца повышая нормы выработки, так в нашем мире под страхом смерти люди вынуждены менять автомобили все чаще и чаще.

Помню, еще лет двадцать пять назад, когда я еще только начал вылезать в сеть и тем самым совершенно непроизвольно то и дело оказывался втянут в дискуссии неизвестно с кем, один из моих анонимных оппонентов мне написал: «Если вас не устраивает положение в науке, идите торговать в ларек и проявляйте свою порядочность тем, что не обманывайте и не обвешивайте покупателей».

Даже в таких мелочах, даже на столь бытовом уровне проявляется то же самое давление.

И под этим давлением даже «Боинг» разучился строить самолеты. Куда уж дальше.

И под этим давлением один из основных инстинктов, только и способных обеспечивать выживание вида (не путать с основным инстинктом в системе ценностей Шэрон Стоун и прочего Голливуда), в принципе становится невозможно реализовать.

А подавленный инстинкт, между прочим, не последняя из причин роста психических расстройств, депрессий, нетерпимости... Выполнение инстинктивно обусловленного действия приносит живому существу несравненное успокоение и удовлетворение. Невыполнение — наоборот.

Когда-то нас учили, что основным противоречием капитализма является противоречие между производительными силами и производственными отношениями. Я рискну сформулировать основное противоречие постиндустриального мира: между необходимостью постоянного роста бессмысленного потребления и ориентировочным инстинктом, то есть присущим в той или иной степени каждому человеку стремлением познавать и созидать. Это противоречие непримиримо, оно обусловлено рассогласованием двух природ: природой человека и природой экономики.

Если уж думать о преобразовании мира, то начинать надо с попыток сформулировать, обосновать и просчитать такую экономическую модель, которая смогла бы сохранять эффективность, не вырождаясь в командно-административно-распределительную (то есть тотально дефицитную), но и не нуждаясь в дурно-бесконечной интенсификации производства-потребления (то есть не перерабатывала бы человека в ротожопу). Это куда трудней, конечно, чем повторять старые марксистские рецепты или требовать свободы личности и сменяемости власти. Но это единственная настоящая альтернатива.

«Мы знаем, что эта задача не имеет решения. Мы хотим знать, как ее решать».

Узнали цитату?

А. и Б. Стругацкие. «Понедельник начинается в субботу».

ГДЕ ДЕНЬГИ, КАРА?..*

Деньги для Маркса — не только тема мозголомных теоретических размышлений. Деньги — неумолимый и беспощадный судья его жизни. Они изобилили многие его безрассудные привычки и странные, если не сказать — извращенные представления о личной ответственности и порядочности, следуя которым он предпочитал не зарабатывать, а выпрашивать деньги, жить за чужой счет — для него это было обыденным делом.

Конечно, самообвинительными откровениями Маркс не делился и о своем неумении обращаться с деньгами отзывался лишь шутливо: «Не думаю, чтобы кто-нибудь когда-нибудь писал о деньгах, испытывая в них такую нехватку! Большинство авторов, которые о них рассуждали, жили в ладу с предметом своих исследований».

Ироническая бравада Маркса — не самая подходящая интонация, чтобы признаться в отчаянном безденежье, которое для его семьи было не только изнурительным, болезненным, но и в прямом смысле — убийственным, смертоносным. Из семерых детей Карла и Женни Маркс четверо умерли в раннем возрасте. Первопричина их смерти — нищета: они голодали, жили в гнетущей тесноте, в холодных, сырых и прокуренных комнатах. Заболевшим детям требовалась помощь докторов, но родители зачастую не могли оплатить их услуги. Так что не с иронией бы Марксу говорить о перенесенной нужде, а с горечью вины и раскаянием...

Когда умерла годовалая Франциска, ее не сразу смогли похоронить: не было денег, чтобы купить детский гробик. Кредиторы отказывали даже в небольшой сумме: семья давно вошла в долги, с которыми никак не могла рассчитаться. Слезы матери растрогали лишь одного из их соседей — французского эмигранта, одолжившего два фунта на покупку гроба... «У Франциски долго не было колыбели, когда она появилась на свет, и даже в последней маленькой обители ей так долго отказывали», — напишет позже Женни.

Была ли неизбежной жестокая участь малолетних детей Маркса? «Если бы мы тогда могли оставить тесную, нездоровую квартиру и увезти ребенка к морю, может быть, его удалось бы спасти», — призналась Женни, вспоминая сына Эдгара, умершего от туберкулеза в восьмилетнем возрасте. «Если бы только возможно было переселить тебя и твою семью в более здоровую местность и в более просторное помещение!» — сокрушался Энгельс, узнав о смерти Франциски.

Маркс после смерти сына Гвидо — первого ребенка, которого они потеряли, — пишет Энгельсу, что Женни «находится в состоянии крайнего возбуждения и изнуре-

Андрей Николаевич Попов родился в 1958 году в Караганде (Казахстан). Кандидат филологических наук, доцент. Отличник образования Республики Казахстан. Автор более 40 научных и научно-методических работ, а также многочисленных журнальных и газетных публикаций в российской и казахстанской периодической печати. Живет в Москве.

* Продолжение цикла литературно-биографических эссе «Деньги в зеркале откровений и судеб». Начало см.: Нева. 2020, № 3; 2025, № 4.

ния». «К тому же, — как бы между прочим добавляет он, — ее мучит мысль, что несчастное дитя пало жертвой материальной нужды». Мучился ли подобными мыслями сам Карл? Он, конечно, не был равнодушен к болезням детей, тяжело переживал их уход, в особенности Эдгара, своего любимца. Но он ни разу прямо не обмолвился о своей личной вине в ранней смерти своих детей.

Поразительно, какой сверхпроницательностью был наделен отец Маркса: в письме к 18-летнему Карлу он открыто усомнился в его способности сделать будущую семью счастливой: «Соответствует ли твое сердце твоему уму, твоим дарованиям?.. В этом сердце явно царит демон, ниспосылаемый не всем людям... Будешь ли ты — это сомнение терзает мое сердце — восприимчив к подлинно человеческому семейному счастью?.. В состоянии ли ты дать счастье своим близким?»

Откуда эти тяжелые сомнения и мрачные предчувствия? Что заставило любящего отца сомневаться в добросердечности сына? Говорят, по-настоящему можно узнать человека, когда увидишь, как он расходует деньги. Особенно в том случае, если их у него немного. «Скажи, на что ты тратишь деньги, и я скажу, кто ты» — возможно, именно эта нехитрая житейская истина заставила отца столь откровенно и сурово высказаться сыну свои мрачные опасения.

В большой семье Марксов Карл был первым, кто поступил в университет. И уже самое начало его студенческой жизни в Бонне повергло родителей в смятение и ужас. Он снял весьма дорогое для студента жилье. Часто учебным занятиям предпочитал времяпровождение в пивных. А вскоре стал еще и президентом студенческого «клуба любителей пивной», заседания которого сопровождались обильными алкогольными возлияниями и скандалами. Однажды его за «пьяное буйство» даже доставили в полицейский участок, где продержали до утра, пока он не протрезвел.

Во всех своих письмах домой Маркс неизменно просил выслать ему денег. Расточительность Карла вызывала у Генриха Маркса, его отца, неприкрытую досаду и раздражение: «Не могу избавиться от мысли, что эгоизма в тебе гораздо больше, чем это требуется человеку для самосохранения». За год сын-студент израсходовал почти 700 талеров, тогда как, по замечанию отца, «самые богатые не тратят и 500». Для сравнения: в то время городской советник в Берлине зарабатывал примерно 800 талеров в год.

Однако отцовские наставления и призывы быть более умеренным в расходах не изменили финансовых привычек Карла. В одном из писем, уже после того, как Маркс перевелся в Берлинский университет, отец возмущенно писал: «Сейчас только четвертый месяц учебного года, а ты уже просадил 280 талеров. А вот я не заработал столько за всю эту зиму». В конце концов, устав от разорительных просьб сына, он предельно ясно и решительно втолковал ему: «Я готов помогать тебе деньгами, но хочу напомнить, что я многодетный отец и к тому же не слишком богат. Поэтому я не желаю делать больше, чем это необходимо для твоего благосостояния».

С Карлом родители связывали особые надежды, рассчитывая, что он не только сумеет достойно и разумно устроить свою жизнь, но еще и станет надежной опорой для младших сестер и братьев. Отец не раз пытался внушить сыну, как важен денежный достаток для семейного благополучия. Однако Карл от обсуждения этой темы уклонялся. В последнем письме сыну, незадолго до смерти, Генрих Маркс еще раз напомнил об этом: «Только по одному вопросу ты мудро выдержал в своем письме аристократическое молчание: по мелкому вопросу о деньгах, ценность которых для отца семейства высока, даже если ты этого не признаешь».

После смерти отца мать настоятельно просила старшего сына поскорее завершить учебу, рассчитывая, что Карл получит работу и станет кормильцем семьи. Однако тот сдавать выпускной экзамен и писать диссертацию не спешил — это произойдет

только через три года. Зато он с обескураживающей поспешностью потребовал от матери свою долю в отцовском наследстве.

Генриетта, мать Карла, выполнить это требование не могла: для этого нужно было продать дом, где жила многодетная семья. Она решила, что полагающуюся ему часть наследства сын получит позже. В обстоятельствах, когда семья осталась без постоянного дохода, это был вполне разумный — если не единственно возможный — выбор.

Но Карл таким решением был взбешен. Оно стало началом долгого семейного конфликта. С того времени и до самой смерти матери Маркс в письмах к Энгельсу называл ее не иначе как «моя старуха». «С моей старухой ничего нельзя сделать, пока я не сяду ей прямо на шею», — жаловался он, рассказывая, как пытался выпросить у нее денег.

Между прочим, эта несговорчивая «старуха» не раз платила по векселям, которые Карл выписывал на ее имя, а перед своей смертью порвала долговые расписки Маркса, чтобы не уменьшилась его доля в наследстве. А вот он был совершенно лишен сыновнего и братского инстинкта, с нескрываемым пренебрежением относился к матери, братьям и сестрам. Никаких обязательств перед семьей не признавал, и мать его интересовала исключительно как наследодательница, как финансовый ресурс.

Многие из писавших о Марксе справедливо упрекали его в инфантильном эгоизме и незрелости. Вот какую унижительную характеристику дал ему Арнольд Кюнцли, швейцарский исследователь западной политической философии: «Всю свою жизнь Маркс вел себя точно так же, как эмбрион... Или как младенец, который зависит от материнской груди. Младенец пьет, пока не насытится. Его не беспокоит, хватит ли у матери молока или нет... И младенца, если предположить, что у него есть близнец, не будет беспокоить, осталось ли молоко для брата. Именно так вел себя взрослый Карл Маркс по отношению к матери, братьям и сестрам, только речь уже не о молоке, а о деньгах. И почти так же он впоследствии вел себя вплоть до своей смерти по отношению к Энгельсу».

Маркс так изводил мать своими денежными притязаниями, что она вынуждена была обратиться к голландским родственникам, поручив им вести финансовые дела своей семьи. Поверенным и душеприказчиком Генриетты стал муж ее родной сестры Лион Филипс, банкир и табачный фабрикант (к слову, двоюродный брат Карла Фредерик с сыном Жераром основали всемирно известную компанию Philips Electronics).

Свою часть наследства Маркс получит лишь через 10 лет. Но это не значит, что он все эти годы провел в трудах и лишениях. Как известно, Маркс, первоначально изучавший в университете юриспруденцию, затем изменил свой выбор в пользу философии. После завершения учебы он рассчитывал при помощи своего приятеля Бруно Бауэра получить место приват-доцента в Боннском университете. Однако Бауэр к тому времени работу потерял и помочь Карлу не мог. Сам он никакой активности в этом вопросе не проявлял, продолжая жить за счет своей семьи.

Только спустя год, после настойчивых просьб нескольких своих друзей и знакомых, он начинает сотрудничать с оппозиционной «Рейнской газетой», вскоре став ее главным редактором. Это была его первая должность с установленным месячным жалованьем. Она же стала и последней. Уже через несколько месяцев решением прусского правительства газета была закрыта. После этого Маркс жил исключительно за счет пожертвований и подарков от друзей и родственников, наследственных денег, нечастых гонораров от своих публикаций.

Потеряв работу в газете, он ничуть об этом не сожалел. «Ужасно заниматься рутинным трудом даже ради свободы» — так писал он о своем журналистском опыте.

Маркс опять не предпринимает никаких попыток найти работу, хотя это чрезвычайно волнует и его родственников, и аристократическую семью его невесты Женни Вестфален. «Родной мой, — обращается она к нему, — меня часто тревожит наше будущее, как ближайшее, так и более отдаленное... Если ты можешь, успокой меня в этом отношении. Здесь так много говорят о постоянном доходе».

Карл и Женни были помолвлены в 1836 году, а поженились лишь через семь лет, в июне 1843-го. Невесте тогда было 29 лет, а жениху — 25. Когда выбирали дату свадьбы, Маркс был редактором «Рейнской газеты». Но к назначенному дню Маркс уже лишился работы, что, однако, не помешало молодым обвенчаться.

Свой медовый месяц, растянувшийся до осени, Карл и Женни провели в путешествии вдоль Рейна и в курортном городке Кройцнахе. Все расходы покрывались из приданого невесты. Часть денег молодожены хранили в дорожной шкатулке, которую в гостиничных номерах всегда оставляли на столе открытой, чтобы нуждающиеся из числа прислуги могли при необходимости этими деньгами воспользоваться. Шкатулка, как и следовало ожидать, опустела очень скоро...

В ноябре 1843 года для четы Марксов началась долгая эмигрантская жизнь. Полтора года — в Париже, три — в Брюсселе, почти 35 лет — в Лондоне. В Париже Маркс пишет несколько статей для «Немецко-французского ежегодника». Но работает крайне медленно. Позже редактор журнала с возмущением вспоминал, что Маркс «совершенно невыносим и разорителен в качестве журналиста... он ничего не доводит до конца».

Эта характеристика вполне приложима и ко всей жизни Маркса. Не случайно его называют «мастером незавершенного»: многие начатые им работы так и остались незаконченными. Его можно назвать еще и мастером находить оправдания: у Маркса всегда были отговорки и увертки, чтобы объяснить друзьям и знакомым, издателям и редакторам, почему он не смог уложиться в назначенный срок или же вообще не выполнил работу — даже ту, за которую уже был выдан аванс.

Летом 1845 года он получил от издателя Карла Леске аванс в 1500 франков за книгу по политэкономии. Через год Маркс сообщил издателю, что рукопись «почти закончена», но требует некоторой переработки «содержания и стиля». В продолжение нескольких лет Леске безуспешно пытался взыскать выплаченный аванс или же получить рукопись. Деньги Маркс не вернул, а обещанную книгу закончил лишь в январе 1859 года и с помощью Фердинанда Лассалья нашел для нее нового издателя.

К слову, с этой книгой — «К критике политической экономии» — Женни связывала большие ожидания: у семьи не было никаких источников дохода, а Маркс убеждал жену, что в самое ближайшее время его ждет успех, чему подтверждением полученный щедрый аванс. Женни тогда была вынуждена вернуться в Трир к заболевшей матери и, разумеется, не знала о том, что издатель уже разорвал контракт с Марксом и требует возврата денег.

Обещая в письмах жене наступление скорого финансового благополучия, он в эти же дни лихорадочно ищет деньги у друзей и знакомых, ссылаясь на безвыходность ситуации: «Для того чтобы свести концы с концами, я заложил последнее золото и серебро и даже большую часть белья». К несчастью, и Энгельс тогда остро нуждался в деньгах и не мог помочь Марксу. Выручили, как не раз бывало, родные: мать Карла, его дядя и мать Женни, узнав об очередной ее беременности, передали деньги, чтобы семья могла рассчитаться с долгами, оставить захудалый пансион и снять небольшой дом в пригороде Брюсселя.

Впрочем, денег хватило ненадолго. Уже через несколько месяцев Маркс в письмах различным адресатам пишет об «отчаянных денежных затруднениях» и «кри-

тическом материальном положении». В начале 1848 года Маркс получает от матери 6000 франков золотом — причитавшуюся ему долю отцовского наследства. Сумма, достаточная для того, чтобы не только раздать долги, но и обеспечить семье финансовую независимость, по меньшей мере, лет на пять.

Однако уже через год наследство оказалось полностью растроченным. Среди биографов Маркса до сих пор нет единодушия в том, как это произошло. Предполагают, что Маркс выделил 5000 франков на финансирование вооруженного восстания в герцогстве Баден. Но достоверного подтверждения этому нет. Вероятнее всего, деньги ушли на «Новую рейнскую газету», которую в июне 1848 года начали издавать Маркс и Энгельс. В мае следующего года газета была закрыта. Чтобы заплатить за аренду помещений, рассчитаться с типографскими работниками и тем самым, как объяснял Маркс, спасти «политическую честь» газеты, ему пришлось не только израсходовать остаток полученного наследства, но и заложить все семейное имущество.

Перебравшись в августе 1849 года в Лондон, Маркс оказался без всяких средств к существованию. Вскоре к нему должна была приехать жена с детьми, а он не имел возможности снять для семьи подходящее жилье. Но даже это не заставило его искать работу, которая могла бы приносить пусть небольшой, но постоянный доход, к примеру давать частные уроки.

Женни, рассчитывая на полученное Марксом наследство, надеялась, что финансовые трудности уже позади. Для нее было потрясением узнать, что муж все деньги растратил и разорил семью. Первые два месяца в Лондоне они продержались только благодаря тому, что Женни привезла роскошный серебряный сервиз — реликвию семьи Вестфален, доставшуюся от шотландских предков (его Марксы часто потом закладывали в ломбард), и получила у матери Карла еще одну небольшую часть из полагавшегося ему наследства. Семье удалось снять комнату в Челси, в которой они ютились вшестером (Карл, Женни с тремя детьми и экономка).

А затем наступили мрачные дни полного безденежья: Маркс не мог платить ни за жилье, ни за еду, ни за лекарства. Кредиторы с каждым днем становились неуступчивее. В ломбарде было заложено практически все их имущество, даже одежда и обувь. Семья оказалась на пороге крайней нищеты. И в это время в Лондоне появился Энгельс: он участвовал в боях баденско-пфальцского восстания, и никаких известий о нем несколько месяцев не было. С его помощью удалось расплатиться с частью долгов. Однако из комнаты в Челси их выселили за длительную неуплату. На скромное имущество семьи, включая одежду и даже детскую колыбель, был наложен арест. Опережая приставов, Марксы спешно продали многие свои вещи, чтобы рассчитаться с булочником, молочником, аптекарем.

Получив небольшую денежную помощь от матери Женни, они сняли две комнаты (в одной можно было поместить только шкаф) на Дин-стрит в Сохо, самом зловещем районе Лондона. Осведомитель прусской тайной полиции, которому удалось несколько раз побывать у Маркса дома, его семейный быт описал весьма наглядно, пусть даже с неприязненной избирательностью деталей и характеристик: «Маркс очень неряшлив, циничен, отвратительный хозяин... Редко моется и меняет белье. Быстро пьянеет. Зачастую целый день слоняется без дела; но если у него есть работа, сидит за ней днем и ночью... Иногда не спит всю ночь и утро, к полудню ложится на камапе, не раздеваясь, и спит до вечера, не обращая внимания на домашнюю суету... Когдаходишь к Марксам, дым от угля и табака ест глаза, точно в пещере, и ничего не видишь, пока не привыкнешь к темноте и не начнешь различать предметы сквозь дым... В его квартире нет ни одного целого предмета мебели. Все поломано, покрыто пылью, в большом беспорядке. Посреди гостиной большой стол, покрытый

подобием скатерти. На нем рукописи, книги, газеты, клочки ткани от шитья его жены, треснувшие чайные чашки, грязные ложки, ножи, вилки, свечи, чернильницы, стаканы, трубки, табачный пепел...»

Письма Маркса к Энгельсу (в переписке он дружески называл его Фредом) полны горьких и унылых жалоб на безденежье и болезни. Порой за этими жалобами проступают полная беспомощность и безысходность. В сентябре 1852 года он пишет Энгельсу: «Моя жена больна, Женничка [старшая дочь] больна, у Ленхен [экономка] что-то вроде нервной лихорадки. Врача я не мог и не могу позвать, так как у меня нет денег на лекарства. В течение 8—10 дней моя семья питалась хлебом и картофелем, а сегодня еще сомнительно, смогу ли я достать и это».

В письме к Энгельсу в январе 1857 года он выглядит уже совершенно обреченным: «Итак, я совсем на мели... без всяких видов на будущее и с растущими расходами на семью. Абсолютно не знаю, что предпринять, и положение мое поистине более отчаянное, чем было пять лет тому назад. Я думал, что я испил до дна горькую чашу. Но нет. При этом хуже всего то, что кризис этот не временный. Я не вижу, как мне из этого выкарабкаться».

Через год, в январе, Женни будет вынуждена заложить свою шаль, чтобы получить за нее несколько пенсов и купить еду. Рассказывая Энгельсу об этом, Маркс после упоминания о сильных холодах и полном отсутствии угля с раздражением признается и в усилившемся «давлении извне», имея в виду гневные упреки и жалобы жены. «Если такое положение вещей сохранится, — писал Маркс, — то я предпочел бы оказаться глубоко под землей... Быть вечно в тягость другим и при этом самому постоянно изнемогать в борьбе с подлейшими житейскими мелочами — в конце концов, это невыносимо».

Особенно тяжелым выдался 1862 год, когда фабрика Энгельса почти не получала заказов. Он предупредил Маркса, что несколько месяцев не сможет высылать ему деньги. Энгельс не исключал, что положение может ухудшиться, замечая с горькой иронией: «Если мы с тобой не сможем открыть для себя искусство гадить золотом, то вряд ли можно будет найти альтернативу для извлечения пользы из твоих отношений с миром. Подумай об этом».

Но Маркс даже в самые тяжелые для семьи дни не задумывался над тем, чтобы найти работу и самому зарабатывать деньги. Нередко именно в такие дни он уезжал из Лондона, прячась от проблем и не решая их. «Я здесь сижу без крова и хлеба... Сижу, и почти все глаза выплакала и не найду помощи... У меня голова не выдерживает. Я восемь дней крепилась, теперь не могу», — в отчаянии пишет Женни мужу, который отдыхал у друга Фреда в Манчестере.

Она не раз упрекала Маркса в его неспособности решать семейные проблемы, напоминала, что все знакомые им эмигранты, жившие в Лондоне, хватались за любую работу. Но ничто — ни смерти детей, ни слезы и болезни жены, страдания которой привели ее к истерической депрессии, — не могло поколебать однажды сформулированного им жизненного принципа: «Не позволю буржуазному обществу превратить меня в машину для зарабатывания денег».

К слову, отношения Карла и Женни до сих пор многие идеализируют и даже причисляют к великим историям любви. Но их отношения никак нельзя назвать возвышенными. Это, конечно, выдумка — не столько романтическая, сколько идеологическая. Маркс не раз в письмах откровенничал, что чувствует себя дома как «в западне», «в осаде», где «потoki слез не дают мне спать по ночам и приводят меня в ярость». «Что может быть глупее для человека широких взглядов, чем женитьба? Это обстоятельство повергает его в пучину мелких тягот личной и домашней жизни... Блажен

тот, кто не имеет семьи» — такими выстраданными выводами делится он с Энгельсом. Столь же прямо высказался он и в письме к своему будущему зятю Полю Лафаргу: «Если бы я начал жизнь сначала, я никогда бы не женился».

Откровения Женни тоже полны горечи и обиды. В письмах к своей подруге Эрнестине Либкнехт Женни жаловалась, что совершенно измучена безденежьем и недоеданием, болезнями и постоянными родами, что ее тяготит интимная близость с Карлом. Роберт Пейн, один из наиболее известных биографов Маркса, писал, что для Женни муж «не только не был святым, но и временами был воплощением дьявола, ведущим свою семью к гибели».

Объективности ради следует заметить, что однажды Маркс все-таки предпринял попытку устроиться на службу с постоянным доходом — в железнодорожную контору. Правда, не в ответ на увещевания жены, а только для того, чтобы сохранить хорошие отношения с семьей Филипсов. Его кузен Август Филипп вызвался помочь Марксу и попросил своего приятеля, работавшего в конторе, подыскать там для Карла подходящую работу. Но задуманное не удалось: Марксу отказали из-за неразборчивого почерка, что, однако, его не особенно расстроило. В письме Людвигу Кугельману, другу и соратнику по Интернационалу, он даже с некоторой игривостью рассказывает об этом и задается риторическим вопросом: «Не знаю, назвать ли это счастьем или несчастьем?»

Станный вопрос для человека, который незадолго до этого, в июне 1862 года, пишет Энгельсу о невыносимых мучениях семьи: «Жена говорит мне каждый день, что лучше бы ей с детьми лежать в могиле, и я, право, не могу осуждать ее за это, ибо унижения, мучения и страхи, которые нам приходится переносить в этом положении, в самом деле не поддаются описанию... Не стану говорить о том, что такое жить в Лондоне без единого пенни целых семь недель, что с нами часто случается».

Вскоре после неудавшегося трудоустройства он заявляет Энгельсу, что намерен объявить себя банкротом, пристроить старших дочерей гувернантками, экономку отправить домой, а самому вместе с Женни и младшей дочерью переехать в самый дешевый пансион. Решимость, с которой Карл сообщил о своем выборе, серьезно напугала Фридриха, и он спешно выправил необходимые бумаги, чтобы Карл получил деньги по счету, выставленному одному из клиентов фабрики, где работал Энгельс.

Не преувеличивал ли Маркс безвыходность своего положения? Не играл ли на чувствах, как это умеют делать профессиональные попрошайки? Вряд ли. Ведь даже и Женни в отсутствие мужа обращалась к Энгельсу за помощью, конечно, не с таким эмоциональным напором, а с аристократической сдержанностью: «Можете Вы нам что-нибудь прислать? Булочник заявил, что с пятницы перестанет отпускать хлеб».

И все же надо понимать, что когда речь шла о нем самом и его здоровье, Маркс был склонен многое драматизировать, выставлять себя мучеником и жертвой обстоятельств. В апреле 1867 года он объясняет Зигфриду Мейеру, одному из организаторов секций Интернационала в США: «Почему же я Вам не отвечал? Потому, что я все время находился на краю могилы. Я должен был использовать каждый момент, когда я бывал работоспособен, чтобы закончить свое сочинение, которому я принес в жертву здоровье, счастье жизни и семью».

На такой патетический тон и высокопарный слог Маркс обычно переходил в письмах к соратникам, рассказывая о своих болезнях и уверяя, что находился между жизнью и смертью. Но странным образом он часто оказывался прикован к постели именно в то время, когда от него требовалась особая активность и открывалась возможность заработать на срочных публикациях для газет и журналов. Может, болезни были способом увильнуть от утомительной и малоинтересной работы?

И конечно, никак нельзя поверить, что он «каждый момент» использовал, чтобы «закончить свое сочинение». Этот неутомимый «труженик и трудолюб» мог не то что на месяцы — на годы! — забросить работу над «Капиталом». Но зато он находил время в письмах Энгельсу подробно, порой на нескольких страницах, пересказывать бытовые сплетни об их общих знакомых. А еще — переписывать и посылать другу непристойные стихи итальянского литератора Пьетро Аретино, поэтические опысы которого считались «символом разврата». В подобной литературе и фольклоре Карл, похоже, был весьма сведущ: он развлекал Фридриха фривольными описаниями из сатир французского поэта Ренье Матюрена, пересказывал ему скабрзные истории из итальянского и русского монастырского быта. И когда только он ухитрялся тешить себя таким чтивом?! Не тогда ли, когда с утра до вечера просиживал в библиотеке Британского музея, предоставляя Женни самой отбиваться от многочисленных кредиторов и выпрашивать в долг еду для семьи.

«Я смеюсь над так называемыми „практичными“ людьми и их премудростью. Если хочешь быть скотом, можно, конечно, повернуться спиной к мукам человечества и заботиться о своей собственной шкуре. Но я считал бы себя поистине непрактичным, если бы подох, не закончив полностью своей книги, хотя бы только в рукописи» — это из того же письма Мейеру. Какой лицемерный демагогический пафос и нелепая театральщина! Да, свои цели он с юных лет заносчиво измерял мировыми, всепланетными масштабами: «бороться за изменение мира», «трудиться на благо человечества». И свою жизненную ответственность связывал именно с «работой для человечества», но во многих случаях не принимая на себя личную ответственность — за смерть детей, разрушенную жизнь жены, жертвенную помощь друзей.

Когда Маркс писал это письмо, первый том «Капитала» уже был сдан в печать. Маркс заверил Мейера, что скоро появятся еще два тома: «Через год вся работа будет напечатана». Тогда ни у кого не было сомнений, что он действительно сумеет выполнить свое главное жизненное обязательство — «закончить книгу, прежде чем умрет».

Судьба отпустила Марксу еще 16 лет жизни. Вполне достаточно, чтобы выполнить свое обещание. Но, как мы знаем, свой труд он так и не закончил. Что же этому помешало? Ведь последние 14 лет его жизни — после того, как Энгельс стал выплачивать ему довольно солидную «пенсию», — прошли в комфортных условиях. Фридрих взял на себя основную часть работы в Интернационале и всю политическую переписку Маркса, чтобы у того появилось больше свободного времени. Уже не было необходимости отвлекаться на бытовые проблемы и заботы. Карл мог теперь в спокойной обстановке работать еще и дома: у него появился огромный кабинет.

Так продолжал ли Маркс работу над «Капиталом» или лишь имитировал ее? Он довольно много читал, делал объемистые выписки из прочитанного. Вот замечание Энгельса об их содержании: «Агрономия, американские и, в особенности, русские земельные отношения, денежный рынок и банки, наконец, естественные науки: геология и физиология, и, в особенности, самостоятельные математические работы составляют содержание многочисленных тетрадей Маркса с выписками».

По свидетельству Энгельса, Маркс в эти годы активно занимался изучением языков: «Помимо всех германских и романских языков, которые он читал с легкостью, он также выучил старославянский, русский и сербский». Невольно задаешься вопросом: а не были ли избыточными все эти его штудии? Так ли уж необходим старославянский язык для анализа капиталистического способа производства? Складывается впечатление, что Маркс попросту уклонялся от завершения «Капитала».

В эти годы он еще и много путешествовал, ежегодно бывал на курортах, подолгу гостил у замужних дочерей в Париже и Оксфорде. Время от времени, чему подтверж-

дением его письма, вспоминал о «долге перед человечеством» и возвращался к своему эпохальному труду. В 1879 году, то есть через 10 лет после того, как он заявил, что «через год вся работа будет напечатана», Маркс писал одному из своих корреспондентов: «Масса материалов, полученных мною не только из России, но и из Соединенных Штатов и т. д., дает мне приятный повод продолжать мои исследования, а не завершать их». Заметьте: никакой досады и сожаления, что работу не удастся завершить. А это было бы вполне уместно — ведь речь о книге, над которой автор к тому времени работал уже почти 35 лет, а его возраст и состояние здоровья решительно обязывали форсировать работу, а не всячески замедлять ее, да еще и находить приятным, что исследование никак не удастся завершить.

За Маркса это сделает Энгельс. Ему понадобилось полтора года, чтобы подготовиться к печати второй том. Изнурительная работа в буквальном смысле свалила Энгельса с ног. Отличавшийся крепким здоровьем, он впервые в жизни на целый месяц слег от нервного истощения. Но куда более тяжелым испытанием стала для него работа над третьим томом. Она заняла 10 лет! Энгельс был потрясен, разбирая бумаги Маркса, где были только первоначальные наброски, «часто запутанные заметки». В предисловии к тому Энгельс пояснял, что «вынужден был обрабатывать приведенный Марксом фактический материал и делать из него собственные, хотя и по возможности выдержанные в духе Маркса выводы». Так что Энгельса вполне можно считать соавтором этой части «Капитала».

Вскоре после смерти Маркса Энгельс писал Бебелю: «Вы спрашиваете, как получилось, что от меня держали в секрете, насколько закончена эта вещь? Очень просто: если бы я знал, я бы не давал ему покоя ни днем, ни ночью, пока она не была бы полностью закончена и напечатана». Для Энгельса было шокирующим откровением узнать, что Карл уже лет десять, как прекратил работу над «Капиталом». Их дружеские отношения всегда были предельно доверительными, открытыми. Но оказалось, что Маркс все эти долгие годы искусно маскировал свою бездеятельность, паразитировал на доверии и безмерной щедрости друга. Это было не просто притворством, а бессовестным и оскорбительным надувательством.

Непостижимо, как Энгельс, интеллектуально не менее одаренный, чем Маркс, а в литературном мастерстве и знании языков (он владел 20 языками!) во многом превосходивший его, не только согласился, по его собственным словам, «играть вторую скрипку в дуэте», но, по сути, подчинил всю свою жизнь служению семье Марксов. Фридрих был «живым кошельком» Карла фактически с самого начала их знакомства — без малого 40 лет. Биографы Маркса, основываясь на его переписке, подсчитали, что он получил от своего друга в общей сложности примерно 4000 фунтов стерлингов. Однако в этой сумме учтены лишь те деньги, о которых Маркс и Энгельс упоминали в письмах.

На самом деле денежная помощь Энгельса была куда более значительной. После окончательного его переезда в Лондон необходимости в частой переписке уже не было, поэтому «эпистолярный учет» переданных денег тогда почти прервался. Но Фридрих и после этого продолжал поддерживать семью Карла деньгами и многочисленными подарками, а после его смерти помогал еще и дочерям Маркса.

Решение Энгельса переехать в августе 1850 года в Манчестер и поступить на конторскую службу на текстильную фабрику компании «Ermen & Engels», совладельцем которой был его отец, — это, конечно, поразительное жертвенное самоотречение. Фридрих решил изменить свою жизнь, руководствуясь не столько личными интересами, сколько потребностями Маркса. Он взял на себя обязанность ежемесячно из своего жалованья высылать семье Маркса деньги, чтобы тот мог полностью со-

средоточиться на подготовке эпохального экономического труда, который призван — ни много ни мало — изменить мир.

Понимал ли Энгельс, что его великодушный порыв станет пожизненной миссией? Сначала Маркс говорил, что на работу над книгой уйдет несколько месяцев, потом рассчитывал завершить ее за год. Потом — за два. Но пройдет 5, 10, 15 лет, а Маркс все никак ее не закончит! И только в августе 1867 года первый том «Капитала» был закончен, а в сентябре издан. Практически в каждом письме Маркса к другу в эти годы — просьбы выслать деньги. Получив их, Маркс свою благодарность обычно ограничивал лаконичным «спасибо», а чаще всего лишь сухо уведомлял о получении денег: «половинки билетов прибыли» (высылаемые купюры Фридрих разрезал на две половинки и отправлял в разных конвертах на разные адреса, чтобы их не украли на почте). Подчас и сообщить об этом забывал, так что Энгельсу приходилось самому интересоваться, получил ли Маркс деньги.

Даже в самых неподходящих для этого ситуациях Карл мог довольно напористо наседать на друга Фреда, чтобы получить от него финансовую помощь. В январе 1863 года Энгельс сообщил Марксу о смерти своей гражданской жены Мэри, с которой они вместе прожили около 20 лет. Маркс в ответном письме в первых полутора строках выразил сдержанное сочувствие, а затем на целой странице многословно, входя в ненужные подробности, рассказал о своем отчаянном финансовом положении, рассчитывая, что Энгельс поможет его быстро поправить.

На это письмо Фридрих откликнулся не сразу — так он был ошеломлен черствостью Маркса. Задержку с ответом объяснил жестко и откровенно: «Ты, конечно, поймешь, что на этот раз мое собственное несчастье и твое ледяное отношение к нему сделали для меня совершенно невозможным ответить тебе раньше. Все мои знакомые, включая откровенных мещан, выказали больше сочувствия и дружеских чувств, нежели я мог ожидать. Ты же счел этот момент подходящим, чтобы проявить превосходство своего холодного образа мышления». То была единственная размолвка между друзьями. Маркс извинился за свою холодность, и дружеские отношения вскоре были восстановлены.

Этот эпизод очень выразительно и точно характеризует Маркса. Он часто искал для себя жалости, сострадания, снисхождения, но сам жалеть других и сочувствовать им по-настоящему не мог. Сергей Булгаков, несколько лет находившийся под сильным влиянием Маркса, позже напишет о нем: «Кажется довольно сомнительным, чтобы такие чувства, как любовь, непосредственное сострадание, вообще теплая симпатия к человеческим страданиям, играли первенствующую роль в его душевной жизни».

А вот Энгельса в этом упрекнуть нельзя. Он искренне сочувствовал другу и совершенно бескорыстно помогал его семье. Фридрих отправлял Карлу более половины своего фабричного жалованья: ежемесячно по 5–10 фунтов, нередко и больше, если Маркс ссылаясь на какие-то неотложные расходы. Когда Энгельс стал владельцем доли в компании, его помощь стала еще более весомой.

В работе на фабрике — и простым конторщиком, и управляющим — ничего вдохновляющего для Фридриха не было: контроль за бухгалтерской отчетностью, участие в деловых переговорах, ведение переписки. Да и жалование поначалу весьма скромное: 100 фунтов в год. Правда, решающим обстоятельством стал денежный «бонус» отца: тот согласился дополнительно выделять около 200 фунтов ежегодно — «на представительство и на жизнь» (сегодня это примерно 28 тысяч фунтов стерлингов).

Дочь Маркса Элеонора работу Энгельса на фабрике в Манчестере назвала «принудительным трудом». О том, насколько тягостной для него была эта работа, он и сам писал Марксу: «Я ничего так страстно не жажду, как избавиться от этой собачьей ком-

мерции, которая совершенно деморализует меня, отнимает все время. Пока я занимаюсь ею, я ни на что не способен».

Впрочем, когда Марксу требовалась, помимо денежной, еще и интеллектуальная помощь, Энгельс находил для нее силы и время. В начале 1851 года Маркс получил неожиданное предложение: стать лондонским корреспондентом популярной американской газеты «New York Daily Tribune». Поначалу он сомневался, стоит ли принять это предложение, поскольку тогда еще свободно не писал на английском. Однако Энгельс легко уговорил его, пообещав, что будет это делать за Маркса. Так и получилось. Только в первый год Энгельс написал для газеты 19 больших статей. Все они были опубликованы под именем Маркса. Разумеется, получал гонорары Карл. Свою первую статью для этой газеты Маркс написал лишь в августе 1852 года на немецком языке, поручив ее перевод Энгельсу. Подсчитано, что за 9 лет Энгельс написал за Маркса более 120 статей. Писал он их вечерами и ночью, часто после утомительной, выматывающей работы на фабрике.

Освободиться от тягостной службы Энгельс сможет только через 19 лет: продаст компаньону свою долю, оставит бизнес и переедет в Лондон, где будет снимать дом в 10 минутах ходьбы от Маркса. Прежде чем сделать это, проведет необходимую житейскую калькуляцию — напрямую спросит у Карла, какую сумму долгов необходимо оплатить за него и достаточно ли будет тому «пенсии» в 350 фунтов, которые он намерен пожизненно выплачивать Марксу. Помимо этого, Энгельс брал на себя «экстренные расходы на болезни и непредвиденные случайности». Так что его денежная помощь, как всегда, была адресована не только другу, но всей его семье, для которой он долгие годы оставался главным кормильцем и опорой.

* * *

Биографами Маркса его жизнь исследована самым подробным образом, распланирована чуть ли не по дням. И все же в ней немало белых пятен, загадок и тайн. Многие из них связаны с финансами семьи Марксов. Остается неясным, почему Марксы так долго бедствовали, не раз имея возможность заметно улучшить свое положение.

В начале 1864 года после смерти матери Маркс унаследовал более тысячи фунтов. Через несколько месяцев он неожиданно получает еще около тысячи фунтов — эти деньги и все свое имущество завещал ему скорострительно скончавшийся Вильгельм Вольф, близкий друг Маркса и Энгельса. В том же году большое наследство получил Энгельс, после чего он заметно увеличил денежную помощь Марксу.

Американский экономист-либертарианец Гэри Норт подсчитал, что доходы Маркса в 1864 году были в двадцать раз выше заработка среднего английского рабочего! Денег, которыми тогда он располагал, хватило бы, по меньшей мере, на пять-шесть лет безбедной жизни. Однако уже в июле 1865 года Карл жалуется Энгельсу на отсутствие денег и пишет, что опять пришлось заложить фамильное серебро Женни. Через пару месяцев в письме Кугельману он сообщает, что материальное положение семьи «до крайности ухудшилось» и его скоро ждет финансовый крах.

Что же случилось? Куда исчезли деньги? Есть предположение, что Маркс решил заняться биржевыми спекуляциями, в результате чего и потерял весь свой капитал. В июне в письме к своему дяде Леону Филиппу Маркс хвастливо рассказывал, что он на бирже «спекулировал американскими государственными процентными бумагами и английскими акциями» и получил 400 фунтов прибыли.

Правда, многие исследователи считают, что ничего он не выиграл и написал это только для того, чтобы произвести выгодное впечатление на дядю-банкира. Вероят-

нее всего, так и было, поскольку почти одновременно он пишет Энгельсу: «Если бы у меня в распоряжении были деньги в последние десять дней, я мог бы выиграть много денег на здешней бирже. Теперь опять настало время, когда при уме и некоторых средствах в Лондоне можно заработать». Получается, что обличитель и «могильщик» капитализма поддался соблазну легких денег и, вероятно, потерял на этом целое состояние — закономерный итог для человека, не имеющего биржевого опыта и знаний.

Это происходило не однажды: когда большие денежные суммы, которые появлялись у Маркса, чуть ли не мгновенно исчезали. Так было с его долей в отцовском наследстве. Так бывало и с деньгами, полученными от Энгельса. Он не раз деликатно просил, чтобы Карл соразмерял свои траты с его, Фридриха, жалованьем. Случалось, что даже открыто выражал свою тревогу по поводу больших расходов Маркса. Но тот и сам порой не мог объяснить, на что ушли деньги. А может, и намеренно это скрывал. Во всяком случае, от жены часть полученных им денег он точно утаивал.

В декабре 1873 года, находясь на курорте в Харрогите, он просит Энгельса: «Будь так добр, из 100 ф. ст. дай моей жене только 20 ф. ст., а 80 ф. ст. сохрани как резерв для меня». В России обычно такой «резерв» с пролетарской прямоотой называют «заначкой». А перед этим Маркс упомянул о расходах из ранее переданных денег: уезжая на курорт, он оплатил по счетам бакалейщику, торговцу пивом, за одежду дочери, проценты в ломбард. Из полученных от Энгельса 60 фунтов он передал жене на хозяйские нужды всего 5 фунтов (столько же, к слову, заплатил за пиво). Для себя Маркс оставил 23 фунта. Вот такой занятный расклад! Так распоряжался деньгами тот, кто писал о несправедливом распределении капитала!

«Где деньги, Карл?» — почти наверняка Женни часто вопрошала об этом мужа — то с гневом, то с недоумением, то с отчаянием. Этим интригующим вопросом и сейчас задаются многие историки и биографы Маркса. Гэри Норт, наиболее обстоятельно исследовавший доходы Маркса, утверждал, что «пенсия, которую Энгельс начал ежегодно выплачивать Марксу, позволяет отнести последнего к 2 % населения Великобритании, находившимся на самом вершине имущественной пирамиды». Но почему же тогда Маркс, несколько лет получая от Энгельса «пенсию», все еще выплачивал проценты ломбарду?!

Да, плата за аренду дома для семьи была весьма высокой. Да, Марксы стали позволять себе некоторые излишества: устроили несколько костюмированных балов, заказывали дорогие вина, деликатесы, заводили породистых собак. Сам Маркс во время своих частых разъездов проживал, как правило, в дорогих номерах городских и курортных гостиниц. И все же это до конца не проясняет, на что уходили деньги, которыми распоряжался Маркс в разные годы своей жизни.

Немецкий литератор и историк Фриц Раддац удрученно заметил: «Доходы и финансовые дела Маркса совершенно темны». Добавлю: и расходы тоже. В приходно-расходной книге его жизни нет многих страниц. И вряд ли их удастся когда-нибудь восстановить. Верный друг Фред уничтожил многие письма Карла, которые могли бросить тень на его подвижнический образ. По той же причине дочь Маркса Элеонора после смерти матери вырвала из рукописи с ее воспоминаниями четверть страниц. В мемуарах соратников Маркса его финансовая жизнь тоже не нашла подробного описания.

«Где деньги, Карл? Дай ответ!» Молчит Карл. Молчит история. Нет ответа. Язывительный Набоков устами одного из своих героев с насмешливой неприязнью высказался о Марксе: «Напрасно старался тот расхлябанный и брюзгливый буржуа в клетчатых штанах времен Виктории, написавший темный труд „Капитал“, обслужить богиню Клио». Однако надо признать, что Маркс все-таки сумел расположить к себе музу истории: она не только надолго сохранила его имя и его главную книгу, но, похоже, надежно скрыла и многие неприглядные эпизоды его жизни.

*К 84-й годовщине прорыва Балтфлота
из Таллина в Кронштадт*

Мария ИНГЕ-ВЕЧТОМОВА

«ИЗ ТАЛЛИНА ШЛИ КОРАБЛИ К ЛЕНИНГРАДУ»¹

Дождь с ветром, необъяснимость нас — на Петропавловке, но все здесь и тоже не верят — через столько лет — вспомнили про нас. Про них?

Ветер сдирал полиэтиленовые плащи, зонты были вывернуты еще внизу, беспечные от важности события, когда не думаешь о погоде, или равнодушные к ней натягивали на головы капюшоны и держали воротники. Оказавшееся рядом телевидение, хотя и приглашенное, но все равно неожиданное — нечасто их интересует невнятный патристический повод и лица, далекие от медийности, держало наготове микрофон и камеру. «Переход назвали прорывом», — сообщили потом газета с телевизором. Ну да, традиция нарушена. Мы и сами внутренне сопротивлялись, ведь привыкли по-старому.

С того самого августа 1941 года употреблялись наравне слова «переход» и «прорыв», в том числе и в отчетах участников и руководителей этой крупнейшей морской операции начального периода Великой Отечественной. Из окруженного фашистами Таллина вышли корабли и суда Краснознаменного Балтийского флота — они несли на своих бортах тыловые организации, раненых, жен и детей моряков, руководителей разного уровня, бойцов и краснофлотцев. Спасали ядро флота, выводили из базы и шли на защиту Ленинграда. Переход. Но по минам, под обстрелом с обоих берегов узкого Финского залива, с воздуха — это был прорыв. 225 кораблей и судов, 42 тысячи человек, 321 километр. До Ленинграда дойдут 163 корабля и судна, почти 27 тысяч человек. Погибли 15 тысяч человек, 62 судна. Прорывались с 28 августа по 7 сентября 1941 года. Потом балтийцы, вернувшиеся в базу в Кронштадт, защищали Ленинград, прорывали блокаду, снимали ее — вот она, корабельная артиллерия, — а кто-то дошел и до Берлина в 1945-м.

Мария Сергеевна Инге-Вечтомова родилась в Ленинграде. Научный сотрудник Государственного литературного музея «XX век», хранитель литературно-краеведческого музея Юрия Инге в Стрельне, руководитель РОО «Память Таллинского прорыва». Член РОО «Городской союз писателей Санкт-Петербурга». Автор публикаций в прессе, редактор и составитель нескольких книг. Награждена государственными медалями Министерства обороны РФ и общественными литературными, среди них «На встречу дня!» им. Бориса Корнилова. Живет в Петербурге.

¹ Стихотворение Александра Прокофьева, посвященное Юрию Инге. «Ленинград» (1946. № 3—4).

Невероятный выстрел из главного мирного орудия Ленинграда, града Петрова, произведен нами, потомками. Кто стрелял? Надо вспомнить. Позвали фотографироваться, и, надрывая голос сквозь мокрый ветер и мешающий полиэтилен, вдохновенно говорю в меховой огурец микрофона о логичной цепи событий, о нормальном ходе вещей, о традиции — мемориальный выстрел ставит — наконец — на свое (какое?) место беспримерный подвиг балтийцев. Юнга Мороз дернул спусковой крючок зенитки, Михаил Николаевич. Колоритный, с усами и наградами, ему сейчас 98 лет. Наверное, таких заслуженных россыпей орденов и медалей на кителе, как носили шеренги наших победителей, мы уже не увидим через несколько лет. Улыбающиеся в коричневые складочки у глаз, пропахшие «Беломором», счастливые оттого, что — мир — и они вернулись, в глубину боли утрат ухнув все чувства...

Они совершили свой осознанный, решительный подвиг 75 лет назад². Снимки в альбоме напоминают подписями: 72-я годовщина, 73-я, 74-я... В Стрельне вспоминали каждый год, не подписывая. Записано уже все давно внутри, серьезнее, глубже, больнее, намертво.

«Не улыбайтесь, повод не тот», — кричит мне знакомая активистка. На фото осталась улыбка со следами дождя. Дождь плакал с нами. До судорог лица мы улыбались разрешенной памяти, возможности вслух всем сказать: они с нами, мы собрались, мы говорим после десятилетий запретов, закрытости. С главной площадки нашего города говорим — по радио, по телевизору, с листка газеты и экрана Интернета о подвиге наших отцов и дедов — наконец можно. Эта победа досталась ох как тяжело. Слишком много положено жизней, а цель была одна — спасти флот, жизнь, Ленинград, страну. 15 тысяч. Жертва велика, но во имя любимых, любимой своей земли... Да, было очень страшно. 18 тысяч сохранявших самообладание, боявшихся, но осознававших ненужность этой жертвы, да и не думавших об этом, вернулись защищать своих детей, матерей, жен. «Лишь бы победить, непременно победим» — одна мысль у всех. Елена потом будет мучима «самым моментом его смерти»... «Помогал высаживать женщин и детей. Я сделал все, как он учил, и потому спасся» — записанные на бумаге слова вернувшихся.

«Россияне не забывают своих героев-мучеников». 15 тысяч погибших героев забыть нельзя. Мы третье поколение, кто помнит. Пока есть помнящие, память сохраняется. Как передать ее?

Мы помним — потому, что это внутренняя потребность совести, состояние мозга и сердца, заложенное воспитанием. «Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно, не уважать оной есть постыдное малодушие» — помним с детства.

А у них — невозможность поступить иначе, шли и гибли за Родину, она одна, вперед, русские не сдаются.

Начало Великой Отечественной войны, как давно... И как горько вспоминается теперь. Мы не присутствовали, там были только наши отцы и деды, но боль, сохранившаяся в кровной памяти семей, дает нам возможность и право видеть сквозь время и страдать, негодовать и ужасаться. Добытое в крови отцов право быть Россией, сильной и уверенной в себе, с восстановленной промышленностью, сельским хозяйством, со спасенными своими землями, с воспитанными в безусловной любви к Родине детьми, давно ставшими взрослыми, — все это теперь лишь воспоминания? В память о прекрасном и тяжелом прошлом и о героизме погибших и вернувшихся патриотов (patria значит родина) — наши встречи в Петербурге. Встречи потомков героев. Ежегодные теплые и сердечные встречи, выросшие на памяти, на горечи потерь,

² В 2016 году прошло 75 лет со времени прорыва КБФ из Таллина в Кронштадт.

да и на желании и надежде добиться внимания — памятника — достойного, соразмерного великому подвигу наших отцов и дедов.

Мы приветствуем однополчан, ставших друзьями! В очередном августе состоявшиеся мероприятия к 83-летию прорыва КБФ из Таллина в Кронштадт снова показали, сколь большую радость нам дают встречи, общая любовь и горе, возможность узнавать новое и вспоминать о наших родных, участниках обороны Ленинграда, тяжелых боев с фашистами, много десятков лет назад ставших победными.

Вас много, поддерживающих здравый интерес к сохранению памяти, да иначе и быть не может. Благодарим снова и снова каждого. Тех, кто приехал, тех, кто изда- лека отправлял нам добрые пожелания, кто думал о памятных событиях. Наши отцы и деды — фронтовики, «пулею и словом в дыму блокад», жизнью своей рождавшие Победу народа в Великой Отечественной войне и о которых мы знаем: они защити- ли Родину.

Так, может быть, их ненапрасную гибель будут помнить и без металла или камня, массовый героизм восславляющего? Почему же тогда в слове памятник корень память? Почему к ним возлагают цветы и плачут около них, вспоминают своих родных и исто- рию и помнят?

Полуденный выстрел с бастиона Петропавловской крепости — один из ярчайших символов морской столицы, всегда становится знаковой точкой встречи, ведь ежегод- ная традиция символизирует преемственность памяти о погибших героях. Так и в этом году, ставший ритуалом полуденный выстрел над невскими водами, выстрел памя- ти связал героизм давних лет борьбы с фашизмом и нынешний опять беспокойный день. О многом задумаешься, вспоминая отцов и дедов, свято веривших в полное унич- тожение фашистской гадины.

Фотографии, многофигурные, с флагами, у краснокирпичных стен крепости, ни- когда не служившей для обороны, лица на фоне шпиля — характерной приметы горо- да на Неве, вновь получились великолепными и оборачиваются связью времен и посто- янством. Они как запечатленная память. Сколько собралось соратников и однополчан, как нас всегда называл контр-адмирал Радий Анатольевич Зубков! Именно он своим авторитетом фронтовика и главного автора книги документальной истории Таллинско- го прорыва убедил нас в наших словах именовать переход прорывом. Молодежь, кур- санты под руководством потомственных моряков, поисковики, реконструкторы, вос- питанники подростково-молодежных клубов, организаторы школьных музеев и вете- раны Военно-морского флота...

Комфортно, на автобусах, с водичкой, столь уместной в жару и при естественном волнении, к следующей точке. Это мемориал — пушки крейсера «Киров» на Васи- льевском острове, на переставшей быть таковой Морской набережной, на площади Балтфлота. Сотрудники комитета, звукоусилительная техника и цветы для возложе- ния делают картинку торжества... Нас многие в этот день поздравляют с праздником, не подумав, что именно мы отмечаем. Почему-то принято сравнивать Таллинский прорыв с неудачными операциями русского флота. А если, что трудно, отвлечься от мо- ральной составляющей события, в процентном отношении Таллинский прорыв — это спасение флота, вывод бойцов и краснофлотцев на защиту Ленинграда, но и, без- условно, крупнейшая катастрофа.

Таллинский прорыв — это очень ленинградская тема, в любой аудитории находят- ся люди, связанные с ним хотя бы косвенно. Один из руководителей комитета — пото- мок погибшего на подводной лодке С-5 вместе со своими братьями по оружию 28 ав- густа 1941 года. Пусть этим объясняется внимание.

Студенты колледжа судостроения и прикладных технологий под руководством педагогов, одна из них — потомок участника Таллинского прорыва. Хорошо бы практика встреч сохранилась, молодежи это полезно и интересно, к тому же техникум и мемориал соседствуют более 30 лет. Техникум, выросший из ремесленной, а потом фабрично-заводской школы при Балтийском заводе, существовал с 1880 года, а мемориал поставили в 1990 году. Ребята — выпуск за выпуском — понемножку вникают в разные стороны романтики моря. Депутат ЗакСа, выпускник училища им. Фрунзе (а до того еще и нахимовец), произносит понятную патриотическую речь. Его участие стало традицией. Военно-морской историк, преподаватели — это все люди заинтересованные, понимающие, о чем речь.

Здесь же, у пушек главного калибра крейсера, оператор ТВ-компании «Морские вести». Следующая точка встреч — у Морского порта. Традиционно совместно с портовиками мы проводим еще один митинг. Представители порта всегда тепло принимают нас — шумный и не особенно стройный коллектив разновозрастных потомков и молодежи. Видно, что не по протоколу, а от души. Помогает провести встречу пресс-атташе порта — рассказы о событиях, публикуемые пресс-службой организации, привлекают интерес детальным и глубоким описанием события.

Присоединяются студенты и сотрудники ГУМРФ им. адм. С. О. Макарова. Даже если они просто поддержали акцию, это даст им ответ на вопрос: зачем? Центр патриотического воспитания ГУМРФ готовит со студентами небольшие исследовательские работы об участии выпускников Макаровки в прорыве КБФ в Кронштадт. Музей учебного заведения хранит многие артефакты, напоминающие о событии. Всегда хочется, сломав торжественный строй, побежать и посмотреть в глаза этим прекрасным смелым людям, увы, лишь на фото: капитану Щетининой, капитану Смирнову, капитану Миронову, второму помощнику Загоруйко, старшему механику Фурсе, капитану Виноградову, штурману Парфенову, механику Аникину и многим, многим.

Правнуки участников Таллинского прорыва, одетые в настоящую форму советских военных моряков, точно чувствовали всю полноту ответственности, робко и неуверенно впервые стоя в почетном карауле у памятника героям Великой Отечественной и дополняя строй курсантов-моряков. Преклонив колена, дети искренне возложили цветы к мемориалу, в основании которого высечены названия судов, защищавших от фашистов Ленинград и погибших в водах Балтики. На одном из них погиб и их прадед. «Слава балтийцев — она на века» — был уверен он еще до Отечественной войны, пройдя финскую.

Процессия движется в Стрельну. В библиотеке семейного чтения им. Ю. Инге нас ждут всегда. Руководство библиотеки радуется прибытию такого солидного числа гостей в знаменательный день. В музее Юрия Инге — 30 стульев, больше не помещается, столько же гостей размещается в просторном холле, где накрыт чайный стол.

Гостей Стрельны приветствует руководитель администрации поселка, окружает вниманием, угощает чаем с печеньем, вручает грамоты...

Экскурсия, приветствие вокального ансамбля подросткового клуба, военные песни, которым подпевают все, зная наизусть любимые слова. Некоторые даже прошли туром вальса по холлу и очень радовались такой возможности.

В Стрельне мы успели презентовать два номера альманаха «Второй Петербург» с воспоминаниями Петра Панина, участника Таллинского прорыва, защитника Ленинграда, — его дочь специально приехала на мероприятия из Екатеринбурга. Как здорово, что каждый раз удастся что-то сделать полезное. Слово берет заслуженная активная участница нашей семьи потомков Татьяна Петровна Сергеева-Джуржа. Ка-

питан первого ранга Василий Павлович Джуржа, последний участник Таллинского прорыва, с которым мы были знакомы, покинул нас два года назад в возрасте 102 лет.

Второй день марша памяти традиционно посвящаем Кронштадту. Торжественное прохождение моряков по Якорной площади города морской славы, возложение цветов к Стене Памяти, вдумчивые речи официальных лиц и потомков — серьезные составляющие торжественно-траурного митинга. Многие традиционно организовано руководящей командой администрации Кронштадта, как и должно быть. Снова благодарим ответственных людей, Кронштадтский Дворец культуры, равнодушных кронштадтцев, каждого по имени, за сердечное отношение к памяти!

Глава МО наш давний друг и помощник. Незаметно направляя, мудрая руководительница не только двигает людской поток по брусчатке Якорной площади, но и поддерживает добрым словом. Именно благодаря Наталии Федоровне Чашиной мы узнали давние традиции памяти о Таллинском переходе КБФ в Кронштадте. Помощник руководителя муниципального образования, профессиональный фотограф-художник Александр Шеин делает редкие по красоте и душевной точности снимки, фиксируя память.

Парк «Патриот» Ленинградского военного округа традиционно тепло распахивает для нас свои старинные Петровские ворота. Директор, сотрудники рассказывают о парке и проводят ветеранов к Аллее адмиралов, где несколько лет назад мы посадили сирень (спасибо БФ «Достойная память»). Экскурсия великолепна, и правда есть что посмотреть: Петровский лекторий, яблоневый сад с согнутыми под тяжестью сочных плодов (угостили!) ветками, бюсты адмиралов — мы всегда выделяем для себя «наших» героев Н. Г. Кузнецова и С. Г. Горшкова. Увидели свои кустики сирени, отметив, за какими скульптурами мы их посадили, — каждый помнит свой и товарища. Что-то медленно растут, надо съездить и удобрить не только слезами памяти. Затем — к площади якорей, выставкам заслуженной боевой техники и детского рисунка на тему блокады.

Руководители, педагоги и учащиеся который год участвуют в наших акциях памяти. Морская семья потомков балтийцев с удовольствием принимает школу-интернат в свои объятия. Мы рады приглашениям «Красных зорь» и с готовностью откликаемся на предложения выступить у ребят с беседой, выставкой или просто заглянуть в гости. То же можем сказать и о клубе «Патриот» школы № 323 — дружим давно, осознанно и крепко! Кстати, когда бы не ограничения по местам в автобусах, мы бы заняли всю площадь включившимися в тему друзьями и активистами.

Отличным моментом стал прием детей в юнги, что предложил и провел наш давний друг контр-адмирал Кирилл Алексеевич Тулин. Чуткое, наставническое отношение к детям сделало церемонию не формальной, а серьезной и настоящей. Дети поправили пилотки советского образца, выпрямились, подтянули форменки, почти настоящие галифе на мальчишке стали еще более историческими, флажки в руках задрожали, дети выпрямились, чувствуя важность происходящего. Их дело — хранить память и быть настоящими наследниками своих героических дедов. Так зародилась традиция. Кирилл Алексеевич каждому пожал руку и сказал несколько важных слов. Лариса Александровна Баженова, дочь политрука А. М. Малышева с эсминца «Артем», напутствовала детей со слезами на глазах.

О Ларисе Александровне особо. Ее отношение к памяти о Таллинском прорыве лучше всего показывает необходимость наших встреч. Лариса Александровна пропустила несколько наших мероприятий, а в этом году с новыми силами вернулась в свою фронтовую семью.

Литургия в Никольском морском соборе, проведенная на втором ярусе, — это важный трогательный и душевный момент традиционных встреч потомков героев — выживших и погибших. Кто в море не ходил, тот Богу не маливался, говорят моряки. Памятные настенные плиты с именами наших балтийцев были освящены пламенной молитвой причта храма. Сослужил и наш друг и наставник, мастер меткого патристического слова профессор Владимир Василик. Огонь в память о наших героях — неугасим.

Затем новая для нас экскурсия в Остров фортов. Администрация Кронштадта, руководители и сотрудники ее подарили нам такую прогулку! Крупнейший музей военно-морской славы России встретил нас приветливо. Полноценная экскурсия по всему первому этажу — удивительно, как ее осилили ветераны! Память придает силы. Потомки героев Первой особой отдельной бригады морской пехоты сделали запоминающееся совместное фото у подлодки К-3. Валерий Касьянов, Алексей Кутейников, Борис Зубкович, Николай Замлелый отлично смотрятся на фото. Москва, Петербург, Карелия, Белоруссия на снимке, а 80 лет назад — их отцы и деды на борту одного корабля, над минами, под пулями... Память живет, ветераны ВМФ из Петербурга к 80-летию освобождения Минска совершили памятный автопробег Санкт-Петербург—Минск. Общественная организация «Память Таллинского прорыва» провела очередной 13-й Литературно-патристический конкурс «Читаем Инге» и «Слава балтийцев», в котором приняли участие и белорусские школьники. Особенно приятно было видеть ребят из города Осиповичи, который давно побратим Кронштадта.

Показали мы и выставку «Корабли — герои Таллинского прорыва», подготовленную заведующим и сотрудниками филиала ЦВММ «Кронштадтская крепость». Около выставки, показывая «свои» корабли, наши потомки участников Таллинского прорыва Борис Зубкович и Татьяна Дегтярева-Панина рассказали о своих отцах, а Татьяна Сергеева-Джуржа — о муже и дедушке, которые участвовали в Таллинском прорыве.

После этого аккорда контр-адмирал Тулин сделал вывод, что он наш навсегда!

Много интересного рассказывали реконструкторы и коллекционеры, а писатель, редактор журналов Игорь Шумейко, специально приехавший из Москвы, впитывал информацию. Как не поблагодарить друзей за помощь! Нину Ивановну Симонову любят все — она душевный сподвижник, направляет молодежь в нашей работе, да и вообще без нее как без рук! Ирина Маркова — поисковик и дайвер из Соснового Бора, Михаил Иванов — историк Разведывательно-водолазной команды, это по его идентификации всех кораблей маршрута Таллин—Кронштадт добыли грунт с места гибели судов и кораблей, Нонна Ракомса — уроженка Таллина, дочь балтийца и военной медсестры, Светлана Этигон — внучка погибшего за Отечество, Александр Лупанов — потомственный военно-морской врач, полковник, сын балтийца, Валерий Шагин — внук участника Таллинского прорыва и одной из попыток прорыва блокады под Шлиссельбургом, Алевтина Шиманская — руководитель школьного музея боевой славы из Петергофа, Анастасия Валгина — потомок, Евгения Рыбкина — внучка сподвижника изобретателя радио А. С. Попова, Петра Рыбкина — нас много единомышленников, и мы теперь друзья. Спасибо всем и тем, кто не может приехать. А мы не можем не улыбаться.

«Что для вас августовские встречи памяти Таллинского прорыва?» — спросили мы потомков участников этой операции и услышали следующее:

- Это для нас большие и памятные события. Встреча с уже ставшими родными людьми, экипажем. Общение с молодежью и новые знакомства с порядочными, знающими и любящими историю родного Ленинграда, Балтфлота, ценно и бережно хранящими память о близких участниках прорыва.

- Замечательные дни памяти, всегда запоминающиеся и интересные. Нужно хранить память о предках, их подвигах и трагедиях. И эти даты самое то, что нужно.
- История, Память!!!
- Общение с замечательными людьми, для которых память не пустой звук.
- Обязательный долг памяти современников перед мужественно сражавшимися моряками-балтийцами и гражданскими людьми.
- Возможность встретиться, познакомиться прямым потомкам участников прорыва, а также всем неравнодушным.
- Возможность привлечь молодые поколения (курсанты, школьники, волонтеры) и современные средства массовой информации к этому трагическому событию.
- Личная благодарность основателям патриотического движения потомков прорыва, которые прилагают большие усилия по сохранению исторической памяти.
- Возможность почтить память погибших героев, посыл следующим поколениям.
- Возможность приобщиться к братству потомков и чувство гордости за свою Родину и ее героев.
- Прорыв — это героическое событие для нашего флота.
- Правильная история сохранения своих корней и памяти предков, рода.

Юрий ИНГЕ
(1905—1941)

Юрий Алексеевич Инге родился в Стрельне, начинал как поэт в журнале «Ре-зец». Корреспондентом газеты «Красный Балтийский флот» погиб вместе с ледоколом «Кришьянис Валдемарс» 28 августа 1941 года при Таллинском прорыве Краснознаменного Балтийского флота.

ПОГРАНЗАСТАВА

Зеленые тесовые ворота
И домики стандартные из бревен;
Здесь бег минут стремительно неровен
И отдых караульного короток.

Здесь бор таит суровое величье,
И кажутся таинственными ели,
И пенье чье-то слышно еле-еле, —
Не угадать — людское или птичье?

Покинешь эти чащи и поляну,
А в памяти все ярче и дороже
Трава и мох протоптанных дорожек
К поросшему брусникою кургану.

Сюда приходят жены начсостава
Курган украсить ветками простыми,
Цветы кувшинок посылает с ними
Морская пограничная застава.

Здесь белые когда-то побывали,
И наш комдив был тут замучен подло,
Здесь коммунистов связывали по два
И в безоружных пачками стреляли.

Здесь служат люди, видевшие это,
Здесь наш рубеж, омытый братской кровью...
Молчит застава. Люди наготове,
И время приближается к рассвету.

И знали все на тихом полустанке,
Что будет день — последний день заставы.
Он наступил, и с воинскою славой
Прошли рубеж стремительные танки.

Пусть в памяти навеки сохранится,
Как был убит на берегу залива
Отважный сын покойного комдива
В тот день, когда мы перешли границу.

А поутру его похоронили,
И полк стоял у гроба по уставу.
Мы не забудем старую заставу
И поколенья, спящие в могиле!

1940, Кронштадт

БОЕВОЙ ЛИСТОК³

Я стал очевидцем того героизма,
Которым гордился семнадцатый год,
Я видел приборов замерзшие призмы
И флот, уходивший в ледовый поход.

Бушлатов и шуб отвердевшие полы,
Облепленный снегом и льдом дальномер...
Пять суток не спал пулеметчик веселый,
И всех увлекал его личный пример.

Чуть слышно хрипели гудки и сирены,
И лопались тонкие струны антенн,
Борта кораблей содрогались от крена,
Но не было страха у вахтенных смен.

У флота почетное Красное знамя, —
И скажет, гордясь, комсомольцев семья:
«Ледовый поход был проделан отцами,
А этот поход провели сыновья!»

³ Это стихотворение нашли в боевом листке на ступенях Рейхстага в победном мае 1945-го.

До службы на флоте на мирных рыбалках
По взморью водили они каюки,
Так пусть же с листовкой времен Центробалта
Музей сохранит боевые листки.

В ней клятвой писали горячее слово
Минер, политрук, краснофлотец и кок:
«К боям до последнего вздоха готовы,
Противник получит наглядный урок!»

Года пролетят, мы состаримся с ними,
Но слава балтийцев — она на века.
И счастлив я тем, что прочтут мое имя
Средь выцветших строк боевого листка.

1940, Кронштадт

У ЗАЛИВА

Сколько раз вдыхал я горький запах
Камышовых бухт Ораниенбаума,
Слышал скрип соснового слагбаума,
Скрежетанье якорей трехлапых.

До конца осенних навигаций
Пароход будил меня сиреной,
Волны бились радужною пеной
Так, что к ним хотелось прикоснуться.

И казалось, с поездом последним,
В умолкавшем грохоте вокзала
Тишина, как море, прибывала,
Свет мерцал на берегу соседнем.

Лишь листва в полуночном покое
На ветвях чуть вздрагивала серых,
И в саду морских пенсионеров
Плыл туман над клумбами левкоя.

Там, рукой притрагиваясь хрупкой
К листьям отцветающего лета,
Бродит штурман с грозного корвета
И дымит прокуренною трубкой.

Он жалеет, что уедут скоро
В долгосрочный отпуск из Кронштадта
Стариковской выучки ребята —
Краснофлотцы нового линкора.

Слышит песен, никогда не петых,
Вдалеке стихающие звуки,
Жмет он внукам бронзовые руки
И дает прощальные советы.

Поколений выучил немало
Старый штурман парусного флота;
Он питомцам не запомнит счета, —
Сколько у него их побывало!..

И кому здесь проезжать придется —
Заходите к старикам поспорить,
Это — деды наших краснофлотцев,
Ветераны сумрачного моря.

1937–1939, Кронштадт

СТАРЫЙ КОРАБЛЬ

Проржавев от рубки до заклепок,
Он свое отплавал и одрях...
Снег лежит на палубе, как хлопок,
Ночь стоит на мертвых якорях.

Этот крейсер, ветхий и невзрачный,
Он давал четырнадцать узлов,
Но теперь от времени прозрачны
Стенки износившихся котлов.

В кочегарке бродит без опаски
Старая откормленная мышь,
По отбитой многослойной краске
Возраст корабля определишь.

Борт шершав от пластырей и вмятин,
Тряпки сохнут в путанице рей,
Он угрюм и даже неопрятен —
Старый предок наших кораблей.

А из порта движется эскадра,
И смеется флагман, говоря:
«Я на нем служил три года в кадрах,
Этот крейсер знают все моря!

Он когда-то был последним словом
Кораблестроительных наук.
Много лет он нам казался новым, —
Старость замечаем мы не вдруг!»

И мечталось флагману в походе,
Что когда-нибудь изобретут
Новый флаг в международном своде:
«Отставному крейсеру — салют!»

1940, Кронштадт

ЭСМИНЦЫ УХОДЯТ В ПОХОД

Сегодня эсминцы уходят в поход, —
Прощай, дорогая подруга!
Сквозь шторм и туманы,
Сквозь стужу и лед
Ударим с востока и юга.

На острове Сескар светлы маяки,
Их стекла прочищены нами,
Тут славно работали наши штыки
И бомбы рвались над волнами.

Как долго пришлось нам до этого дня
В Кронштадте стоять на приколе,
Пополнив запас боевого огня,
Прошли мы сквозь минное поле.

Сегодня эсминцы уходят в поход, —
Не плачь, дорогая подруга!
Когда краснофлотцам прикажут — вперед,
То встречным приходится туго.

Повсюду морской артиллерии гром, —
Кто хочет гостинца — отведай!
В Кронштадтскую гавань мы скоро придем,
Комфлот нас поздравит с победой.

Нас девушки будут, как водится, ждать
В аллеях Петровского парка,
И мы им расскажем, что было опять
В сражение достаточно жарко.

Сегодня эсминцы уходят в поход, —
Ну что ж, до свиданья, подруга!
Как наша эскадра врага разобьет —
Увидят Кронштадт и Усть-Луга.

Ракета взлетела над строем судов,
Прислуга стоит по уставу,
Огонь и осколки бетонных фортов
Взлетели и слева, и справа.

Отбой. Все утихло в тумане густом,
Опять корабли на рогатке,
И радостно нам говорит военком:
«Теперь отдыхайте, ребятки!»

Тяжелые веки слипались у нас,
Но быстро закончился отдых, —
Военное время и новый приказ
Флотилии флагманом отдан.

И снова эсминцы уходят в поход,
И снова не спят краснофлотцы.
Подруга, увидимся, — время придет,
И песня иная споется.

1939, Кронштадт

ПОРОХ

Придет пора: заплесневает порох,
Исчезнут деньги — зависти исток,
Исчезнут даже люди, для которых
Придуман смертоносный порошок.

Наступит день, и мой великий правнук
Закончит дело, начатое мной,
И наших дней торжественную правду
Он назовет последнею войной.

Не зная, как на поле битвы горек
Вкус бьющей горлом крови и слюны,
Он подойдет бесстрастно, как историк,
К неповторимым ужасам войны.

Все это взяв частицей пережня,
На коем мир спокойствие воздвиг,
Он все, сегодня созданное мною,
Использует как первый черновик.

Наступит день: и труд мой, как основа,
Понадобится будущим векам,
Я мысль свою, заверстанную в слово,
Как эстафету в беге передам.

Двадцатый век идет в военных сборах,
С оружием мы на рубежах стоим...
Придет пора... Но нынче нужен порох.
Сегодня он еще необходим.

1941

К 100-летию Р. П. Погодина

Татьяна КУДРЯВЦЕВА

ВОЛШЕБНЫЕ ДОНЫШКИ РАДИЯ ПОГОДИНА

16 августа 2025 года исполняется сто лет прекрасному ленинградскому писателю Радио Петровичу Погодину, фронтовику, лауреату Государственной премии РСФСР, автору книг для детей и взрослых.

Он был моим Учителем, собрал нас в семидесятые годы в своей Мастерской и делился тем, что познал сам. Он ушел в 1993-м, но если открыть сейчас любую его книгу, удивись, насколько она актуальна. Написанное им — вне Времени. Его сочинения не просто читают — перечитывают.

Последние его страницы «Из записных книжек» «Каждый день у воды» были опубликованы именно в «Неве». Это объясняет мой сегодняшний выбор.

А «записные книжки» родились так. Дневников Погодин не вел, но записывал мысли на случайных бумажных листках. Мыслей было много. После его смерти вдова Маргарита Николаевна в разных местах дома находила эти мысли-записки. Их набралось около четырехсот. Она бережно перепечатала их, сложив в единую книгу. Публикация в «Неве» родилась благодаря ее усилиям.

Радий Петрович был не только настоящим писателем, но и редким человеком. Мудрым, щедрым и мужественным. Он ушел на Великую Отечественную войну совсем юным, а вернулся с четырьмя орденами. Как тогда говорили: «Две Славы, две Звезды».

Поразительно, как детская фотография способна высветить человеческую суть: коротко стриженный лобастый мальчик со светлыми глазами смотрит на тебя с высоты своих 11 лет. Он не лыком шит, лоб настолько упрям, словно он собрался бодаться. А взгляд — прямодушен. Видно, как он сосредоточенно думает, как концентрирует мысль. Глаза широко расставлены, как у всех бесхитростных людей...

Сначала этот мальчик жил в новгородской деревне, жизнь вокруг была цветная: петухи, коровы, собаки, кошки, жеребята, мышата бродили рядом, и у каждого была своя сказка. Только надо было сказки эти услышать и запомнить. Мальчик услышал и запомнил! Потом он жил в городе, вокруг царили дворцы, каналы, мосты и библиотеки. Мальчик замечал красоту, впитывал ее в себя, открывал в книгах бесконечный мир, который завораживал.

Его детство и юность защитили его потом на войне, потому что дальше этот мальчик жил на войне. Когда она началась, ему было пятнадцать лет, через два с полови-

Татьяна Александровна Кудрявцева — детская писательница, член Союза писателей России, лауреат Международных премий имени Михалкова, Гоголя, Гофмана.

ной месяца, когда ему исполнилось шестнадцать, фашисты уже встали кольцом вокруг Ленинграда. А дальше была нестерпимая беда — блокада. Мальчика вывезли из блокады чуть живого, но едва оправившись, он ушел на фронт. И стал разведчиком. Он вернулся с войны в девятнадцать лет, и у него было четыре ордена — две Славы, две Звезды. Ну, и медали, конечно. Это очень много: награды тогда просто так не давали. Ранения тоже были, три ранения, но кто думал в те дни о ранениях — все думали про Победу. Он участвовал в боях под Яссами, освобождал Люблин, Варшаву, брал Берлин...

Война научила его мужеству, научила ценить жизнь и те ценности, которые называют вечными, научила смертельной верности тому, что любишь. Вернее, развила в нем эту верность до абсолюта.

Так он стал взрослым.

Он был несовременен в том лишь смысле, что не умел предавать.

У него отняли военные награды, когда он получил пять лет лагерей — за Зощенко и Ахматову. Все произошло предельно просто. Бывший сержант служил в «пожарке», и когда на собрании (те «всесоюзные» собрания происходили и в «пожарках» тоже) начали клеймить опальных литераторов, имел неосторожность за них заступиться. Хорошие, мол, писатели, я знаю, я читал. И добавил молодо-запальчиво, что читать их будут и через двадцать лет, и через тридцать. Этого было достаточно, чтобы покарать. И отнять военные награды, бесстрашно добытые мальчишкой у смерти на краю. В чем, в чем, а в стукачах в стране никогда не было нехватки.

Его словно пытались отлучить от литературы. А он именно к ней и пришел. Отношения его с литературой не могли быть простыми, как не был прост он сам. Его представление о добре и зле не совпадало с общепринятой расхожей меркой. Не умещалось в ней.

Есть в этом некий перст судьбы. Есть характерная для него непокорность. А может, он просто хотел «перейти речку вброд»... Одна из его книг, кстати, носила именно такое название. Именно за нее он получил Почетный диплом Международного совета по детской и юношеской литературе имени Ханса Кристиана Андерсена, первым в нашей стране. А потом за книжку «Лазоревый петух моего детства» его удостоили Государственной премии РСФСР имени Крупской. Это одна из моих любимых его книг. А еще «Кирпичные острова». Хотя о чем это я? Все книги этого писателя для меня главные и знаковые.

Герой «Кирпичных островов» мальчик Кешка, если ему больно, всегда поет. Я прочла про Кешку, когда была маленькая, и потом всегда в минуту боли и горя начинала петь. Чтобы не стонать и не жаловаться. Я сообщила об этом писателю, когда мы с ним познакомились. По-моему, он хотел улыбнуться, но сдержался. Наверное, чтобы меня не обидеть. Лет-то мне было совсем немного.

Между прочим, он сказал мне за день до этого, что будет ждать меня на улице со своей сиреневой собакой, породы керри-блю-терьер. Я очень удивилась тогда и решила, что все сказочки — ужасные фантазеры. Ведь рядом с писателем я увидела абсолютно черную собаку. Мне понадобилось несколько лет, чтобы разглядеть ее настоящий цвет. Алан (так звали пса) бежал однажды по зеленой траве, а солнце садилось прямо в траву, и я поняла, что Алан и правда сиреневый. Мне стало ясно, что сказочки ничего не придумывают, просто видят истину раньше других людей. А мой Учитель (о счастье! — он взял меня в ученики) был настоящим сказочником.

Ученики бывают не у всех писателей. Лишь у тех, кому не жалко тратить самого себя на других людей. Но Погодин и расчет были две вещи несовместные. Наш Учитель имел щедрый дар, ему было чем делиться. Острым зрением художника, напри-

мер. Мудростью совестливого человека. Верой и надеждой. Он был ближе многих к светлым временам, потому что веровал в свет души. И видел этот свет в детях. В том числе в нас, своих учениках.

Радий Петрович собрал нас в Мастерской, где он писал свои книги и картины. Этот писатель был еще и дивным живописцем. Я вижу сейчас все эти картины перед глазами, потому что помню их наизусть, такие они яркие и глубокие. Вот, например, Жирафенок входит в старый петербургский двор-колодец. Посреди двора — огромная лужа. В ней отражается все: окна, цветочные горшки, ноги. Не отражается только Жирафенок. Потому что он — чудо. А чудо не имеет отражения...

Нам, совсем молодым литераторам, казалось, что мы много чего можем. На самом деле мы не умели пока ничего. Мы говорили с ним про литературу, пили чай с сухими и сочиняли свои первые произведения.

Это было счастьем — показывать ему все, что написали. Показывать было страшно и весело — все равно как мчаться с горки на велосипеде. Крутишь педали, летишь, но очень опасаясь шлепнуться носом. Он, надо заметить, нас щадил и придерживал, чтоб не шлепнулись. Он был горячий человек, но с нами всегда говорил терпеливо, объясняя по нескольку раз то, что сам давно понял. Происходило чудо: горка-горюшка оборачивалась горой, и нам становилось видно — и куда идти, и зачем, и где линия горизонта...

Его рассказы, сказки и повести — тоже его дети. В каждом из них тоже — свет.

Он написал сказки и про Жеребенка Мишу, и про мышонка Терентия, и про воробья Аполлона, и про поросенка Ваську, и про Змея о трех головах. А еще поразительные рассказы и повести для взрослых, которые тоже кажутся мне сказками, точнее, мифами, как у древних греков. В каждом его произведении литература сплетается с историей так естественно и мудро, что воспринимается как натуральный факт вечной жизни.

Книги Погодина не просто читают, их перечитывают. Написанное им имеет густую плотность мысли. Вместе с тем образы настолько точны, будто выписаны тонким перышком, на лету. Возникает ассоциация с гениальным плотницким топором, сработавшим над заповедным русским озером хрупкое многокупольное чудо, без единого гвоздя.

По сути, творчество Погодина и есть возведение Храма. Храма души. Он говорил о себе, что занимается мифотворением, иконописью: «Иконопись для меня — мифотворение. Я сознаю, что герои мои — люди святые. Пишу о человеке прекрасном. При этом уверен, прекрасен не просто человек, но миф о человеке. А чтобы сотворить о человеке миф, надо увидеть красоту человеческую...»

Его друг, многоцветный, праздничный художник Завен Аршакуни, рассказал мне однажды, как Погодин пытался вдохнуть душу в старую мельницу в валдайской деревне. Хотел ее купить, чтоб она работала для людей. Жаль, что не вышло... Деревня стоит между двух рек. Там так красиво, что дух замирает: высокое небо, высокие деревья, высокая трава... Аршакуни и Погодин ездили в эту деревню — думать и писать. Пером и кистью. История с мельницей — очень характерный для него поступок. Мельница причастна к хлебу. Стало быть, к жизни. Она не должна пустовать. Как и Храм. На первый взгляд такая философия близка постулатам христианской веры.

Но по своему мироощущению был он, скорее, язычником, солнцепоклонником. Отношения со Спасителем у Погодина тоже существовали непростые. Он не умел смиряться. Был для этого слишком активен. Святость, Бог воплощались для него в высшей совести.

Жизнь — совесть. Творчество — совесть. Вера — совесть. Троиединство совести. Это то, чего так не хватает нам сегодня. И без чего невозможно жить дальше.

Вчитываясь в его строчки, постигаешь красоту, которая на Руси извечно произрастает через страдание.

Искренность его героев сродни целомудрию. Она и от читателя требует искренности в ответ. Оставаясь с его героями один на один, ощущаешь себя будто на исповеди. Не очень-то уютно для современного человека, но без осознания греха не бывает очищения.

В его посмертных записках, опубликованных в «Неве», есть такой фрагмент:

«— Что творится?

— Догоняем.

— В каком смысле?

— В смысле человеческого сознания. Чтобы собирать камни, нужно было их сначала разбросать.

— Но мы же бросали.

— Мы бросали в одну сторону. В небо. А все камни, брошенные в небо, попадают в цель. Они убивают...»

Его роман «Я догоню вас на небесах», на мой взгляд, лучшее произведение о ленинградской блокаде. В нем нет уныния, есть хрустальная прозрачность истины. Дух превалирует над немощью измученного тела. Пронзительное чтение, оно словно высвечивает душу изнутри, помогая превозмочь морок сегодняшнего дня. Еще одно подтверждение того, что истинная литература не отдаляется со временем, она приближается к нам.

В последнем его стихотворении есть такая строка: «Жизнь — осознание дара».

Эта мысль — корень всему. Для Погодина жизнь и литература были одним целым — осознанием дара.

Осознание дара — крестный путь. А дорога к Богу у каждого своя. Стихи прозаик Погодин начал писать за два года до смерти. «Я некрещеный, но когда я помру, поставьте крест на моей могиле, это и будут мои крестины».

Мысль эта созвучна православным канонам: смерть есть второе рождение.

Смерть ирреальна. Наш разум не умеет ее постичь. В сущности, как и счастье. С той лишь разницей, что счастье раздвигает Вселенную, а горе суживает. В одной из погодинских сказок есть строчка, точно пророчество о себе самом: «И ушел в апрель по воробьиным тропам, по лазерным лужам...»

Так и получилось. Весна норовила перескочить из мокрого марта в звонкий апрель. Весна торопилась, а он уже не поспевал за ней. Он ушел 30 марта.

Хоронили Радия Петровича в самом начале апреля. Утро выдалось сырым и безмолвным. Ни солнца, ни дождя, ни птичьего взмаха, точно в природе остановились часы. Снег только-только начинал таять. В могиле было полно воды, пришлось наломать веток и поставить гроб на ветки, вычерпав воду ведром. Двое его друзей, сначала один, потом другой, сняли обувь и, встав босыми ногами на ветки в могильную яму, вычерпывали иссиня-ледяную воду, сколько хватило сил...

Я долго не могла написать об этом дне. На осознание того, что смерть — второе рождение, у меня ушли годы. Прошедшие после смерти моего Учителя. Смерть действительно ирреальна, она сужает Вселенную до пространства креста. Вместе с тем нет ничего реальнее смерти, она обнажает истинную цену вещей.

Последний день жизни высветил в Погодине-человеке сокровенную суть, она столь же высока, что и страницы его прозы.

Вечером мне позвонила Маргарита Николаевна, жена его и друг, сказала: «Приходи скорее. Он зовет». И я побежала, не дожидаясь троллейбуса и не разбирая дороги. Зажимая в горле крик и наступая в лужи. Луж действительно было много. Были ли они лазоревыми? Может быть... Но в тот момент я не различала цвета.

Неотвратимость нависла в конце тоннеля кованой стальной дверью.

В доме были открыты все форточки. Ему не хватало воздуха. Я увидела его лицо. Это был лик, претерпевающий смертную муку.

— Возьми на столе рассказ, прочти, — спокойно сказал Радий Петрович.

Будничность этой просьбы заронила надежду. Вскоре приехала врач. Привыкшая к Уходящим Людям, она ставила вопросы в лоб и говорила по существу. У нее были экономные движения и мужская стрижка. Она спросила:

— Вам делали наркотики?

— Один раз, — сказал он. — В больнице.

— Не может быть, — недоверчиво покосилась она на истерзанное болью тело.

— Один раз, — повторил он. — Когда я их послал...

Я сидела в соседней комнате, судорожно читала рассказ.

Пыталась сосредоточиться на рассказе, но мозг выключался.

Будто свет гас в голове от сверхвысокого напряжения. Я впилась глазом в строчки и начала читать вслух. Это было какое-то шаманство. Точно жизнь, заключенная в рассказе, способна была удержать ускользающую жизнь автора. Рассказ назывался «Афина-Паллада».

— Надо делать наркотики, — распорядилась врач. — Будем колоть. Силы нужно тратить оптимально.

И уехала. Я опять вошла в комнату. По-видимому, скулы мои сковал цемент.

— Ты сразу поняла, что она — женщина? — спросил вдруг Погодин.

Напряженно собирая лоб в складки, я силилась сообразить, о чем он. И о ком.

— Кто — женщина? Афина-Паллада? — бестолково уточнила я.

— Врач, — объяснил Радий Петрович. — Командирша...

До меня наконец дошло, что он шутит. Это он нас жалел, не мы его. Его невозможно было пожалеть, даже уходящего. Он все равно был сильнее судьбы, ибо она его не победила. Он не сэкономил сил, он пытался придать их тем, кто был с ним рядом...

Он был реалист и сказочник одновременно. Философ и мастеровой в литературе. Тяжко болел — а все ходил в мастерскую — писал картины и рассказы. Чуть не за три недели до смерти читал в Союзе писателей свои новые произведения. Его последние рассказы Маргарита Николаевна расшифровывала уже с диктофона, он наговаривал их глуховатым, несдающимся голосом. Рассказы эти были органичны, как органична бывает лишь природа. Когда стоишь в лесу среди листьев, травы и неба, птиц и ветра и, вбирая в себя мгновение, осознаешь его совершенство — ведь ни одной краски, ни одного звука, ни одного запаха не убавить и не прибавить.

Каждая книга Погодина изумляла своей непредсказуемостью. И парадоксальностью. Он всегда выбирал новую дорогу. И всегда знал, куда идет. Продирался к цели всенепременно, как бы густо ни топорщился кустарник.

Память сохранила «странное» собрание в Союзе писателей, который тогда был один на наш город-герой. Зачем Радий Петрович взял меня с собой, я долго не понимала. «Посмотри, — сказал, — послушай, подумай». А я была совсем «зеленая», окончив ЛГУ на три года раньше срока. Работала в детской газете «Ленинские искры». Ничего похожего на такое собрание у нас в «Искрах», в котором редактором была интеллигентно-аристократичная Валентина Львовна Бианки, и в страшном сне не мог-

ло присниться. Клеймили евреев. И я помню, как Радий Петрович выступил тогда. Как в атаку пошел. Просто вижу сейчас его лицо: гневное, отчаянное, непреклонное. Такое, наверное, у него на фронте было, когда вступил с фашизмом в смертный бой. Он не боялся никого и ничего.

Спросил меня потом, что, мол, думаю про все это. И я без слов схватила его за руку, сжала изо всей силы. Ладошка у меня была сухая и горячая, как головешка.

А военные награды ему вернули через 30 лет. Надевал он их крайне редко. Но в День Победы надел, когда нес знамя по сцене Дома писателей. И друзья его стояли рядом.

Друзья у него были все с молодости. Он умел дружить так, как дружат лишь в детстве — навек. Один из главных друзей — замечательный Шапиро. Годы не могли разлучить их все 45 лет.

Познакомились они после войны на заводе. Двадцатилетний фронтовик встал к станку и огляделся по сторонам. У соседнего станка стоял другой двадцатилетний. Лицом он был не по-здешнему смугл.

— Ты кто по национальности? — спросил Радик.

Без подвоха спросил. Просто чтобы начать разговор.

А на гражданке время было подлючее, паучье. В воздухе назревало дело «врачей-отравителей».

— По национальности я — жид, — тихо сказал Шапиро.

И в тот же миг схлопотал по физиономии.

— Имей достоинство! — яростно проорал его будущий друг на всю жизнь.

Они даже женились оба на Маргаритах. Как и положено Мастерам. Шапиро тоже был мастером, у него были золотые руки и золотое сердце. И жены у них, у обоих, были единственные, на всю жизнь.

Незадолго до смерти Погодин подарил Шапиро книжку и надписал: «Поживем еще, Вовка?!»

Вовка пережил друга на год и месяц.

Друзья уходили один за другим, словно следуя логике его литературных героев, словно исполняя его же собственное обещание: «Я догоню вас на небесах». Догоняли.

— Неплохая там компания собралась, верно? — горько пошутил кто-то из их вдов однажды за столом.

Вдова Миксона, вдова Дубровина, вдова Шапиро, вдова Черкашина, вдова Погодина... Они были лишены сантиментов, просто продолжали делать то, что положено женам, как если бы мужья были живы: хранить архивы в идеальном порядке, издавать неизданное, помнить все — и черты, и строки, как если бы смерти не было. При этом сохранить живую реакцию счастливых женщин. И оставаться в общем круге, не дать судьбе разорвать этот круг. Они встречались по случаю дней рождений, дней смерти и Дней Победы. Они оставались сильными и красивыми. Может, так положено русским вдовам? А может, только тем, кого Бог наградил любовью. Смерть отняла у их мужей старость, иногда мне казалось, жены тоже перестали стареть. Может, именно потому, что неразделимы...

В тот последний день, зажмуриваясь от боли, я сказала:

— Души вечные, Радий Петрович.

Он ответил неясным уже языком. Я встала на колени, чтобы лучше слышать, и разобрала:

— Говорят...

Над кроватью висела его картина. На ней светилась церковь. Луковка ее напоминала голову ребенка с легкой светлой челочкой. Церковь была бела и призывна. Она звала его душу.

...Но мама стояла поодаль,
Держала младенца
Со странным именем Радий.
Она радовалась жизни, ему предстоящей...

Мои дочки изучали этого писателя в школе. Я не уверена, что «по программе», но нам выпали умные учительницы, которые сумели сделать так, что ребята не «проходили» его произведения, а проживали их день за днем. Обсуждая поступки героев, дети были в полной уверенности, что писатель жив, более того, что он где-то рядом, — раз все про них знает.

В тот последний день он сказал мне: «Знаешь, какую самую лучшую фразу я придумал? Не бойся Дня!» Может, тот, кто не боится, неизбежно обретет свет — впереди?

В его страницах — правда про нас всех. При этом она имеет сказочную суть — там много волшебных доньшек. Читать его произведения надо очень медленно, чтоб ничего не упустить и дойти до каждого доньшка. Там отгадки — как жить, каким быть, как справляться с бедой и в чем счастье...

Сто лет — разве это много для настоящего писателя? Это всего лишь век, века в бесконечном времени, как продолжение жизни. А он и сейчас ближе всех нас к светлым временам...



РЕЦЕНЗИИ

Александр МЕЛИХОВ

СЛАВА ХРАБРЕЦАМ!

Кладбище, что при деревне Сидорово, раскинулось по невысокому взгорку сразу за Тарасовым ручьем, бегущим вдоль дороги на Орешниково.

Погост старый, а деревьев почти нет, поэтому вековая липа на плоской вершине взгорка видна и с дороги, и даже из Андрианова.

Деревья, растущие в одиночку, чувствуют себя вольно. Вот и не знающая соседей липа вымахала вверх и беспрепятственно вширь раскинула густую крону.

...Помню, помню, конечно, как ты сказала: «Если про меня хоть что-нибудь напишешь — убью».

Теперь, увы, уже не убьешь...

Но сказанное тобой помню.

За тридцать семь лет, прожитых бок о бок, все твои просьбы помню, и не потому, что память у меня хорошая, нет, просто просьб твоих было так мало, потому все их помню.

И последнюю твою просьбу помню.

Мы сидели завтракали на даче.

«Помоги мне перейти на тахту...»

Помог, конечно... И других просьб уже не было...

«Скорую» я вызвал сам.

Александр Мотелевич Мелихов родился в 1947 году в городе Россошь Воронежской области. Окончил матмех ЛГУ, работал в НИИ прикладной математики при ЛГУ. Кандидат физико-математических наук. Как прозаик печатается с 1979 года. Литературный критик, публицист, главный редактор журнала «Нева». Произведения переводились на английский, венгерский, итальянский, китайский, корейский, немецкий, польский языки. Набоковская премия СП Санкт-Петербурга (1993) за роман «Исповедь еврея». Премия петербургского ПЕН-клуба (1995) за «Роман с простатитом». Премия интернет-конкурса «Тенета.ринет»-2002 в номинации «Литературные очерки, публицистика». Премия им. Гоголя от правительства Санкт-Петербурга и СП Санкт-Петербурга за роман «Чума» (2003), за роман «Интернационал дураков» (2009) и за роман «Тень отца» (2011), премия правительства Санкт-Петербурга (2006) за роман «В долине блаженных». Премия им. Гоголя за роман «Свидание с Квазимодо» (2017). Премия им. Искандера (2022), премия правительства Санкт-Петербурга (2023) и премия «Книга года» (2023) за роман «Сапфировый альбатрос». Премия им. Гончарова за роман «Тризна» (2023). Премия «Неистовый Виссарион» за вклад в развитие критической мысли (2024).

И просьбу твою не писать о тебе... даже не просьбу... теперь уже вроде как за-
вещание, помню, поэтому и пишу не о тебе, а о твоей земле, о земле, на которой
ты жила.

О земле-то я могу писать без всякого разрешения?

И о липе...

О той огромной и печальной липе, что склонила свои ветки над тобой на клад-
бище в деревне Сидорово.

Такое вот торжественное и печальное вступление в «современную элегию» Миха-
ила Кураева «Липа вековая» («Звезда», 2025, № 4).

Я всегда знал, что Кураев — мощный реалист, но как-то упустил из виду, какой он
мощный лирик.

Я не раз писал, что красота — это жемчужина, которой душа укрывает раненое ме-
сто, и здесь и рана очень глубока, и поэзия очень возвышенна. Автор обращается
к безвременно ушедшей из жизни жене, безвременно, потому что смерть всегда без-
временна, ибо те, кого мы любим, должны жить вечно. Как они и продолжают жить
в нашей памяти.

Вот повествователь и разговаривает с покинувшей его возлюбленной так, словно
она жива. Начиная разговор издали, с вековой липы.

Сначала она взяла под свою сень твоего отца; росла, тянулась вверх, ничем
не стесненная, расплескивала гнущиеся к земле ветки и долгих сорок лет ждала те-
бя, словно знала, как отец любил тебя и жалел, помощницу и надежду, как любовал-
ся тобой издали и берег, сколько мог, от недетской деревенской работы, какой кон-
ца и края нет, что дома, что по молодости в поле и на ферме.

Сам другой раз гнал безотказную на танцы, хоть мать и ворчала.

Была в твоей жизни любовь, большая любовь, светлая, но и она ни на миг
не затмила той отцовской любви, что грела тебя и светила тебе до конца долгих дней.

За день до катастрофы ты в какой уже раз рассказывала мне, как отец по-
сле восьмого класса подарил тебе часики «Звезда», дамские часики. А ты пошла
на Тосну белье полоскать, вот они и соскользнули с непривычной руки в воду...
В Тосне вода мутная, торфяная... И часики жалко, и себя, и больше всего — отца...

Я никогда не напоминал тебе, что уже не раз слышал этот рассказ, понимал,
что не о часиках печаль, а тоска по отцу, бесконечно доброму, красивому — голу-
бые глаза и светлые волнистые волосы, — работающему, пьющему, но справедливому.

В ссорах с матерью ты всегда была на его стороне...

Мать строжила, отец помощницу свою и любил, и баловал.

Так уж случилось, что могилы отца и матери на деревенском кладбище оказа-
лись порознь, хотя и невдалеке друг от друга.

Вроде как и в жизни: рядом, да не близко.

Матушка умерла, когда мы были в Америке.

Да и узнали об этом не сразу. Только когда вернулись.

У нее могила на открытом месте, у него — под липой.

Липа, липа вековая...

Липа с высоты своей видела, что в ста шагах за невысокой узорчатой металличе-
ской оградой рядом с матерью полно места, заготовили в свое время хоть на двоих
подселенцев; видела, да знала, что ты хочешь к отцу, знала, что ты здесь уже давно
похоронила кусочек своего сердца...

Липа — дерево мягкое, отзывчивое, наверное, ее женская плоть может чувство-
вать чужую боль и слышать биение твоего тоской переполненного сердца, вот и го-
това была всей своей приветливой листвой шептать тебе слова утешения даже в без-
ветренный июль.

Ты, легкая на ногу, шла медленным шагом, приходила сюда словно с тяжким грузом.

Приходила, присаживалась на скамеечку; ни семижилый брат, ни беспутная сестрица не мешали тебе молчать, а липовая сень напоминала шалаш, куда ты прибегала помогать отцу во время сенокоса.

У тебя в саду на даче тоже растет липа. Несмотря на свою изрядную крону и внушительный рост, дерево как дерево, большее, но не беспокойное.

Не беспокойное, потому как все остальные ели, сосны, три дуба, под стать им пятисаженный клен, а еще две осины, каждая чуть не вдвое выше нашего дома, были у тебя на подозрении, а липа — нет...

А если и заставляла волноваться — так только потому, что почки на ней набухали и ветки наконец покрывалась листочками позже всех в саду, даже позже дубов. Стояла, пугая нас густой сеткой голой на просвет кроны, словно разом вся засохла. И вот чуть не к концу мая утром смотришь: зазеленела, и на душе отлегло.

Ожила...

Я слышал, как ты говорила ей: «Умница...»

Откуда мне поначалу было знать, чем была для тебя липа.

И к кому же обращена эта печальная и торжественная речь?

...Тридцать лет верой и правдой ты служила проводницей.

Двадцать три — на «Красной стреле».

«Стреловские» и так почитались на дороге элитой, но ты и среди них была на виду: твой портрет не сходил с Доски почета в Управлении дороги, чей фасад строгий, как серый генеральский мундир, с не лишенными изящества плоскими гранитными пилястрами соседствовал с Александринским театром.

Девчата тебе завидовали. Куда ж без этого.

Завидовали, но знали: у тебя все по-честному.

В бригаде все друг у дружки на виду, все всё видят, все всё знают: кто с кем, кто в чем...

Орден выслужила, а квартиру не выслужила.

В вагоне много работы внаклонку, а вот ради квартиры спина почему-то не прогибалась.

Вот и карьеры не сделала.

Служила своим пассажирам, а не начальству.

Есть женщины в русских селеньях, наделенные словно бы врожденным благородством и достоинством.

Получала орден так, словно это не тебе вручали, а просили кому-то передать, и ты благодарила за оказанное доверие.

Поклонялась она, похоже, только земле. Земле-кормилице и родительнице.

Я на земле — прохожий, а что значит жить на земле, увидел и, пожалуй, что-то про это понял только рядом с тобой.

И какой же радостью исполнилась моя душа, когда я привез тебя на берега Оредежа и сказал: «Вот дом, теперь он наш, а земля вокруг — твоя. До речки ровно двести шагов, я мерил».

Открытие придет ко мне не скоро: оказывается, не земля была нужна тебе, а ты земле...

Ты служила ей бескорыстно и преданно до последних своих дней.

Накануне последнего дня ты ходила по саду с грабельками, сгребала в кучки падалицу...

На земле должен быть порядок...
Землю надо оставить ухоженной...
Что же удерживало тебя на земле?
Несделанная работа.
Ты поднималась и шла к своим деревьям, клумбам и кустам...
Мне не дано было остановить тебя...
И земля увидела наконец, как ты устала, и взяла тебя... отдохнуть.

Кажется, Кураев чуть ли не первый после Глеба Успенского пишет о поэзии возделывания земли, уподобляя его музыке.

Цветы, клумбы, кусты, деревья — это воплощение твоих сиюминутных или давних настроений, желаний, может быть, и мечты.

Каждый цветок — удар по клавише, каждый куст — аккорд, твои деревья — органичные голоса, каждая клумба — пьеса, и все вместе — музыка...

И для той, кто слышала эту музыку, мало что значила шумная ярмарка тщеславия.

Чины, звания, титулы, громкие имена для тебя мало что значили, повидала ты их в своем недоступном простом смертным пятом вагоне СВ «Красной стрелы».

Всем одинаково готова была помочь на жизненном пути, хотя бы от Ленинграда до Москвы.

То-то на приеме в Кремле на тебя оглядывались твои пассажиры: и космонавты, и депутаты, академики, большие артисты и московское начальство верхнего разбора. Кто-то, даже не узнавая, здоровался с тобой светским кивком.

А ты их всех помнила, память на людей у тебя завидная, всю свою деревню помнишь, а здесь-то полтора десятка на весь вагон. И ездят часто. А ты на пятом больше пятнадцати лет.

И откуда же ведет свое происхождение эта аристократическая натура?

Ты родилась в полном благополучии, при отце и матери.

Спасибо войне?

Спасибо немцам, спасибо фашистам, спасибо нелюдям высшей расы, угнавшим твоих родителей из благословенного Сидорова к черту на рога, под Дрезден?

Так, что ли?!

Но именно там, под Дрезденом, ты родилась в декабре сорок второго...

Вот так.

Ты должна была родиться, и безотлагательно, именно тогда, когда землю распяли, рвали в клочья бомбами, снарядами, засыпали минами, чтобы по ней нельзя было ходить, вспарывали траншеями, окопами, ходами сообщения, а города ровняли с землей...

Когда подошла пора родить, старички хозяева не посоветовали ехать в Дрезден, слышали, да не для кого и не секрет, какое там устроили истинные арийцы для неполноценных женщин родовспоможение.

Клетушка, где обитали мать и отец, примыкала к овчарне. Там матушка и разрешилась, под блеяние овец, разбуженных среди ночи светом. Принимали роды отец, старушка хозяйка и ее горничная; гранд-фрау даже порадовалась, что родилась девочка: в армию не возьмут, не убьют... Все никак не могла забыть про убитых сыновей. Двоих, как она говорила, потеряла в Африке, а младшего вроде бы в Греции. Поди проверь!..

Словно сама мать-земля ее сберегла для себя.

Ты должна была родиться, чтобы земля не осиротела; ты брала всех под свое крыло, хотела, чтобы всем на твоей земле было хорошо.

Вон как три дуба под твоим глазом за двадцать-то пять лет вымахали, старались наперегонки произвести на тебя впечатление и статью, и кроной. Видели небось, как зафальшивившую черемуху, дерево цепкое, выкопала до последнего корня и предала костру.

Каждый цветок, каждый куст и дерево, а они живые, хранят тепло твоих ладоней, не упрятанных в перчатки.

Каждый из них что-то рассказал бы о тебе, если бы мог, а я бы послушал... Помнят. Может быть, все еще ждут...

Каково им без тебя?..

А мне?..

Догадываемся. За счастье жизнь взимает самую тяжкую плату.

Твоим обществом дорожили мои коллеги, друзья, знакомые, люди совершенно разных занятий.

Председатель общества «Британия—Россия», возивший нас на своем «мерседесе» с лекциями из Оксфорда в Бристоль, потом, чтобы продлить дорогу с тобой, предложил завернуть на родину Шекспира и только потом обратно в Оксфорд, элегантный, как премьер-министр Иден, правда, без усов и значительно моложе, тот просто влюбился в тебя...

Он тоже таких не видел...

Как говорится, огонь не спрячешь.

По-моему, больше смотрел на тебя, чем на дорогу.

Ты была и без меня желанным гостем у наших друзей: в Москве у летчика-испытателя и наставника космонавтов и его славной жены, а в Ленинграде в семье директора Библиотеки Академии наук и в доме нашего друга профессора консерватории... И оперный режиссер Мариинского театра, и профессор истории из нашего университета, и доцент отделения «Русский язык для иностранцев» были твоими желанными гостями...

Огонь не спрячешь и благородство тоже.

В «обществе» тебе было чуждо жеманство простушки, кокетство самодовольных провинциалок, рассчитанное на простаков, вкуса не имеющих.

Там, где мы бывали, проводницы появляются нечасто.

На приемах в консульствах, на «букеровском обеде» в Москве, на новогодних губернаторских приемах в Смольном, в гостях у вдовы классика мирового кинорежиссера Козинцева, у друга Шостаковича неповторимого Исаака Гликмана с тобой было одинаково легко.

И это счастье судьба подарила не юным Ромео и Джульетте, а людям, уже много испытавшим, а значит, и во многом разувверившимся.

Ты жила тем счастьем, на которое уже и не надеялась, какого и представить себе не могла.

Он был летчик. Летал на вертолетах. Служил.

Полк стоял в Гатчине.

Твои поездки, его командировки... У него семья, две девочки. Так трудно было совпасть...

Ну и что? Казалось, не он, а ты летала...

Обвальное, безудержное счастье...

Он погиб в Афганистане. Командир звена...
 Просто не пришел.
 Растворился в небе...
 Больше ты замуж не выходила. Звали, конечно... И бывший муж звал...
 Я больше не расспрашивал.
 Но раз спросил, ты рассказала: скупое, щадящее.
 Конспект романа...
 И вместо того, чтобы испытать ревность, я вдруг почувствовал твою боль и даже прикоснулся к той минувшей радости, к тому счастью, что подарила тебе жизнь.
 Мы встретились поздно.
 У нас за плечами остались, как-никак, нешуточные полжизни...
 До встречи с тобой я был отчаянно ревнив.
 И если бы — о чудо! — если бы он вернулся, мало ли, я бы сказал: «Иди...»
 Хотя какая без тебя жизнь...

Какая? Какая и всегда. То восхитительная, то ужасная, но всегда равнодушная. Но, как писал Евгений Шварц, слава храбрецам, которые осмеливаются любить, зная, что всему этому придет конец.

И слава поэтам, которые могут из своей боли создать для своих любимых нерукотворный памятник.

КНИЖНЫЙ ОСТРОВ

Олег Рябов. Не люблю Париж: Повести и рассказы. Нижний Новгород: Книги, 2024. — 400 с.

Олег Рябов, писатель, поэт, издатель и главный редактор журнала «Нижний Новгород» — прирожденный рассказчик. «Я считаю, что литературные рассказы должны быть жизненными. Нет, сам ты сто жизней не проживешь, но если ты услышал от кого-то необычную интересную историю, достойную того, чтобы ею можно было поделиться, то должен, конечно, ее запечатлеть», — признается писатель в одном из рассказов. Но любая история, реальная ли, приукрашенная ли выдумкой, приобретает значимость, если талантлив рассказчик. А О. Рябов талантлив не только в выборе сюжета, но и в композиции, в слове и — главное — в смыслах, которые проступают в подтекстах. Он показывает реальный мир, в котором мы живем, и даже если речь идет о совсем фантастических предметах — узнаваемую действительность, тесно сплетенную и с современностью, и с российской историей, недавней и уходящей в глубь веков. Красочно, любовно прописан фон — яркая, органичная составляющая сюжета, будь то природный ландшафт либо характерные приметы быта. М. Бушуева отмечает: «Сам сюжет любой жизни — для него увлекателен, а он — мастер сюжета, не искусственного, не сконструированного, а точно подсмотренного — со всеми его жизненными зигзагами. Однако не все так просто с „органикой“ в рассказах Рябова. Нередко их источник — писательская фантазия, которая, маскируясь под реальную фактологию, создает эффект достоверности — благодаря подлинности вложенного чувства, сегодняшнего или вспоминаемого» (Литература. Электронный литературный журнал, № 230, июнь 2025). Так, вполне правдоподобно воспринимается то, что пианист, лет сорок назад «работавший» в оркестре Геннадия Рождественского на премьере Первой симфонии Шнитке, в настоящем управляет грозами, ливнями, дождями... Реальность вымыслу придает и встреча с другой участницей концерта, и то,

что премьера в Горьком состоялась не случайно: мать Рождественского — уроженка Нижнего Новгорода («Человек из филармонии»). Вполне реальные фольклорные герои, встречающиеся в повседневной жизни: Кот-баюн, спугнувший в черничнике медведицу с медвежонком и тем самым спасший рассказчика; запросто зашедшая в гости кикимора; древнее марийское божество Бух; Баба Яга, оказавшаяся «обычной бабушкой»; детки лешего — пихты-лесовушки; сердитый шишок, он же банник; домовенок Кузька. Рассказы о них помещены в заключительной части сборника — «Наши плохо знакомые». Повести и рассказы разных лет, включенные в сборник, так или иначе связаны с родным городом писателя — Нижним Новгородом и нижегородским Поволжьем. В реальности Рябова есть место гротеску, курьезу — и подлинным драмам. Но даже при трагическом исходе — гибели героя — в рассказах Рябова нет пессимизма. Зло наказуемо, а в нынешнем жестоком мире олигархи спешат делать добро, украденные святыни оказываются в нужное время в нужном месте. Так, бесславный конец находит наемный убийца («Душегубы»). Так, стопроцентный новый русский отправляет в больницу местного парнишку, поранившего ногу осколком стекла в ходе затеянной «баринном» рыбной ловли (пять мужиков в белых подштанниках и белых рубашках, в резиновых калошах или лаптях, три девки у самовара). Отныне олигарх считает себя обязанным превратить самую захудалую в области ЦРБ в образцово показательную («Ловля рыбы бреднем»). Молодой человек, узнав, что заменившей ему мать учительнице требуется дорогая операция в Израиле, крадет старинную чудотворную икону, но благодаря вмешательству бывшего коллекционера икона возвращается на свое место («Миллион для училки»). А уворованный образ Серафима Саровского осел, на радость всем, во вновь отреставрированном и возрожденном Ярмарочном храме. И чудо это свершилось усилиями бывшего директора магазина «Спортовары», приватизировавшего магазин по воле областного губернатора Бориса Немцова и по его же приказу крестившегося («Мошевик Серафима Саровского»). Действо так добросовестно «укутано» в реалии, что в истинности происходящего сомневаться не приходится. Тем более оно часто опирается на историческую основу. То это история дома, чуда архитектуры XIX века, владельцем которой случайно становится современный олигарх. То попытка установить связь между сакральной загадкой «усатой княгини» — «тройка, семерка, туз» — и причиной, по которой Пушкин по дороге в Оренбург свернул в Нижний Новгород. То целая поэма о городских дворах. Герои рассказов размышляют о современном меценатстве и спонсорстве, о главенстве принципа — дружи с первыми лицами; о том, что лучше: иметь мечту в ее неосуществленном состоянии или разочароваться по ее исполнению. Размышляют и об Америке, что она такое — глобальная опасность для всей человеческой цивилизации или пример для подражания всему земному шару. Но в первую очередь герои Рябова — живут, как это делают герои цикла рассказов «Жмуркин и Криворотов» о двух друзьях-журналистах, чья дружба завязалась в детстве: попадают в забавные и драматические ситуации, пускаются в авантюры, бьются над проблемой выбора. Цикл охватывает период с 1982-го по 2021 год. О. Рябов восстанавливает время в его движении. «Это удивительно, как быстро забываются самые что ни на есть насущные и необходимые удобства, которыми мы незаметно пользовались. Чернильницу и перочистку, конечно, многие вспомнят хотя бы потому, что они служили людям не одно столетие, и в классических литературных произведениях они уже увековечены, а вот плеер, газовый баллончик или пейджер — я вот уже и не помню, какой он был из себя, этот пейджер... Что первое пропало с наступлением девяностых, так это чувство безопасности: вспоминаются и стволы автоматов, торчащие из раскрытых окошек „Жигулей“, и популярная в те годы песня „Братва, не стреляйте друг в друга“, и в ежедневных сводках сообщения о перестрелках

и новых разборках на улицах больших городов с печальными результатами. Пацаны в кожанках, костюмах „Адидас“, не снимая ондатровых шапок, сидели в ресторанах города. Позабылось!» О. Рябову свойственны добрая ирония и добрая интонация. «Олег Рябов — один из последних воинов духа, кто отстаивает русскую провинцию, русскую, нижегородскую старину, ее воздух, ее предания, ее были...» — считает его землячка, писатель Е. Крюкова. А что Париж? О. Рябов не раз бывал там, впечатления о городе оставил в очерке в стиле нон-фикшн «Не люблю Париж». Не любит, да потому, что наши представления и действительность не сходятся. А «может, я не люблю Париж, потому что сразу встретил здесь много новых для меня явлений, которые не смог сразу понять и принять».

Христофор Греческий и Датский: Мемуары / Пер. с англ. Е. Е. Преображенской; научн. ред. и предисл. А. В. Бодрова. СПб.: Евразия, 2024. — 326 с.

Принц Христофор Греческий и Датский (1888—1940) — младший сын греческого короля Георга I и внучки Николая I, великой княжны Ольги Константиновны, появился на свет в Павловском дворце родителей матери. Восприимчиками принца стали его дядя и тетя — император Александр III и императрица Мария Федоровна. Родственные узы соединяли Христофора со многими правящими домами Европы. Отец мальчика, второй сын короля Дании Кристиана IX, приходился родным братом королеве Великобритании Александре, императрице Марии Федоровне и королю Дании Фредерику VIII. Христофор с детства много времени проводил при европейских дворах, беззаботно играя с кузенами, будущими королями и царевичем Николаем. Всю жизнь принц ощущал связь с местом своего рождения: в его мемуарах России посвящено немало страниц. Ольгу Константиновну и ее сына часто приглашали в Царское Село. «Поездки в Россию вместе с мамой венчали мое представление о блаженстве. Великолепный Императорский поезд, ожидавший нас в Севастополе, был одним из самых ярких впечатлений путешествия». Королевский дворец в Афинах был плохо приспособлен для жилья: единственная ванная не использовалась — водопроводные краны не открывались. Дети каждое утро окунались в жестяные кадки, которые им приносили в спальню. Для освещения применяли масляные лампы. Зимой стоял почти невыносимый холод, по коридорам ветер свистел и врвался в залы. Но мальчику дворец казался прекрасным: по анфиладе парадных залов всей семьей во главе с отцом гонялись на велосипедах. А огромный вестибюль с каменными колоннами идеально подходил для игры в прятки. После простой жизни в Афинах поездки в Россию походили на шаг в мир сказок. Павловский дворец наполняли предметы искусства и роскоши, многие из которых, в том числе подарки Людовика XVI и Марии-Антуанетты, великий князь Павел и его жена привезли из Франции. Красивейшим в Европе кладезем сокровищ являлся Царскосельский дворец. «Императорский двор был самым великолепным в Европе... Ничто не считалось дорогим, если могло доставить даже минутное удовольствие. Коврики для экипажа были из горностая и соболя, сбруи сияли золотыми и серебряными украшениями, изящные искусства процветали, художники и музыканты стекались со всего мира, уверенные в том, что найдут здесь покровителей... Кажется почти невероятным, вспоминая те дни, когда Россия была самой богатой страной в Европе, а Императорский двор превосходил прочие культурой и элегантностью, что никто из тех блестящих, беззаботных кавалеров и дам, которые представляли прежний режим, не осознавал надвигающейся трагедии, пока не стало слишком поздно». Рассматривая фотографии 1903 года, автор отмечает, что полови-

на изображенных на ней погибла насильственной смертью. Он пишет о трагической гибели в годы революции близких ему, родных людей: императорской семьи, великих князей, княгинь, аристократов. Он считает, что губительным в политическом смысле стал брак Николая II и Александры Федоровны, а конкретно — сочетание их характеров. География дореволюционных поездок Христофора по России значительна: он побывал с матерью в Тифлисе в 1901 году на праздновании в честь столетия присоединения Кавказа, посетил с матерью Киев и Одессу. Часть года проводил у своей сестры Марии на ее вилле под Ялтой. Именно там обитала последние годы перед отъездом в эмиграцию Мария Федоровна — подробности он сообщает со слов родных. Христофор вообще много путешествует по разным странам, что позволяет ему сопоставлять различные культуры и традиции, порядки при русском, британском, греческом и датском дворах. Космополитический мир породненных между собой королевских семей Европы обеспечил мемуаристу широчайший круг знакомств. Значительная часть записок относится к частной жизни: коронации, свадьбы, торжества, праздники, разводы и похороны, личная жизнь многочисленных родственников и своя собственная. Восьмой сын в семье, как и все представители мужского поколения семьи, принц служил в армии, покинув ее в 1908 году. Он вел светский образ жизни. Дважды был женат. Впервые на богатой американке миссис Лидс, которая дважды была замужем и имела сына. Овдовев, в 1929 году женился на Франсуазе Орлеанской, чьи родители, правнуки свергнутого с престола короля Луи Филиппа I являлись претендентами на французский престол. Будучи очень близок к сильным мира сего и зная жизнь монархов изнутри, он отказался от предложенных ему престолов Португалии, Литвы и Албании, предпочтя жизнь, свободную от ответственности за страну и народ. «Ничто под этим Солнцем не заставит меня принять корону. Она слишком тяжела для меня...» Он знал, каково бремя власти, по драмам греческого королевского дома. «Балканы представляли собой ведьмин котел... Греция, Турция, Болгария и остальные маленькие балканские государства от всей души колотили друг друга», желая присоединить земли соседей. При военных неудачах шатался греческий трон. В 1913 году от руки анархиста погиб в Салониках король Георг I. Старший брат автора, Константин I дважды отправлялся в изгнание, в изгнании и умер. Его сын Александр I, укушенный обезьяной, умер от сепсиса. Угроза расстрела за военные неудачи грозила другому брату автора, Андрею, но он был приговорен к изгнанию. Немало волнений вызывала судьба матери, которая во время революции оказалась в России, где неподалеку от Павловского дворца основала военный госпиталь. С трудом ей удалось выбраться. Об основных поворотах истории Греции описываемого периода рассказано в предисловии. В предисловии А. Бодров пишет: «С одной стороны, это прошлое, овеянное воспоминаниями об эпохе мира и богатства, когда короли надежно восседали на своих тронах, а в Европе было три империи и четырнадцать монархий. С другой стороны — настоящее — богатое проживаниями трагедии и комедии, радости и печали, которые никогда бы не вышли из-под контроля при прежней схеме». Несмотря на все перипетии судеб членов королевской семьи, они, изгнанные, не раз с триумфом возвращались на Родину. В триумфальное шествие в 1935 году превратилось возвращение в Афины из Флоренции тел короля Константина, его матери и супруги для перезахоронения их в семейном склепе. В различных обстоятельствах, в том числе и трагических, принц Христофор всегда сохранял невероятный оптимизм и любовь к жизни. Воспоминания написаны прекрасным стилем и оживляются как легкой иронией, так и благодушным юмором автора. Мемуары увидели свет в 1938 году, всего за два года до смерти принца, на русском языке издаются впервые.

Елена Скульская. Тайны Шекспира, которые он хотел выдать.

М.: Флорериум / RUGRAM, 2025. — 230 с.

Тайны браков и тайны рождений. Незаконнорожденные дети и их судьба — бастард обречен быть негодяем, убийцей и предателем. Обман и самозванство. Жажда власти, что толкает человека на кровавые преступления. Совесть, терзающая убийц. Центральные, главнейшие у Шекспира темы, переходящие из пьесы в пьесу. Елена Скульская, писатель, поэт, режиссер, анализируя девять известнейших пьес великого драматурга, выясняет, чем продиктовано такое постоянство в выборе тем. Есть причины внешние, тесно увязанные с местом и временем жизни драматурга, и те, что вызваны глубоко личными прореживаниями. Среди последних, по мнению автора, не благословленная родителями и состоявшаяся без оглашения, что было категорически запрещено в то время в Англии, женитьба Шекспира на забеременевшей от него до брака девушке. Он мог не жениться, но тогда его ребенка ждала печальная участь бастарда. И он всю жизнь убеждал себя, что поступил правильно. Отмечая, что есть все основания полагать, что семья Шекспира хранила верность католицизму и только внешне приняла протестантизм (в те это времена каралось смертью), автор считает, что пьесой «Ромео и Джульетта» Шекспир очищался от подозрений в католицизме. Он покорно исполнил волю Елизаветы, желавшей разоблачения католиков. Католик Лоренцо, тайно венчая Ромео и Джульетту, совершает великий грех, а дав Джульетте зелье, создающее иллюзию смерти, а затем воскрешения, устраивает подобие мистерии, против которых выступали протестанты. Темы диктовала Шекспиру сама эпоха, заставляя снова и снова к ним обращаться. Сама Елизавета, чью мать Анну Болейн казнили по обвинению в многочисленных прелюбодеяниях, была признана незаконнорожденной и потеряла права на престол. При Елизавете намеки в сочинениях на законность и незаконность рождений, на законность власти были бы неуместны. Шекспир следовал веяниям времени. И «Король Лир» мог появиться только при Якове I, севшем на престол по завещанию Елизаветы (Скульская приводит версию, согласно которой Елизавета назвала своим преемником Якова, получив у него согласие на казнь его матери — Марии Стюарт). В контексте конкретного исторического времени, сменяющихся политических реалий Е. Скульская, глубоко погружаясь в эпоху, рассматривает, как раскрывает главные для себя темы Шекспир в пьесах «Сон в летнюю ночь», «Ромео и Джульетта», «Венецианский купец», «Король Лир», «Макбет», «Отелло», «Гамлет», «Ричард III», «Буря». Она восстанавливает то, что было внятно современникам Шекспира, но не нынешним поколениям. Пишет о том, кто из приближенных Елизаветы и почему стал прообразом крошки Гермии в пьесе «Сон в летнюю ночь». О том, какую злую роль в судьбе еврея, выкреста Лопеса, лечившего Елизавету от мигреней, сыграл сифилис графа Эссекса, фаворита Елизаветы I, а затем и организатора мятежа против нее. И как наперекор социальному заказу на антисемитскую пьесу Шекспир сделал героя пьесы еврея Шейлока в пьесе «Венецианский купец» фигурой противоречивой, многогранной, вызывающей и гнев, и сочувствие, и жалость, и отвращение, и понимание. Скульская поясняет, почему победитель Макбета Макдуф считался не рожденным женщиной, а в леди Макбет современники видели недавно умершую Елизавету, что в конце жизни повсюду появлялась с обнаженной шпагой, полагая, что ее подстерегают заговорщики. И возможно, искали на ее руках кровь Марии Стюарт, тогда верили: кровь королей, когда-либо побывавших на престоле, несмываема. Рефреном через сочинения Шек-

спира проходит тема обмана: Дездемона, не спросив отца, тайно венчается с Отелло, лжет Яго, Джульетта обманывает родных мнимой смертью. Ни один из наветов, ни одна клевета, сколь бы чудовищными они ни были, не кажутся невероятными персонажам «Короля Лира». Легко перенести действие «Лира» в наши дни, считает автор, потому что и сегодня человек клянется в верности одним идеалам, потом другим, а потом третьим. Обману верят моментально все герои всех трагедий и комедий, и только один персонаж, принц Гамлет не верит, а боится обмануться, боится, что не сможет отличить ложь от правды. Е. Скульская расшифровывает смыслы важнейших сцен в пьесах, уделяет внимание деталям, таким, например, как платок Дездемоны, расшитый цветами земляники, символами христианства. Шекспир использовал понятные для его публики явления, ситуации, образы, не требовавшие разъяснений. Так, ожидаемо от евреев и ведьм исходило зло, а призраки и тени на сцене являлись общим местом тогдашнего театрального антуража. Как поэт, Е. Скульская много внимания уделяет переводам, приходя к выводу, что одна из загадок Шекспира в том, что его гений не затмевается переводчиками. Что именно стихи, произносимые в угодку ритму, со всеми его переливами, играми звуков, свадьбами ассонансов и аллитераций, заставляют окаменеть огромный зал. Она считает, что талант сильнее правды и художественный вымысел может заменить историю подлинную, как это произошло с Ричардом III, смертью которого в 1485 году в Англии завершилась многолетняя Война роз и началось правление Тюдоров, продлившееся вплоть до смерти Елизаветы. Это благодаря Шекспиру Ричард III запомнился именно таким, каким его хотели увековечить Тюдоры, — подлым негодяем, убийцей своих племянников, «принцев Тауэра». Даже горб его — доказанная фальсификация эпохи Тюдоров. Рассказывая о Шекспире и его эпохе, отдавая дань великому Шекспиру, Скульская щедро рассыпает по тексту ассоциации, проводя параллели между текстами драматурга и писателей и поэтов разных времен и народов. В этой переключке участвуют тексты Пушкина и Лермонтова, Л. Толстого, Блока и Цветаевой, Дюма, Ростана, Метерлинка, Мердок... Несть числа... Иногда и прямо. Великий ревнивец Арбенин, глядя на пустое блюдечко, произносит: «Ни капли не оставить мне! жестоко!» С такими словами Джульетта припадает к губам Ромео, принявшего яд. Магия эротичности, которой у Шекспира всегда окрашена смерть, присутствует в «Египетских ночах» Пушкина, в «Анне Карениной» Л. Толстого, у Достоевского, Блока, Чехова... По мнению автора, интерлюдия «Пирам и Фисба» из пьесы «Сон в летнюю ночь», где Шекспир расправился не только с понятием вечной и немеркнувшей любви, но и с тупыми, необразованными актерами, создала предпосылки для будущего театра абсурда. Гениальным драматургическим открытием стала «Мышеловка» в Гамлете, заимствованная Шекспиром из своего личного опыта — постановки «Ричарда III» по заказу готовящего заговор Эссекса. Шекспир позволяет талантливым режиссерам извлекать из своих пьес любые смыслы, утверждает Е. Скульская, и рассказывает о десятках современных спектаклей и кинофильмов по рассматриваемым в книге пьесам. Шекспир поистине неисчерпаем.

Елена ЗИНОВЬЕВА

Архимандрит Августин (НИКИТИН)

МУЗЫКАЛЬНОЕ НАСЛЕДИЕ СВ. ФРАНЦИСКА АССИЗСКОГО

Часть 2

В 1980 году итальянский певец и автор песен *Джози (Джузеппе) Ченто* (Giosy Cento) (род. 1946) издал свой очередной альбом библейских песнопений «Guarda laggiù l'orizzonte — Canti biblici»; одно из них — «Il canto della Creazione» (Песнь творения). Вот ее начальные строчки:

Слава Тебе, мой Господь.
Слава Тебе, мой Господь.
Слава Тебе, мой Господь.

За будничное солнце,
согревающее и животворящее:
оно освещает путь
ищущим Тебя, Господи.

Что касается луны и звезд,
я чувствую их своими сестрами:
ты создал их на небе
и отдаешь их тем, кто находится во тьме¹.

Джузеппе Ченто — католический священник, принял сан 30 декабря 1969 года. По его словам, в 1971 году однажды ночью после Пасхи, читая Бревиарий, он не смог молиться и положил свою первую молитву на музыку; так родилась его первая песня «Emmaus»². Джузеппе Ченто известен своими песнями в духе «христианской легкой музыки»; он создал более 900 церковных песнопений.

В 1980 году американский композитор *Марти Хауген (Хоген)* (Marty Haugen, род. 1950) написал музыкальное сочинение под названием «Песнь Солнца» (гимн бра-

Архимандрит Августин (в миру — Дмитрий Евгениевич Никитин) родился в 1946 году в Ленинграде. Окончил физический факультет Ленинградского государственного университета. В 1973 году принял монашеский постриг с именем Августин. Пострижен в монашество митрополитом Никодимом в Благовещенской церкви его резиденции в Серебряном Бору в Москве. В 1974 году рукоположен во иеродиакона и иеромонаха. Окончил Санкт-Петербургскую духовную академию, преподаватель, доцент Санкт-Петербургской духовной академии.

¹ <http://www.cybermidi.net/testi/album.asp?AlbumId=91&AutoreId=6&GR=n>. Дата посещения 20.10.2024.

² https://it.wikipedia.org/wiki/Giosy_Cento. Дата посещения 20.10.2024.

ту Солнцу) (Canticle of the sun). Первоначально оно было предназначалось для католического прихода Святого Бонавентуры в Блумингтоне, Миннесота (США). Вот начальные строки этой песни:

Хвала солнцу, приносящему день,
оно несет свет Господа в своих лучах;
луне и звездам, которые освещают
путь к твоему престолу!

Хвала ветру, что дует сквозь деревья,
могучим штормам морей,
самому нежному бризу;
они дуют, где хотят, они дуют,
где им угодно, чтобы угодить Господу!³

Мартин Хауген вырос в американской лютеранской семье, получил степень бакалавра по психологии в колледже Лютера, но обрел свою первую должность церковного музыканта в католическом приходе в то время, когда Римско-католическая церковь переживала глубокие литургические и музыкальные изменения после Второго Ватиканского собора⁴. Мартин Хауген — автор более 400 композиций; за последние 25 лет он объездил с концертами Северную Америку, страны Европы, Тихоокеанского региона, Азии и Центральной Америки. Многие его песни вошли в литургические гимны римско-католических и протестантских общин и переведены на разные языки⁵.

В 1981 году Джон Майкл Талбот (род. 1954), американский католический монах и композитор, представил слушателям свое очередное музыкальное сочинение «Трубадур великого царя» (Troubadour of the Great King), написанное в честь 800-летия со дня рождения святого Франциска Ассизского.

Читая житие святого Франциска Ассизского, он стал подвизаться во францисканском центре в Индианаполисе (США). Его интерес к святому Франциску Ассизскому усилился после выхода на экран фильма «Брат Солнце, сестра Луна» (1972) (режиссер Франко Дзеффирелли). В 1978 году Талбот стал членом светского францисканского ордена (терциари)⁶. Впоследствии он основал монашескую общину «Братья и сестры милосердия» (The Brothers and Sisters of Charity) в штате Арканзас. В дополнение к своей работе в качестве композитора и певца Талбот опубликовал более десятка книг, включая «Уроки святого Франциска: как привнести простоту и духовность в свою повседневную жизнь» (1998), «Размышления о святом Франциске» (2009), «Мир — мой монастырь» (2010), «Универсальный монах: путь нового монашества» (2011)⁷.

В 1982 году известный испанский композитор Хоакин Родриго Видре (Joaquín Rodrigo Vidre) (1901—1999)⁸ написал для хора и оркестра мелодию на «Песнь святого Франциска Ассизского» (Cantico de San Francisco de Asís). Это произведение ему было заказано в ознаменование восьмого столетия со дня рождения святого Франциска

³ https://www.lyricsmode.com/lyrics/m/marty_haugen/canticle_of_the_sun.html. Дата посещения 24.10.2024.

⁴ https://hymnary.org/text/praise_for_the_sun_the_bringing_of_day. Дата посещения 24.10.2024.

⁵ <https://www.tablyricfm.com/artist-Marty-Haugen-tab-Lyric-fm>. Дата посещения 24.10.2024.

⁶ https://en.wikipedia.org/wiki/John_Michael_Talbot. Дата посещения 24.10.2024.

⁷ <https://encyclopediaofarkansas.net/entries/john-michael-talbot-4332>. Дата посещения 24.10.2024.

⁸ Хоакин Родриго Видре родился в Сагунто, провинция Валенсия (Испания) 22 ноября 1901 года, в день памяти святой Сесилии, покровительницы музыки.

Ассизского. Премьера этого сочинения состоялась в марте 1986 года в Королевском Елизаветинском зале в Лондоне⁹.

Хоакин Родриго не раз обращался к церковной тематике. Так, в 1934 году он сочинил несколько песен, среди которых была знаменитая «Cántico de la esposa» на слова святого Иоанна Креста (Хуан де ла Крус, 1542–1591). Еще одним из таких сочинений является *Himnos de los neófitos de Qumrán* (Гимны неопитов Кумрана). Первая часть была впервые исполнена в 1965 году, а две другие части были добавлены позже, составив окончательное произведение в 1974 году. Текст представляет собой адаптацию отрывков из знаменитых свитков Мертвого моря. Он написан для трех сопрано, мужского хора и небольшого оркестра¹⁰.

За всю свою творческую жизнь, с 1922-го по 1987 год, Хоакин Родриго создал около ста семидесяти произведений практически во всех музыкальных формах. 30 декабря 1991 года Родриго был возведен в испанское дворянство королем Хуаном Карлосом I.

В 1982 году московский музыкант и композитор Олег Степурко написал музыку к спектаклю «Святой Франциск Ассизский».

В 1968 году Олег Степурко был крещен священником Александром Менем. Это была «эпоха застоя», и Олег работал в его приходе в подпольной воскресной детской школе. В 1970 году он окончил Московскую консерваторию; его первый спектакль, поставленный в московских квартирах, был «Рождественская мистерия». Когда Церковь получила свободу, его песни и спектакли стали ставиться открыто. С этого времени спектакль «Святой Франциск Ассизский» ставился в воскресных школах на рождественские и пасхальные праздники.

Опера «Святой Франциск Ассизский» Оливье Мессиана (1983)

28 ноября 1983 года в Париже состоялась премьера оперы «Святой Франциск Ассизский» (фр. *Saint Francois d'Assise*) французского композитора Оливье Мессиана. Эту трехактную оперу Мессиаан сочинил на собственное либретто по заказу Парижской оперы. Богословская эрудиция помогла Оливье Мессиаану в составлении либретто, где он соединил эпизоды из двух книг анонимных авторов XIV века — «Цветочки святого Франциска» и «Размышления о стигматах», дополнив цитатами из Священного Писания, трудов Фомы Аквинского, фрагментами богослужебных текстов¹¹. После восьми лет интенсивной работы родилась сложная и красочная партитура, предназначенная для 120 музыкантов, 150 хористов и 10 солистов. Свое произведение Мессиаан скромно называл «музыкальным спектаклем». Однако партитуру его, рассчитанную на более чем четырехчасовое исполнение, можно назвать энциклопедией мировой музыки.

В опере-мистерии представлены события, относящиеся к последним двум годам жизни Франциска Ассизского (1181–1226), когда он — христианский проповедник, основатель нищенствующего монашеского ордена братьев-миноритов (1210) — принял и исполнил утвержденный папой римским устав евангельской жизни, буквально подражая Христу. В предпоследней картине оперы Мессиаана показано, как, услышав призыв Христа, святой Франциск принес в жертву Господу свою жизнь. Он получил

⁹ <https://dbe.rah.es/biografias/4585/joaquin-rodriigo-vidre>. Дата посещения 24.10.2024.

¹⁰ <https://www.grahamsmusic.net/post/joacu%C3%ADn-rodriigo-beyond-aranjuez>. Дата посещения 24.10.2024.

¹¹ См.: Калошина Г. Е. Теологические концепции в творчестве Оливье Мессиаана. Инструментальное творчество. Хоровое творчество / Турангалила-симфония. Опера-мистерия «Святой Франциск Ассизский» / Монография. Ростов-н/Д., 2016.

знаки высшей святости — стигматы (подобные раны кровоточили на ногах, руках и правом боку распятого на кресте Христа).

Мессиян составил комментарии к свето-цветовому оформлению сценического пространства, а также проявил внимание к историческим особенностям сценических костюмов ведущих персонажей оперы. В авторских ремарках, оформленных в виде текстовых предисловий к нотной партитуре каждой сцены, упоминаются изображения смиренного христианского проповедника — святого Франциска — художником Ченни ди Пеппи, по прозвищу Чимабуэ, в церкви Ангелов Святой Марии в Ассизи. Не менее композитора вдохновлял цикл фресок Джотто ди Бондоне, предназначенных для Верхней и Нижней церквей монастыря Сан Франческо в Ассизи. В тексте комментария к картине 3 («Поцелуй прокаженного») композитор упомянул о шедевре М. Грюневальда, изобразившего страдающих проказой на одной из частей триптиха изенгеймского алтаря («Искушения святого Антония», 1515). В словесном описании великолепного одеяния и крыльев ангела, появляющегося в картинах 4 и 8 оперы, композитор подчеркнул сходство с разноцветным изображением крыльев ангела на картине Фра Анжелико «Благовещение» (1426).

Франциск в радостном энтузиазме воспел мир природы как творение Божье и вознес поэтическую хвалу Творцу жизни. Его Гимн Солнцу — образец высокой религиозной лирики, соединяющей в гармонии сферу духовного и мирского. В опере он общается с Ангелом и слышит голос Бога через музыку. Франциску Ассизскому принадлежит легендарная проповедь птицам; Оливье Мессиян собрал и изучил голоса тысячи птиц, сочинил партитуру 45-минутной оркестровой сцены с музыкальным воспроизведением птичьих трелей. Он сравнивает монаха с птицей, не требующей ничего, летающей повсюду и разносящей голос радости.

Декламирующий и поющий хор символизирует голос Бога как реальность духовного мира главного героя, воспевшего поэтическую хвалу «Творениям»: «Тот, кто сотворил это, благ бесконечно!» Исходящие от изображения Креста световые лучи отмечают появление стигматов на теле Франциска Ассизского; в картине 8 внезапно возникший во мраке мистический свет сосредоточен вокруг святого, распростертого на полу пещеры.

В финале оперы нарастающее (*crescendo*) сияние свето-звукового потока постепенно заполняет пространство погруженной в темноту сцены; сияние становится нестерпимо ярким. Изменение интенсивности света на сцене характеризует мистериальную суть происходящего с главным героем перехода от земной жизни к смерти, а затем — к Новой жизни в вечности¹².

Вторая постановка этой оперы состоялась в 1992 году на Зальцбургском фестивале (в Felsenreitschule) (постановка Петера Селларса, музыкальный руководитель Кент Нагано). (Этот же спектакль снова был показан в 1998 году на том же Зальцбургском фестивале, что стало знаменательным событием.) Затем последовали постановки в Лейпцигской опере (1998) и Немецкой опере в Берлине (2002). Американская премьера состоялась в опере Сан-Франциско в 2002 году.

В сентябре 2003 года опера «Святой Франциск Ассизский» была представлена на сцене в Jahrhunderthalle (зал Столетия) в Бохуме (музыкальный руководитель и дирижер Сильван Камбрелинг, режиссер Джузеппе Фрижени, художник Илья Кабаков, оркестры Фрайбурга и Баден-Бадена, хоры радио WDR и радио Дании). Представление «Франциска» стало кульминацией музыкального фестиваля «Рурская Триеннале».

¹² Азарова В. В. Синтез художественных элементов и «способ бытия света» в опере О. Мессияна «Святой Франциск Ассизский». <https://conference-spbu.ru/conference/50/reports/17087>. Дата посещения 24.10.2024.

Илья Кабаков о работе над оперой «Святой Франциск Ассизский»:

Посещая Зал Столетия, получаешь неизгладимое впечатление от этого невероятно грандиозного и величественного сооружения. Это состояние сродни тому, что испытываешь, попадая в собор, как бы фривольно ни показалось это сравнение, когда речь идет об индустриальной руине, потерявшей свое бывшее назначение, но сохранившей присущую ей когда-то энергетику и напоминание о созидательном прошлом. Музыка Оливье Мессиана наиболее созвучна настроению этого зала¹³.

В пять часов вечера поздним сентябрьским днем солнце еще долго и ярко светит в тысячи прозрачных окон металлической конструкции Бохумского индустриального павильона. Именно здесь, в этом огромном светлом помещении, разыгрывается много-часовое мистериальное действо о святом Франциске. Зал переполнен. Воркуют в огромной клетке настоящие голуби. Они тоже — звуки общего оркестра. Солнечный свет, пробиваясь сквозь застекленные стены и потолок, бьет прямо в глаза.

Пространство разделено на две части узким приподнятым помостом. На нем, как в средневековье, разворачивается аскетическое действие. С одной стороны сидят зрители, с другой — уровнем ниже — многочисленный оркестр, за ним лестничный помост для хора. На каждом пюпитре свеча, сотни свечей. Они зажгутся во втором акте, когда на землю опустятся сумерки и в зале стемнеет. Тогда центром притяжения станет огромный, развернутый на зрителя стеклянно-металлический купол. Он играет разноцветными красками, меняет цветовое освещение с развитием тональной партитуры произведения и напоминает то купол храма, то розетку готического собора, то иллюминированную Эйфелеву башню. Эта инсталляция московского концептуалиста Ильи Кабакова, живущего с 1992 года в Нью-Йорке, — одна из блестящих находок для такого произведения. Илья Кабаков, с его идеей 60-градусного угла космической энергии и умением оперировать большими пространствами и объектами, смог совладать с огромным залом Бохумского павильона, который уже сам по себе своей трехнефовой конструкцией напоминает индустриальный храм.

Кульминация мистерии — встреча Франциска с Ангелом и птичья проповедь. «Музыка несет нас к Богу, ты разговариваешь через музыку с Богом — он ответит тебе через музыку», — говорит ему Ангел. В третьем акте Франциск, в медитации повторяющий крестный путь Христа, обретает стигматы (раны на руках, ногах и боку, как распятый Христос). Вместе с этими знаками особой миссии приходит и час прощания. В финале, символизирующем вознесение души святого Франциска, купол заполняется белым цветом, который, по Мессиану, соответствует тональности до мажор. Франциск выпускает на свободу белых голубей, символ Святого Духа. Таким образом, в трактовке Мессиана, написавшего и либретто оперы, художественная миссия человека сливается с религиозной. Не случайно сам Мессиаан был не только профессором-теоретиком Парижской консерватории, открывшим также отделение музыкальной философии, но и органистом-импровизатором в обычной церкви¹⁴.

В 2004 году мистерия О. Мессиана «Святой Франциск Ассизский» была представлена в Опере Бастилии в Париже. (Bastille Opera / Opéra de la Bastille — оперный зал на площади Бастилии в Париже, возведенный по проекту К. Отта в 1989 году на ме-

¹³ <https://www.safmuseum.org/projects/kabakov-saint-francois-dassise-moscow.htm>. Дата посещения 24.10.2024.

¹⁴ См.: Ратобильская Т. Франциск Ассизский — христианский Орфей? // Петербургский театральный журнал, 2003, № 4 [34]; Екимовский В. Оливье Мессиаан. Жизнь и творчество. М.: Советский композитор, 1987.

сте бывшего Бастильского вокзала. Открытие театра было приурочено к 200-летию взятия Бастилии).

В декабре 2008 года музыкальный мир отметил 100-летие со дня рождения композитора Оливье Мессиана. Среди его шедевров особенно значима опера «Святой Франциск Ассизский». Двадцать пять лет спустя после ее триумфальной премьеры в Париже она впервые предстала в Голландии на сцене Нидерландской оперы. Постановщик спектакля Пьер Оди, возглавлявший этот театр, реализовал свою давнюю мечту. В декабрьский юбилей Мессиаана его опера была показана по TV Голландии¹⁵.

Победное шествие «Святого Франциска Ассизского» по Европе продолжалось. В 2011 году мистерия Оливье Мессиаана была поставлена в Баварской государственной опере в Мюнхене, а также на «Арене» в Мадриде¹⁶. Этим постановкам уделялось внимание и в российской печати¹⁷. Публика могла познакомиться с произведением Оливье Мессиаана (на сцене или в концертном исполнении) также в Англии и Австрии. А в 2020 году о своем намерении поставить оперу объявили сразу два швейцарских театра — в Женеве и в Базеле. Пальма первенства досталась Базелю: Женевский театр был вынужден отменить спектакли из-за антиковидных ограничений. Базельская же премьера смогла состояться в момент ослабления карантинных мер¹⁸.

4 октября отмечается всемирный день защиты животных. В этот день в 1226 году завершил свой земной путь св. Франциск Ассизский. Он проповедовал, что абсолютно все Божии создания равны, поэтому надо относиться с состраданием и любовью ко всем живым существам, а не только к людям. Он защищал и спасал животных, читал им Священное Писание. С дикими зверями он умел вступать в такой контакт, что они никогда не причиняли ему вреда, становились ласковыми и выполняли его поручения. Зверей и птиц, луну и звезды, воду и растения он называл своими братьями и сестрами.

Каждый год в ближайшее к 4 октября воскресенье во множестве церквей по всему миру во время мессы проводится обряд благословения животных. А в нью-йоркском соборе Saint John The Divine у этой мессы есть еще одна особенность. Автором музыки является не кто иной, как известный музыкант Пол Уинтер¹⁹. Эту музыку он сочинил в начале 80-х годов, и с тех пор эта месса с его участием каждый год становится уникальным событием²⁰, во время которой, по словам Людмилы Улицкой²¹, «ощущаешь присутствие духа Святого Франциска»²².

¹⁵ Игнатов Виктор. «Франциск Ассизский» в Амстердаме. <https://www.belcanto.ru/08080703.html>. Дата посещения 24.10. 2024

¹⁶ [https://ru.frwiki.wiki/wiki/Saint_Fran%C3%A7ois_d%27Assise_\(Messiaen\)](https://ru.frwiki.wiki/wiki/Saint_Fran%C3%A7ois_d%27Assise_(Messiaen)). Дата посещения 24.10. 2024.

¹⁷ Ратобыльская Т. Франциск Ассизский — христианский Орфей? // Петербургский театральный журнал. 2003. № 4 [34]; Машковцева З. Библийский театр Франциска Ассизского // Независимая газета, 2005. 13 декабря. С. 1—3; Кулыгина Н. А. «Святой Франциск Ассизский» О. Мессиаана: реализация модели духовной оперы // Известия Российского гос. педагогического университета им. А. И. Герцена, № 103. СПб., 2009. С. 176—182; Азарова В. В. Теологические аспекты либретто «Святой Франциск Ассизский. Францисканские сцены» Оливье Мессиаана // Человек и культура. 2024. № 4. С. 41—58.

¹⁸ Баранова-Монигетти Т. О швейцарской премьере оперы Оливье Мессиаана. <https://muzlifemagazine.ru/svyatoy-francisk-i-pandemiya/> Дата посещения 04.10.2024.

¹⁹ Пол Уинтер (англ. Paul Winter, род. 1939 г.) — американский джазовый музыкант, саксофонист, композитор и музыкальный продюсер, шестикратный обладатель премии «Грэмми».

²⁰ https://www.batagov.com/slova/mass_for_animals.htm. Дата посещения 24.10. 2024.

²¹ Внесена Минюстом РФ в список иностранных агентов.

²² О «мессе животных» в честь дня Франциска Ассизского в Нью-Йоркском кафедральном соборе на 110-й улице в 2005 году см. в рассказе Людмилы Улицкой «Франциск Ассизский: два в одном» из книги «Люди нашего царя». М.: Эксмо, 2006.

В 1991 году спектаклем о Франциске Ассизском «Святая простота, или Будьте, как дети!» начал свою биографию театр католического научно-культурного центра «Весть» в Москве. Небольшую труппу во главе с режиссером Сергеем Дегтяревым составили молодые профессиональные актеры. Одно из первых предложений выступить с гастролями поступило от представителей католических кругов Польши²³.

30 сентября 1994 года в нью-йоркском храме Доброго Пастыря (The Church of the Good Shepherd) впервые прозвучала месса в честь святого Франциска Ассизского (1981–1994) композитора Виктора Копытько в исполнении Русского камерного хора Нью-Йорка под управлением Н. Качанова.

Виктор Николаевич Копытько родился в 1956 году в Минске. С 1975 года В. Копытько — студент композиторского отделения Ленинградской консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова. Окончив Ленинградскую консерваторию в 1982 году, В. Копытько вернулся в Минск. В 1980-е годы творчество В. Копытько практически неизвестно музыкальной общественности Беларуси. Свои произведения он пишет преимущественно «в стол». В это же время имя композитора становится уважаемым в театральных и кинематографических кругах Беларуси и за ее пределами. В 1992 году прошли первые гастролы В. Копытько в Соединенных Штатах Америки. С этого времени в Нью-Йорке и Лексингтоне публике был представлен ряд премьер музыки композитора, в том числе и мировых. По заказу Американского общества русской музыки была написана кантата В. Копытько «Знаки», посвященная Николаю Качанову — создателю, художественному руководителю и дирижеру Русского камерного хора Нью-Йорка. Благодаря инициативе Н. Качанова была завершена Месса в честь святого Франциска Ассизского (1981–1994) — одна из вершин творчества композитора²⁴.

В 1998 году в Германии состоялась премьера произведения для виолончели с оркестром Софьи Губайдулиной²⁵. Оно называется «Sonnengesang», что в переводе означает «Похвала солнцу», и посвящено житию святого Франциска. Это произведение было написано в 1997 году к 70-летию Мстислава Ростроповича, и он намеревался исполнить «Sonnengesang» в Соединенных Штатах, в Карнеги-холле (Нью-Йорк)²⁶.

«В основу положена жизнь Франциска Ассизского, который прославлял солнце, жизнь, смерть — все на свете, — рассказывал Мстислав Ростропович. — Состав инструментов необычен: виолончель и целый набор ударных — флексатон, гонг, челеста, литавры, вибрафон (участвуют три ударника). А я играю не только на виолончели, но и на большом барабане специальными приспособлениями, придуманными Губайдулиной. В исполнении участвует еще камерный хор: 6 басов, 6 теноров, 6 альтов, 6 сопрано»²⁷.

Слово Софии Асгатовне: «Я понимала, что этот текст ни в коем случае нельзя распевать. Ни в коем случае нельзя с помощью музыки усилить экспрессию этого гимна. Музыка при соприкосновении с этими святыми текстами ни в коем случае не должна быть какой-то изысканной, претенциозно-усложненной или преувеличенно-ув-

²³ Арсеньев В. Католический театр в Москве // Известия. № 103. 01.05.1991.

²⁴ https://ru.wikipedia.org/wiki/Копытько,_Виктор_Николаевич. Дата посещения 28.10.2024.

²⁵ София Губайдулина родилась в 1931 году в Чистополе (Республика Татарстан). В 1979 году на VI съезде композиторов в докладе Тихона Хренникова ее музыка подверглась жесткой критике, и Губайдулина попала в так называемую «хренниковскую семерку» — «черный список» семи отечественных композиторов, в течение ряда лет не могла выступать на радио и телевидении; с 1992 года проживает под Гамбургом. Она уже более двух десятилетий является одним из ведущих композиторов России; лауреат более 30 отечественных и иностранных премий и почетных званий // https://ru.wikipedia.org/wiki/Губайдулина,_София_Асгатовна. Дата посещения 28.10.2024.

²⁶ Русская мысль. № 4214. 19–25 марта 1998 г. С. 24.

²⁷ Литературная газета. № 1–2. 13.01.1999. С. 9.

лекательной. Это — прославление Творца и Его творения очень скромным, простым христианином-миноритом»²⁸.

Можно предположить идею, не заявленную, но последовательно воплощенную художником: создание еще одной версии жития св. Франциска, находящейся на стыке двух стихий — музыки и кинематографа. Партитура Губайдулиной настолько кинематографична, что есть смысл говорить о крупных и общих планах, о параллельном монтаже — в общем, о настоящей кинодраматургии, созданной музыкальными и подкрепленной, помимо воображаемо-визуальных, театральными средствами. Возможно, что София Асгатовна, готовясь к написанию «Хвалы Солнцу», посмотрела ряд экранизаций, посвященных св. Франциску²⁹.

В 2000 году итальянский певец и композитор *Анджело Брандуарди* (итал. Angelo Branduardi) (род. 1950) издал сборник своих сочинений под названием «L'infinitamente piccolo» («Бесконечно малое»). В этот альбом он включил песнь «Il Cantico delle Creature» (Песнь «Хвалы творений»), также известную как «Песнь брата Солнца», — это песнь святого Франциска Ассизского. Создавая альбом «L'infinitamente piccolo», А. Брандуарди переложил на музыку тексты и фрагменты жизнеописаний святого Франциска, взятых непосредственно из рукописей, хранящихся во францисканских монастырях.

«Святой Франциск был артистической натурой: он любил петь и пел часто, даже в одиночестве. Для своей „Песни благодарения“ он сочинил музыку, которая впоследствии была утеряна: я попытался вернуть голос его словам, дабы они снова зазвучали» — так Анджело Брандуарди объясняет рождение своего музыкального проекта «L'infinitamente piccolo»³⁰. Произведение, опубликованное в юбилейном 2000 году, имело большой успех, за которым последовал продолжительный тур по Италии и другим странам Европы (более трехсот концертов). На эту же тему Брандуарди написал мюзикл «Франческо» («Francesco») ³¹.

С 2004-го по 2006 год в городе на Неве существовала *музыкальная группа «Братья Франциска»*. В нее входили молодые монахи-францисканцы из общины монастыря Святого Антония Падуанского Чудотворца в Санкт-Петербурге³².

Американский композитор *Льюис Нильсон* (род. 1950) в 2005 году написал музыкальное сочинение «Святой Франциск проповедует птицам» (камерный концерт для скрипки).

...Премьера спектакля «Сны о святом Франциске» (*автор пьесы и режиссер Людмила Мезенцева*), состоявшаяся в 2006 году в Санкт-Петербурге, совпала с 800-летней годовщиной призвания на подвиг святого Франциска Ассизского — на это обратил внимание францисканский священник (с 2020 года — епископ) Николай Дубинин. Это не инсценировка жития святого Франциска. Это спектакль о том, какое место святость Франциска (и святость вообще) занимает в нашей жизни. Это — история о всех нас, о наших путях обращения к Богу, падениях, поражениях и победах.

²⁸ Москвина О. А. «Sonnengesang» С. Губайдулиной: движение от звука к кадру // Актуальные проблемы высшего музыкального образования. 2024. № 1 (72). С. 42.

²⁹ Там же. С. 21–22. Ко времени написания Губайдулиной «Хвалы Солнцу» было снято несколько фильмов: «Франциск, менестрель Божий» (Francesco, giullare di Dio) (1950), режиссер Роберто Росселлини; «Франциск Ассизский» (Francis of Assisi) (1961), режиссер Майкл Кертиц (США); «Брат Солнце, сестра Луна» (Fratello Sole, Sorella Luna) (1972), режиссер Франко Дзефирелли; «Франциск» (Francesco) (1989), режиссер Лилиана Кавани.

³⁰ <https://www.last.fm/ru/music/Angelo+Branduardi/+wiki>. Дата посещения 28.10.2024.

³¹ https://ru.wikipedia.org/wiki/Брандуарди,_Анджело. Дата посещения 28.10.2024.

³² СПб., 9-я Красноармейская улица, 10-А.

Анна, молодая аспирантка, которая пишет диссертацию о св. Франциске Ассизском, внезапно понимает, что Живой Бог — не Бог ученых и философов, но Бог Авраама и Иакова. Это — тайна святости Франциска, его соединения с Иисусом даже до смерти крестной, до кровавых стигматов. Заснув, Анна в вешем сне видит св. Франциска, который по зову Бога строит церковь в Порциункуле. Это ее видение — реальность, в сотни раз более истинная, чем бьющая в глаза явь нашей жизни, лишенной Духа. Анна видит святого, как говорит Франциск, «почему-то ей это дано», ибо в ней есть зерно Христово, которое живет, уже принеся обильный плод, в самом Франциске³³.

Святой Франциск в сне Анны возвращает подлинные, исконные смыслы самых простых и главных вещей мира, вложенные в них Богом при творении. И не только смыслы, но даже физическую субстанцию этих вещей: воды, огня, воздуха, травы, ручья... Даже свирепый волк превращается у Франциска в райского зверя, неспособного обидеть человека. Святой Франциск созерцает духовную красоту мира. И Анна тоже приобщается этой духовной красоте, ей открывается природа как «икона Бога», она слышит, как в райском саду, пение птиц, журчание ручья... Сон переносит зрителей в Италию XIII века — или сам св. Франциск подступает к нам вплотную, и Анна получает ответы на свои вопросы. Героиню приветствуют братец Ручей и братец Волк, и св. Франциск преломляет с Анной хлеб³⁴.

Спектакль Русского драматического театра города Резекне (Латвия) «Сны о святом Франциске», поставленный лауреатом международных конкурсов христианского театра и кино Людмилой Мезенцевой по собственной пьесе, был показан не только в Санкт-Петербурге, но и в Доме культуры Московского авиационного института. Слезы Анны в конце спектакля, к которым присоединяется молитва святого Франциска, — это истинный духовный плач по прожитой жизни и начало новой жизни со Христом. И жертва ее не напрасна.

Заканчивается спектакль тоже необычно. Все персонажи проходят по рядам зрительного зала и, преломляя хлеб, протягивают его зрителям. Это «агапэ», вечера любви. Потому что это хлеб, благословленный самим святым Франциском, артос, преломленный им на сцене вместе с Анной. И, как у апостолов в Эммаусе, наши духовные очи открываются. Зрители становятся единым сердцем в трапезе Любви и благодарны за удивительное действо, созданное совместным духовным порывом автора и режиссера, актеров и зала. Спектакль проповедует мир, в котором пребывают святые. В трактовке автора святые — наши современники, их мир открыт, они готовы послужить каждому человеку, но проникнуть к ним может лишь тот, кто отрекся от всего ради «единого на потребу». То, что зрители видели в ДК МАИ, показало: и со сцены может звучать проповедь о Христе, театр может быть миссионерским³⁵.

Елена Борисовна Фролова (род. 1969, Рига) — российская певица и композитор, поэт. Автор и исполнитель песен на стихи таких поэтов, как Марина Цветаева, Осип Мандельштам, Анна Ахматова, София Парнок, Арсений Тарковский, Вениамин Блаженный, Михаил Кузмин, Иосиф Бродский, Леонид Губанов, Анна Баркова, Борис Пастернак, Сергей Есенин, Дмитрий Строчев, Федерико Гарсиа Лорка, и на свои собственные. Помимо гитары использует в качестве аккомпанирующего инструмента гусли, балалайку. Исполняет романсы, русские народные песни, духовный стих, шедевры мировой и отечественной песенной классики. Более чем за 30 лет творческой деятельности ею сочинено около 800 музыкальных композиций. В репертуаре более 1400 песен. Одна из них — «Франциск Ассизский» (2010):

³³ Занадворов М. С. Сестра Вода и брат Волк // Истина и жизнь. 2006. № 7–8. С. 42–43.

³⁴ Суглобова И. А. Плачу и благодарю // Истина и жизнь. 2006. № 7–8. С. 41.

³⁵ Преображенская И. Театр может быть миссионерским // Истина и жизнь. 2006. № 7–8. С. 43–44.

Франциск,
вода поет имя твоё.
Франциск,
огонь горит — имя твоё говорит.

Франциск,
птица летит, имя твоё у неё на пути.
Франциск,
солнце встает — светится имя твоё.

Катятся с горы
золотые шары:
не поймать тебе их —
руки обжечь,
не понять тебе их
странную речь.

Тянутся с небес
нити чудес:
заплетутся в узоры дней —
и откроется тайна мне.

Прячутся в ночи
Ангелы-лучи,
чтобы не обжечь, не поранить
душу мою утром ранним.

А душа моя — в небе птицей,
как дитя в облаках резвится!
А душа моя любит риск!
Но глядит на неё Франциск.

Смотрит Франциск, улыбается,
птице бесстрашной в ответ,
знает, что жизнь её мается,
знает, что выхода — нет.

Знает, что темною полночью
так её сердце поет, —
в грудь горячо и беспомощно
крыльями голоса бьет!

Знает Франциск, что изменчивой
радости — солнце важней!
Знает, что солнце — не женщина,
но улыбается ей —

солнцу — глазами незрячими,
и на колено встает, —
розу любви — настоящую —
тянет к ладоням её:

— Солнце, прекрасная странница,
розу примите мою,
сердце навеки останется
в вашем прекрасном краю!

Душу же, птицу упрямую,
благословите лететь
и эту песенку странную
в странах заоблачных — петь!³⁶

Осенью 2012 года в московском Большом театре состоялась премьера спектакля «Франциск» российского композитора *Сергея Невского*, выпускника Высшей музыкальной школы в Дрездене и Университета искусств в Берлине.

По словам композитора, идею оперы о жизни святого Франциска Ассизского ему подсказал в 2007 году известный дирижер Теодор Курентзис, предложивший создать проект для фестиваля «Территория». В жизнь эта идея начала воплощаться в 2007 году, когда Сергей Невский обратился к немецкому драматургу Клаудиусу Люнштедту с просьбой написать либретто. Эта опера стала первой его работой в рамках проекта «Лаборатория современной оперы». Основу оперы составляют монологи Франциска. Тексты разделены между исполнителем главной партии и 17 чтецами. В московской постановке две вокальные партии: роль Франциска исполнил Дэниэл Китинг-Робертс из Великобритании, а роль его матери — Наталья Пшеничникова³⁷. Опера «Франциск» Сергея Невского получила специальный приз «Золотой маски».

Дэниел Дорфф (род. 1956) — американский композитор и музыкант, автор сольной пьесы «Цветочки святого Франциска» (соло для бас-кларнета). «Цветочки („Фиоретти“)», пять сцен, впервые были исполнены в июле 2013 года в Ассизи на ежегодном съезде Международной ассоциации кларнетистов³⁸.

В 2014 году эстонский композитор *Тыну Кырвиц*³⁹ написал 12-частное а капелла произведение для смешанного хора «Песнь Солнца». 11 декабря 2015 года в «Доме Братства черноголовых» (Таллин) состоялось первое исполнение этого сочинения в Эстонии. В том же году итальянский певец Джованотти⁴⁰ исполнил это песнопение в рамках церковного концерта на родине св. Франциска в Ассизи.

В 2016 году ирландский композитор *Винсент Кеннеди* (род. 1962 г.) получил просьбу от францисканского ордена в Ирландии сочинить музыку на «Песнь Солнца». В результате родилась постановка из 10 песен святого Франциска для сопрано, арфы и трубы. Первое исполнение состоялось 4 июня 2017 года во францисканской церкви Адама и Евы⁴¹ в Дублине⁴². Винсент Кеннеди сочинил более 100 произведений —

³⁶ <https://pesni.guru> 1 марта 2010 года. Дата посещения 28.10.2024.

³⁷ <https://ria.ru/20120912/748108837.html>. Дата посещения 28.10.2024.

³⁸ <https://danieldorf.com/clarinet.htm>. Дата посещения 28.10.2024.

³⁹ Тыну Кырвиц (род. 1969) окончил Таллинскую музыкальную школу, затем Эстонскую академию музыки (1994). Лауреат Национальных премий Эстонии в области культуры (2012; 2016).

⁴⁰ Лоренцо Керубини, более известный как Джованотти (итал. Jovanotti, род. 1966 г.), — итальянский певец и автор-исполнитель. Псевдоним Джованотти происходит от итальянского слова *giovannotto* (рус. — молодой человек)

⁴¹ Церковь Адама и Евы расположена на Торговой набережной. Во время правления короля Генриха VIII, около 1540 года, монастырь на Фрэнсис-стрит (улица Святого Франциска), на месте нынешней церкви Святого Николая Мирликийского на Фрэнсис-стрит был конфискован, а община была разогнана. В 1615 году на Кук-стрит был построен новый монастырь. Часовня на этом месте была разрушена в 1619 году и позже отстроена заново. Францисканцы тайно отслужили мессу в таверне «Адам и Ева», откуда происходит популярное название нынешней церкви.

⁴² <https://www.cmc.ie/composers/vincent-kennedy>. Дата посещения 28.10.2024.

от концертов до кантат, включая переложение «Песни Солнца» святого Франциска. Композитор гастролировал по всей Ирландии с этим произведением с Мариной Кэсиди (сопрано и арфистка), сам он играл на трубе.

Винсент Кеннеди уделяет большое внимание церковной теме. Он положил на музыку Псалом 22 («Господь пастырь мой...») для сопрано, смешанного хора, флейты и органа (1996); гимн святой Агате⁴³ для смешанного хора, трубы и органа (2008). 13 марта 2022 года Винсент Кеннеди на премьере продирижировал музыкальной сьюитой, которую он сочинил в честь святого Колумбана⁴⁴. Его произведения исполняются по всему миру, и, в дополнение к многочисленным ежегодным концертам в Ирландии, он дирижировал своими произведениями в Австралии, Соединенных Штатах, Великобритании и Европе.

18 июня 2015 года было опубликовано энциклика папы римского Франциска «Laudato si'» (с лат. — «Хвала Тебе»), посвященная проблемам экологии и защите окружающей среды. Название энциклики происходит от воззвания «Laudato si', mi' Signore» святого Франциска Ассизского, который в своем «Гимне творениям» говорил, что земля — наш общий дом. Строки гимна св. Франциска были процитированы в первом абзаце энциклики: «Хвала Тебе, наш Господь, через нашу Сестру, Мать Землю, которая поддерживает нас и управляет нами и которая производит различные плоды с цветными цветами и травами».

В 2016 году немецкий композитор и церковный музыкант Питер Рейлейн (Peter Reulein) написал для католической епархии Лимбурга францисканскую ораторию «Laudato si'». Ее подзаголовок — «Ein franziskanisches Magnificat» (францисканский *Мгнификат*). Автор либретто, Гельмут Шлегель, включил в текст оратории латинский текст *Magnificat*, дополненный сочинениями св. Клары Ассизской, св. Франциска Ассизского и папы Франциска. Питер Рейлейн написал ее для пяти солистов, детского хора, Choralschola, смешанного хора, симфонического оркестра и органа. Она была впервые исполнена 6 ноября 2016 года в лимбургском соборе под управлением самого композитора. Выступление было повторено во франкфуртском соборе в 2017 году⁴⁵.

Родившийся во Франкфурте-на-Майне (1966) Рейлейн изучал католическую церковную музыку в Высшей школе музыки и изобразительного искусства Франкфурта-на-Майне. С 1991 года Рейлейн был церковным музыкантом в церкви Святого Духа (Heilig Geist) во Франкфурте-на-Майне, с 2000 года он занимает должность в церкви Богоматери (Liebfrauen) в центре Франкфурта. Там он руководит вокальным ансамблем, хором Collegium Vocale, оркестром Collegium Musicum и молодежным хором Caruccinis⁴⁶. Он стал известен всей стране как автор многих духовных песен.

Духовному наследию св. Франциска Ассизского уделил свое внимание российский композитор Виктор Алексеевич Екимовский (1947—2024). 27 декабря 2021 года хор студентов Московской консерватории исполнил сочинение Виктора Екимовского «Молитва Франциска Ассизского» (дирижер И. Лисицын). Его сочинения регулярно исполняются в Москве и других городах России, а также за рубежом.

После окончания музыкальной школы Екимовский поступил в Гнесинское училище, а после его окончания поступил в Гнесинский институт на историко-теоретико-компо-

⁴³ Святая Агата (Агафия) — христианская мученица III века, одна из наиболее известных и почитаемых раннехристианских святых. Имя Агафии включено в канон мессы римского и амвросианского обрядов, что доказывает древность почитания святой.

⁴⁴ Колумбан (ок. 540—615) — ирландский монах, просветитель, церковный поэт, проповедник-миссионер в странах Западной Европы.

⁴⁵ https://ru.wikibrief.org/wiki/St._Martin,_Idstein. Дата посещения 28.10.2024.

⁴⁶ https://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Reulein. Дата посещения 28.10.2024.

зиторский факультет, где посвятил свои музыковедческие исследования Оливье Мессияну, автору всемирно известной мистерии «Святой Франциск Ассизский». Нужно было обладать большой смелостью и мужеством, чтобы в обстановке всеобщего осуждения «мессияновского формализма» начала 1970-х годов отважиться на дипломную работу об этом заведомо «порочном композиторе». Тем не менее в 1983 году Екимовский защитил в Ленинградской консерватории диссертацию на звание кандидата искусствоведения по теме «Оливье Мессиян. Проблемы эстетики и стиля». По следам диссертации появилась его книга о Мессияне (была издана на восемь лет позднее). В 2000-е годы Виктор Екимовский — один из признанных лидеров новой русской музыки, а также один из самых известных современных композиторов и музыкально-общественных деятелей: секретарь Союза композиторов России, член правления Союза московских композиторов, с 1996 года председатель Ассоциации современной музыки. Скончался в январе 2024 года на 77-м году жизни в Москве⁴⁷.

Штутгартская мистерия

В июне 2023 года трехактная опера Оливье Мессияна «Святой Франциск Ассизский» прозвучала в Штутгарте сразу в трех местах: в опере, парке Киллесберг и амфитеатре. Это была уникальная постановка *Анны Софи Малер*, чей творческий интерес сосредоточился на экспериментальных, особенно документальных формах музыкального театра⁴⁸.

В масштабной опере из трех актов и восьми картин участвовало сто девятнадцать оркестрантов, три исполнителя на «волнах Мартенó»⁴⁹, огромный хор (в Штутгарте он насчитывал около ста человек) и девять солистов. Размах композиторского замысла соответствовал сценическому воплощению. Мероприятие шло с двух часов дня до десяти вечера, а летняя погода способствовала его успеху, ведь публика совершила между актами настоящее паломничество от оперы к парку Киллесберг и обратно, наслаждаясь звучанием «Птичьих концертов» Мессияна в сопровождении пения лесных птиц. Необычные режиссерские находки и свобода творческой фантазии помогли создать атмосферу мистерии, в которую погрузились слушатели.

Партию Франциска исполнял американский баритон Майкл Мэйс. Его богатый обертонами тембр голоса выделялся большей глубиной среди других низких мужских голосов, что отлично подходило воплощаемой им роли Франциска. В роли брата Леона был молодой баритон *Данило Матвиенко*, с 2021 года работающий во Франкфуртской опере; он создавал красивый контраст к голосу Мэйса. Роль Ангела исполнила солистка Штутгартской оперы австрийская певица Беате Риттер, сопрано.

Из оперы, где были представлены первые три картины, началось паломничество: группы слушателей, сопровождаемые гидами, добрались на метро до парка, где всем объяснили маршрут и раздали плееры с наушниками. Картину «Ангел-путешественник» они прослушали в записи, а вся оперная труппа тем временем переместилась в амфитеатр. К этой концертной площадке и простирался путь слушателей — мимо

⁴⁷ https://ru.wikipedia.org/wiki/Екимовский,_Виктор_Алексеевич#cite_note-Grove-6. Дата посещения 28.10.2024.

⁴⁸ Анна Софи Малер родилась в Касселе в 1979 году, училась режиссуре в Музыкальном университете Ханнса Эйслера в Берлине. В качестве драматического и оперного режиссера она работала в Бременском театре, Мюнхенской камерной сцене, Баварской государственной опере, Штутгартской государственной опере, Театре Граца и других.

⁴⁹ Волны Мартенó, или электрофон, — монофонический электронный музыкальный инструмент. Сконструирован в 1928 году во Франции виолончелистом и педагогом Морисом Мартено.

прудов с фонтанами, садов с цветами и лесными аллеями, — сопровождаемый музыкой четвертой картины. Пятая картина, «Ангел-музыкант», и шестая картина, «Проповедь птицам», исполнялись на открытой площадке, при этом оркестр и хор, управляемый вторым дирижером Мануэлем Пуйолем, руководителем хора Штутгартской государственной оперы, находились на противоположных концах от сцены.

Франциск (Майкл Мэйс) в начале своего монолога находился среди публики, затем и он, и другие персонажи перемещались по всему пространству амфитеатра. Во время «Проповеди птицам» Франциск подсаживался к некоторым зрителям — здесь действительно стиралась грань между исполнителем и публикой. В конце пятой картины есть эпизод, когда Ангел играет на виоле. Ее красота и мощь поражают Франциска, и он падает без чувств. Ангел появился сначала на самом верху амфитеатра; по мере приближения Ангела к Франциску весь амфитеатр окутывала дымка, а его одежда переливалась в лучах заходящего солнца, играя бликами на белых облаках тумана.

По завершении этих двух картин публика проехала на специально выделенном метропоезде до вокзала без остановок, а в паузе перед началом последнего акта возле здания оперы каждому зрителю был выдан пакет с едой. В отличие от первого акта, теперь музыканты находились в оркестровой яме. Ландшафт седьмой картины, «Стигматы», точно описан Мессианом в либретто: «Гора Верна. Хаотично-причудливое нагромождение скал. Вход в пещеру под выступом». Святой Франциск при смерти и просит у Господа о двух милостях: испытать ту боль, что Иисус вынес в час жестоких Страстей, и ощутить в своем сердце ту Любовь, что в сердце Иисуса. В тексте хора следующие слова: «Это Я, Я есмь Альфа и Омега». В заключительной картине, «Смерть и новая жизнь», Франциск прощается с учениками, родным краем, природой, птицами... Франциск накрывает себя серым саваном — он умирает. На какое-то время он полностью закрыт хором. Хор поет: «Один свет — Луны, другой свет — Солнца, аллилуйя! Аллилуйя! Из скорби, из немощи и позора Он возрождает Силу, Славу и Радость!!!»⁵⁰

...Штутгартская мистерия превзошла все предыдущие по своему размаху, а все начиналось в Умбрии в XIII столетии:

— «Вот скрипка!» —
Сказал он с улыбкой,
Склонился. Взял щепку
И ветку сорвал:
— «А это смычок!» —
Запел, заиграл:
— Святый Крепкий!⁵¹

⁵⁰ Писаревский Д. Опера Оливье Мессиана «Святой Франциск Ассизский» в Штутгарте // <https://muzlifemagazine.ru/selfi-s-angelom>. Дата посещения 28.10.2024.

⁵¹ Новгород-Северский Ив. Аве Мария. Париж, 1957. С. 10.

Contents

Prose and Poetry

Dmitry Karshin. Only an Echo of Familiar Notes... *Poems* • 3

Svetlana Volkova. Barracuda. *Story* • 6

Boris Yevseyev. The Big Potemkin. *Short Story* • 31

Yevgeny Erastov. Poems • 41

Leonid Bezhin. Rainy Alley, or Ten Reports to the Police Department about the Composer Scriabin, the Construction of a Temple in India and the Mystery at the End of Time. *Novel. End* • 46

Non-Capital Russia

Vladimir Pertsev. Poems. *Preface by E. Kaminsky* • 128

Pavel Ponomarev. Mittens. Boots. Starvation. Common Chicory. *Short Stories. Preface by M. Gundarin* • 133

Akhat Mushinsky. My Friend Adam. *Story* • 140

Favorite Corners of Russia

Vladimir Korsak. Four February Days of 1909. *Translated by R. Chernov. Preface by S. Kozlov-Strutinsky* • 176

Publicistic Writings

On the 100th Anniversary of A. N. Strugatsky. **Vyacheslav Rybakov.** And the Truth — Where Are You Going? • 182

Andrey Popov. Where's the Money, Karl?.. • 199

On the 84th Anniversary of the Baltic Fleet's Breakthrough from Tallinn to Kronstadt.

Maria Inge-Vechtomova. „Ships Sailed from Tallinn to Leningrad“ • 211

Yuri Inge (1905—1941). Poems • 217

Criticism and Essays

On the 100th Anniversary of R. P. Pogodin. **Tatyana Kudryavtseva.** Magic Bottoms of Radiy Pogodin • 223

Petersburg Bookman

Reviews. *Alexander Melikhov.* Glory to the Brave! *Elena Zinovieva.* Book Island • 230

Pilgrim

Archimandrite Augustine (Nikitin). Musical Heritage of St. Francis of Assisi. *Part 2* • 241

Издатель: Общество с ограниченной ответственностью «Журнал «Нева»
Адрес редакции: Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 18
Почтовый адрес: 191186, Санкт-Петербург, а/я 9
Телефоны: (812) 314-72-50, 312-49-23
E-mail: nevaredaction@mail.ru, officeneva@mail.ru

Сайт «Невы»: neva-journal.ru. По вопросам, связанным с интернет-сайтом,
обращайтесь по адресу web@neva-journal.ru

Страница «Невы» в «Журнальном зале»: <https://magazines.gorky.media/neva>

Подписку на журнал «Нева» на территории РФ осуществляет АО «Почта России»,
подписной индекс П1743.

Свежие номера журнала в Санкт-Петербурге можно приобрести в магазинах
прессы у станций метрополитена.

**По вопросам, связанным с оптовой и мелкооптовой продажей,
приобретением** отдельных номеров журнала за последние годы, обращайтесь:

в Санкт-Петербурге — в редакцию журнала «Нева» (наб. р. Мойки, 18,
тел. (812) 312-49-23, e-mail: officeneva@mail.ru).

Почтовую рассылку отдельных номеров журнала и книг издательства журнала
«Нева» на территории РФ осуществляет редакция.

Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-83135 от 26 апреля 2022 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: ООО «Журнал «Нева»

Сдано в набор 16.06.2025. Подписано в печать 14.07.2025.
Выход в свет 08.08.2025. Гарнитура «Октава».
Формат 70×108 ¹/₁₆. Объем 16 печ. л. Печать офсетная.
Тираж 800 экз. Свободная цена. Заказ № 44

Адрес издателя ООО «Журнал «Нева»: Санкт-Петербург, наб. р. Мойки, 18

Отпечатано в типографии ООО «ИПК „БИОНТ“»
199026, Санкт-Петербург, Средний пр., 86
Тел. (812) 207-58-43